Владимир

КОРОЛЕНКО

Слепой музыкант

Повести



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Слепой музыкант. Повести

Владимир Галактионович Короленко

Аннотация
Владимир Короленко. Слепой музыкант
Убивец
I. Бакланы
II. Лог под чертовым пальцем
III. Убивец
IV. Сибирский вольтерианец
VI. Евсеич
VII. Заседатель
VIII. Иван тридцати восьми лет
IX. Ход
В дурном обществе. Из детских воспоминаний моего приятеля
I. Развалины
II. Проблематические натуры
III. Я и мой отец
IV. Я приобретаю новое знакомство
V. Знакомство продолжается
VI. Среди серых камней
VII. На сцену является пан Тыбурций
VIII. Осенью

IX. Кукла
Заключение
Слепой музыкант. Этюд
От автора
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Эпилог
Птицы небесные. Рассказ
Река играет. Эскизы из дорожного альбома
Парадокс. Очерк
Без языка. Рассказ
В облачный день. Очерк

Аннотация

Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) – известный русский писатель, общественный деятель и ярый правозащитник. Он последовательно выступал против любого вида ксенофобии, произвола и несправедливости.

В сборник включены его рассказы и повести, в центре которых перипетии человеческих судеб, переживания и последствия принятых непростых решений. Из своих путешествий и неоднократных ссылок Короленко почерпнул много материала для создания своих нетривиальных героев.

В книгу вошли следующие произведения: «Убивец», «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Птицы небесные», «Река играет», «Парадокс», «Без языка» и «В облачный день».

Владимир Короленко
Слепой музыкант

Всемирная литература (с картинкой)



© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Убивец

I. Бакланы

Когда я на почтовой тройке подъехал к перевозу, уже вечерело. Свежий, резкий ветер рябил поверхность широкой реки и плескал в обрывистый берег крутым прибоем. Заслышав еще издали почтовый колокольчик, перевозчики остановили «плашкот» и дождались нас. Затормозили колеса, спустили телегу, отвязали «чалки». Волны ударили в дощатые бока плашкота, рулевой круто повернул колесо, и берег стал тихо удаляться от нас, точно отбрасываемый ударявшею в него зыбью.

Кроме нашей, на плашкоте находились еще две телеги. На одной я разглядел немолодого, солидного мужчину, по-видимому купеческого звания, на другой — трех молодцов, как будто из мещан. Купец неподвижно сидел в повозке, закрываясь воротником от осеннего свежего ветра и не обращая ни малейшего внимания на случайных спутников. Мещане, наоборот, были веселы и сообщительны. Один из них, косоглазый и с рваною ноздрей, то и дело начинал наигрывать на гармонии и напевать диким голосом какие-то песни; но ветер скоро обрывал эти резкие звуки,

разнося и швыряя их по широкой и мутной реке. Другой, державший в руке полуштоф и стаканчик, потчевал водкой моего ямщика. Только третий, мужчина лет тридцати, здоровый, красивый и сильный, лежал на телеге врастяжку, заложив руки под голову, и задумчиво следил за бежавшими по небу серыми тучами.

Вот уже второй день, в моем пути от губернского города N, то и дело встречаются эти примелькавшиеся фигуры. Я еду по спешному делу, погоняя, что называется, и в хвост и в гриву, но ни купец на своей кругленькой кобылке, запряженной в двухколесную кибитку, ни мещане на своих поджарых клячах не отстают от меня. После каждой моей деловой остановки или роздыха я настигаю их где-нибудь в пути или на перевозе.

— Что это за люди? — спросил я у моего ямщика, когда тот подошел к телеге.

— Ко`стюшка с товарищами, — ответил он сдержанно.

— Кто такие? — переспросил я, так как имя было мне незнакомо.

Ямщик как будто стеснялся сообщать мне дальнейшие сведения, ввиду того, что разговор наш мог быть услышан мещанами. Он оглянулся на них и потом торопливо ткнул кнутом в направ-

лении к реке.

Я посмотрел в том же направлении. По широкой водной поверхности расходилась темными полосами частая зыбь. Волны были темны и мутны, и над ними носились, описывая беспокойные круги, большие белые птицы, вроде чаек, то и дело падавшие на реку и подымавшиеся вновь с жалобно-хищным криком.

— Бакланы! — пояснил ямщик, когда плашкот подъехал к берегу и наша тройка выхватила нас на дорогу. — Вот и мещанишки эти, — продолжал он, — те же бакланы. Ни у них хозяйства, ни у них заведениев. Землишку, слышь, какая была, и ту летось продали. Теперь вот рыщут по дорогам, что тебе волки. Житья от них не стало.

— Грабят, что ли?

— Пакостят. Чемодан у проезжающего срезать, чаю, место-другое с обоза стянуть — ихнее дело… Плохо придется, так и у нашего брата, у ямщика обратного, лошадь, то и гляди, уведут. Известно, зазеваешься, заснешь — грешное дело, а он уж и тут. Этому вот Ко`стюшке ямщик кнутом ноздрю-то вырвал… Верно!.. Помни: Коська этот — первеющий варвар… Товарища вот ему настоящего теперь нету… И был товарищ, да обозчики убили…

— Попался?

— Попался в деле. Не пофартило. Натешились над ним ребята, обозчики то есть.

Рассказчик засмеялся в бороду.

— Первое дело — пальцы рубили. Опосля огнем жгли, а наконец того палку сунули, выпустили кишки, да и бросили… Помер, собака!..

— Да ты-то с ним знакомый, что ли? С чего они тебя водкой-то потчевали?

— Будешь знаком, — сказал ямщик угрюмо. — Сам тоже винища им выпоил немало, потому — опасаюсь во всякое время… Помни: Ко`стюшка недаром и нонче-то выехал… Эстолько места даром коней гонять не станет… Фарт чует, дьявол, это уж верно!.. Купец вот тоже какой-то… — задумчиво добавил ямщик после некоторого молчания, — не его ли охаживают теперича?.. Только вряд, не похоже будто… И еще с ним новый какой-то. Не видывали мы его раньше.

— Это который в телеге лежал?

— Ну, ну… Жиган, полагать надо… Здоровенный, дьявол!.. — Ты вот что, господин!.. — заговорил он вдруг, поворачиваясь ко мне. — Ты ужо, мотри, поберегайся… Ночью не езди. Не за тобой ли, грехом, варвары-то увязались…

— А ты меня знаешь? — спросил я.

Ямщик отвернулся и задергал вожжами.

— Нам неизвестно, — отвечал он уклончиво. — Сказывали — кудиновский приказчик из губернии проедет… Дело не наше…

Очевидно, меня здесь знали. Я вел процесс купцов Кудиновых с казною и на днях его выиграл. Мои патроны были очень популярны в той местности да и во всей Западной Сибири, а процесс производил сенсацию. Теперь, получив из губернского казначейства очень крупную сумму, я торопился в город NN, где предстояли срочные платежи. Времени было немного, почта в NN ходила редко, и потому деньги я вез с собой. Ехать приходилось днем и ночью, кое-где для скорости сворачивая с большой дороги на прямые проселки. Ввиду этого предшествовавшая мне молва, способная поднять целые стаи хищных бакланов, не представляла ничего утешительного.

Я оглянулся назад. Несмотря на наступавший сумрак, по дороге виднелась быстро скакавшая тройка, а за нею на некотором расстоянии катилась купеческая таратайка.

II. Лог под чертовым пальцем

На ...ской почтовой станции, куда я прибыл вечером, лошадей не оказалось.

— Эх, батюшка, Иван Семеныч! — уговаривал меня почтовый смотритель, толстый добряк, с которым во время частых переездов я успел завязать приятельские отношения. — Ей-богу, мой вам совет: плюньте, не ездите к ночи. Ну их и с делами! Своя-то жизнь дороже чужих денег. Ведь тут теперь на сто верст кругом только и толков что о вашем процессе да об этих деньжищах. Бакланишки, поди, уже заметались... Ночуйте!..

Я, конечно, сознавал всю разумность этих советов, но последовать им не мог.

— Надо ехать... Пошлите, пожалуйста, за вольными... И то время уходит...

— Эх вы, упрямец! Ну, да тут-то я вам дам дружка[1] надежного. Он вас доставит в Б. к молокану. А уж там непременно ночуйте. Ведь ехать-то мимо Чертова лога придется, место глухое, народец аховый... Хоть свету дождитесь.

---

[1] Примечания: 1

Дружками называют в Сибири ямщиков, «гоняющих» по вольному найму.

Часа через два я сидел уже в телеге, напутствуемый советами приятеля. Добрые лошади тронулись сразу, а ямщик, подбодренный обещанием на водку, гнал их всю дорогу, как говорится, в три кнута; до Б. мы доехали живо.

— Куда теперь меня доставишь? — спросил я у ямщика.

— К дружку, к молокану. Мужик хороший.

Проехав мимо нескольких раскиданных по лесу избенок, мы остановились у ворот просторного, очевидно зажиточного, дома. Нас встретил с фонарем в руке старик с длинною седою бородой, очень почтенного вида. Он поднял свой фонарь над головой и, оглядев мою фигуру своими подслеповатыми глазами, сказал спокойным старческим голосом:

— А, Иван Семеныч!.. То-то сказывали тут ребята проезжие: поедет кудиновский приказчик из городу… Коней, мол, старик, готовь… А вам, я говорю, какая забота?.. Они, может, ночевать удумают… Дело ночное.

— А какие ребята-то? — перебил мой ямщик.

— А шут их знает. Бакланишки, надо быть! На жиганов тоже смахивают по виду-то… Думаю так, что из городу, а кто именно — сказать не могу… Где их всех-то узнаешь… А ты, господин,

ночуешь, что ли?

— Нет. Лошадей мне, пожалуйста, поскорей! — сказал я, не слишком-то довольный предшествовавшею мне молвой.

Старик немного подумал.

— Заходи в избу, чего здесь-то стоять… Вишь, горе-то, лошадей у меня нету… Третьего днись в город с кладью парнишку услал. Как теперь будешь?.. Ночуй.

Эта новая неудача сильно меня обескуражила. Ночь между тем сгустилась в такую беспросветную тьму, какая возможна только в сибирскую ненастную осень. Небо сплошь было покрыто тяжелыми тучами. Взглянув вверх, можно было с трудом различить, как неслись во мраке тяжелые, безобразные громады; но внизу царствовала полная темнота. На два шага не видно было человека. Моросил дождик, слегка шумя по деревьям. В густой тайге шел точно шорох и таинственный шепот.

И все-таки ехать было необходимо. Войдя в избу, я попросил хозяина послать за лошадьми к кому-нибудь из соседей.

— Ох, господин, — закачал старик своею седою головой, — на грех ты торопишься, право… Да и ночка же выдалась! Египетская тьма, прости

господи!

В комнату вошел мой ямщик, и у него с хозяином пошли переговоры и советы. Оба еще раз обратились ко мне, прося остаться. Но я настаивал. Мужики о чем-то шептались, перебирали разные имена, возражали друг другу, спорили.

— Ладно, — сказал ямщик, как будто неохотно соглашаясь с хозяином. — Будут тебе лошади. Съезжу сейчас недалече тут, на заимку.

— Нельзя ли поближе найти? Пожалуй, долго будет…

— Недолго! — решил ямщик, а хозяин добавил сурово:

— Куда торопиться-то? Знаешь, пословица говорится: «Скоро, да не споро»… Успеешь…

Ямщик стал одеваться за перегородкой. Хозяин продолжал что-то внушать ему своим дребезжавшим старческим голосом. Я начал дремать у печки.

— Ну, парень, — услышал я голос хозяина уже за дверью, — скажи убивцу-то, пущай поторапливается… Вишь, ему не терпится…

Почти тотчас же со двора послышался топот скачущей лошади.

Последняя фраза старика рассеяла мою дремоту. Я сел против огня и задумался. Темная ночь,

незнакомое место, незнакомые люди и не совсем понятные речи, и, наконец, это странное, зловещее слово… Мои нервы были расстроены.

Через полтора часа под окнами послышался звон колокольчика. Тройка остановилась у подъезда. Я собрался и вышел.

Небо чуть-чуть прояснилось. Тучи бежали быстро, точно торопились куда-то убраться вовремя. Дождь перестал, только временами налетали откуда-то сбоку, из мрака, крупные капли, как будто второпях роняемые быстро бежавшими облаками. Тайга шумела. Подымался к рассвету ветер.

Хозяин вышел провожать меня с фонарем, и благодаря этому обстоятельству я мог рассмотреть моего ямщика. Это был мужик громадного роста, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было как-то спокойно-угрюмо, с тем особенным отпечатком, какой кладет обыкновенно застарелое сильное чувство или давно засевшая невеселая дума. Глаза глядели ровно, упорно и мрачно.

Правду сказать, у меня мелькнуло-таки желание отпустить восвояси этого мрачного богатыря и остаться на ночь в светлой и теплой горнице молокана, но это было только мгновение. Я ощу-

пал револьвер и сел в повозку. Ямщик закрыл полог и неторопливо полез на козлы.

— Ну, слышь, убивец, — напутствовал нас старик, — смотри, парень, в оба. Сам знаешь…

— Знаю, — ответил ямщик, и мы нырнули в тьму ненастной ночи.

Мелькнуло еще два-три огонька разрозненных избенок. Кое-где на фоне черного леса клубился в сыром воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно таяли во мраке. Наконец последнее жилье осталось сзади. Вокруг была лишь черная тайга да темная ночь.

Лошади бежали ровно и быстро мчали меня к роковому логу, однако до лога оставалось еще верст пять, и я мог на свободе обдумать свое положение. Как это случается иногда в минуту возбуждения, оно представилось мне вдруг с поразительною ясностью. Вспомнив хищнические фигуры бакланов, таинственность сопровождавшего их купца, затем странную неотвязчивость, с какою все они следовали за мною, — я пришел к заключению, что в логу меня непременно ожидает какое-нибудь приключение. Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа.

Загадка эта скоро, однако, должна была разре-

шиться. На посветлевшем несколько, но все еще довольно темном небе выделялся уже хребет. На нем, вверху, шумел лес, внизу, в темноте, плескалась речка. В одном месте большая черная скала торчала кверху. Это и был Чертов Палец.

Дорога жалась над речкой, к горам. У Чертова Пальца она отбегала подальше от хребта, и на нее выходил из ложбины проселок. Это было самое опасное место, прославленное многочисленными подвигами рыцарей сибирской ночи. Узкая каменистая дорога не допускала быстрой езды, а кусты скрывали до времени нападение. Мы подъезжали к ложбине. Чертов Палец надвигался на нас, все вырастая вверху, во мраке. Тучи пробегали над ним и, казалось, задевали за его вершину.

Лошади пошли тихо. Коренная осторожно постукивала копытами, внимательно вглядываясь в дорогу. Пристяжки жались к оглоблям и пугливо храпели. Колокольчик вздрагивал как-то неровно, и его тихое потренькиванье, отдаваясь над рекой, расплывалось и печально тонуло в чутком воздухе…

Вдруг лошади остановились. Колокольчик порывисто дрогнул и замер. Я привстал. По дороге, меж темных кустов, что-то чернело и двигалось. Кусты шевелились.

Ямщик остановил лошадей как раз вовремя: мы избегли нападения сбоку; но и теперь положение было критическое. Вернуться назад, свернуть в сторону — было невозможно. Я хотел уже выстрелить наудачу, но вдруг остановился.

Громадная фигура ямщика, ставшего на козлах, закрыла кусты и дорогу. Убивец поднялся, неторопливо передал мне вожжи и сошел на землю.

— Держи ужо. Не пали!..

Он говорил спокойно, но в высшей степени внушительно. Мне не пришло в голову ослушаться: моих подозрений как не бывало; я взял вожжи, а угрюмый великан двинулся вперед, по направлению к кустам. Лошади тихо и как-то разумно двинулись за хозяином сами.

Шум колес по каменистой дороге мешал мне слушать, что происходило в кустах. Когда мы поравнялись с тем местом, где раньше заметно было движение, убивец остановился.

Все было тихо, только вдали от дороги, по направлению к хребту, шумели листья и слышался треск сучьев. Очевидно, там пробирались люди. Передний, видимо, торопился.

— Ко`стюшка это, подлец, впереди всех бежит, — сказал убивец, прислушиваясь к шуму. — Э, да один, гляди-ко, остался!

В это время из-за куста, очень близко от нас, выделилась высокая фигура и как-то стыдливо нырнула в тайгу вслед за другими. Теперь явственно слышался в четырех местах шум удалявшихся от дороги людей.

Убивец все так же спокойно подошел к своим коням, поправил упряжку, звякнул дугой с колокольчиком и пошел к облучку.

Вдруг на утесе, под Пальцем, сверкнул огонек. Грянул ружейный выстрел, наполнив пустоту и молчание ночи. Что-то шлепнулось в переплет кошовки и шарахнулось затем по кустам.

Убивец кинулся было к утесу, как разъяренный, взбесившийся зверь, но тотчас же остановился.

— Слышь, Коська, — сказал он громко, глубоко взволнованным голосом, — не дури, я те говорю. Ежели ты мне теперича невинную животину испортил — уходи за сто верст, я те достану!.. — Не пали, господин! — добавил он сурово, обращаясь ко мне.

— Мотри и ты, убивец, — послышался от утеса чей-то сдержанный, как будто не Костюшкин голос. — Не в свое дело пошто суешься?

Говоривший как будто боялся быть услышанным тем, к кому обращался.

— Не грози, ваше степенство, — с презрением

ответил ямщик. — Не страшен небось, даром что с бакланами связался!

Через несколько минут лог под Чертовым Пальцем остался у нас назади. Мы выехали на широкую дорогу.

III. Убивец

Мы проехали версты четыре в глубоком молчании. Я обдумывал все случившееся, ямщик только перебирал вожжи, спокойно понукая или сдерживая своих коней. Наконец я заговорил первый:

— Ну, спасибо, приятель! Без тебя мне, пожалуй, пришлось бы плохо!

— Не на чем, — ответил он.

— Ну, как не на чем? Эти молодцы, видно, народ отчаянный…

— Отчаянный, это верно!

— А ты их знаешь?

— Ко`стюшку знаю… Да его, варвара, почитай, всякая собака знает… Купца тоже ранее примечал… А вот того, который остался, не видал будто… Видишь ты, понадеялся на Ко`стюшку, остался. Да нет, Ко`стюшка, брат, не того десятка… Завсегда убегет в первую голову… А этот смелый…

Он помолчал.

— Не бывало этого ранее, никогда не бывало, — заговорил он опять тихо, покачивая головой. — Ко`стюшка его откуда ни то раздобыл… Скликает воронья на мою голову, проклятый…

— А почему они тебя так боятся?

— Боятся, верно это!.. Уложил я у них тут одного…

Он остановил лошадей и повернулся на козлах.

— Погляди, — сказал он, — вон он, лог-то, виднеется, погляди, погляди!.. Тут вот, в этом самом логу, я этого человека убил…

Мне показалось, что, когда он высказывал это признание, голос его дрожал; мне показалось также, что я вижу в его глазах, слабо освещенных отблеском востока, выражение глубокой тоски.

Повозка стояла на гребне холма. Дорога шла на запад. Сзади, за нами, на светлеющем фоне востока, вырисовывалась скалистая масса, покрытая лесом; громадный камень, точно поднятый палец, торчал кверху. Чертов лог казался близехонько.

На вершине холма нас обдавало предутренним ветром. Озябшие лошади били копытами и фыркали. Коренная рванула вперед, но ямщик мгновенно осадил всю тройку; сам он, перегнувшись с облучка, все смотрел по направлению к логу.

Потом он вдруг повернулся, собрал вожжи, приподнялся на козлах и крикнул… Лошади сразу

подобрались, подхватили с места, и мы помчались с вершины холма под гору.

Это была бешеная скачка. Лошади прижали уши и понеслись, точно в смертельном страхе, а ямщик то и дело приподнимался и без слова помахивал правою рукой. Тройка как будто чуяла, хотя и не могла видеть этих движений… Земля убегала из-под колес, деревья, кусты бежали навстречу и будто падали за нами назад, скошенные бешеным вихрем…

На ровном месте мы опять поехали тише. От лошадей валил пар. Коренная тяжело дышала, а пристяжки вздрагивали, храпели и водили ушами. Помаленьку они, однако, становились спокойнее. Ямщик отпустил вожжи и ласково ободрял коней…

— Тише, милые, тише!.. Не бойся… Вот ведь лошадь, — повернулся он ко мне, — бессловесная тварь, а тоже ведь понимает… Как на *угор* этот выехали да оглянулись — не удержишь… Грех чуют…

— Не знаю, — сказал я, — может, оно и так; да только на этот раз ты ведь сам их погнал.

— Погнал нешто? Ну, может, и впрямь погнал. Эх, барин! Кабы знал ты, что у меня на сердце-то…

— Что ж? Ты расскажи, так узнаю…

Убивец потупился.

— Ладно, — сказал он помолчав, — расскажу тебе… Эх, милые! Ступай, ступай, не бойся…

Лошади застучали по мягкой дороге ровною, частою рысцой.

— …Видишь ты… Было это давно… Оно хоть и не очень давно, ну, да воды-то утекло много. Жизнь моя совсем по-иному пошла, так вот поэтому и кажется все, что давно это было. Крепко меня люди обидели — начальники. А тут и бог, вдобавок, убил: жена молодая да сынишко в одночасье померли. Родителей не было — остался один-одинешенек на свете: ни у меня родных, ни у меня друга. Поп — и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, думал и наконец того, пошатился в вере. В старой-то пошатился, а новой еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо; разуму своему тоже не вовсе доверяю… И взяла меня от этих мыслей тоска, то есть такая тоска страшенная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить… Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко — все кинул… Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги-пару, вырезал в тайге посошок и пошел…

— Куда?

— Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю — поле вспашу хозяину, а в другое — к жатве поспею. Где день проживу, где неделю, а где и месяц; и все смотрю, как люди живут, как богу молятся, как веруют… Праведных людей искал.

— Что же, нашел?

— Как сказать тебе?.. Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого, братец, свое горе. Это верно. Ну, только все же плохо, братец, в нашей стороне люди бога-то помнят. Сам тоже понимаешь: так ли бы жить-то надо, если по божьему закону?.. Всяк о себе думает, была бы мамона сыта. Ну, что еще: который грабитель в кандалах закован идет, и тот не настоящий грабитель… Правду ли я говорю?

— Пожалуй… Ну, и что же?

— Ну, еще пуще стал на миру тосковать… Вижу, что толку нету, — мечусь, все равно как в лесу… Теперь, конечно, маленькое понятие имею, да и то… Ну, а тогда вовсе стал без ума. Надумал, например, в арестанты поступить…

— Это как же?

— А так, очень просто: назвался бродягой — и посадили. Вроде крест на себя наложил…

— Что ж, легче ли стало от этого?

— Какой-те легче! Конечно, глупость одна. Ты вот, может, в тюрьме не бывал, так не знаешь, а я довольно узнал, каков это есть монастырь. Главное дело — без пользы всякой живут люди, без работы. Суется это он из угла в угол, да пакость какую ни есть и надумает. На скверное слово, на отчаянность — самый скорый народ, а чтоб о душе подумать, о боге там — это за большую редкость, и даже еще смеются… Отчаянный самый народ. Вижу я, что, по глупости своей, не в надлежащее место попал, и объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься. Не пускают. Справки пошли, то, другое… Да еще говорят: как смел на себя самовольно этакое звание принять?.. Истомили вконец. Не знаю уж, что б и было со мной, да вышел тут случай… И плохо мне от этого самого случая пришлось… ну, а без него-то, пожалуй, было бы еще хуже…

Прошел как-то по тюрьме говор: Безрукого, мол, покаянника опять в острог приведут. Слышу я разговоры эти: кто говорит «правда», другие спорятся, а мне, признаться, в ту пору и ни к чему было: ведут так ведут. Мало ли каждый день приводят? Пришли это из городу арестантики, говорят: «Верно. Под строгим конвоем Безрукого

водят. К вечеру беспременно в острог». *Шпанка*[2] на двор повалила — любопытно. Вышел и я погулять тоже: не то чтобы любопытно было, а так, больше с тоски, все, бывало, по двору суешься. Только стал я ходить, задумался и о Безруком забыл совсем. Вдруг отворяют ворота, смотрю — ведут старика. Старичонка-то маленький, худенький, борода седая болтается, длинная; идет, сам пошатывается — ноги не держат. Да и рука одна без действия висит. А между прочим, пятеро конвою с ним, и еще штыки к нему приставили. Как увидел я это, так меня даже шатнуло… «Господи, думаю, чего только делают. Неужели же человека этак водить подобает, будто тигру какую? И диви бы еще богатырь какой, а то ведь старичок ничтожный, неделя до смерти ему!..»

Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Провели старика в контору: кузнеца позвали — ковать в ручные и ножные кандалы, накрепко. Взял старик железы, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай!» — говорит кузнецу. Потом наручни покрестил, сам руки продел. «Сподоби, говорит, господи, покаяния ради!»

---

[2] Примечания: 2

Шпанкой на арестантском жаргоне зовут серую арестантскую массу.

Ямщик замолчал и опустил голову, как будто переживая в воспоминании рассказанную сцену. Потом, тряхнув головой, заговорил опять:

— Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю: за сердце взял. Удивительное дело! После-то я его хорошо узнал: чистый дьявол, прости господи, сомуститель и враг. А как мог из себя святого представить! Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится: другой человек тогда был, да и только.

Да ведь и не я один. Поверишь ли, шпанка тюремная — и та притихла. Смотрят все, молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли, а другой даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело!

Ну, а уж меня он прямо руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости, вроде оглашенного, и взошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие в старину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже не разговаривал. Я ни к кому, и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры ихние, да все мимо ушей, точно вот мухи жужжат… Что ни надумаю — все про себя; худо ли, хорошо ли — ни у кого не спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому в «секретную» пробраться;

подошел случай, сунул часовым по пятаку, они и пропустили, а потом и так стали пускать, даром. Глянул я к нему в оконце, вижу: ходит старик по камере, железы за ним волочатся, да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям.

«Что надо?»

«Ничего, говорю, не надо, а так… навестить пришел. Чай, одному-то скучно».

«Не один я здесь, отвечает, а с Богом, с Богом-то не скучно, а все же доброму человеку рад».

А я стою перед ним дурак дураком, он даже удивляется, посмотрит на меня и покачает головой. А раз как-то и говорит:

«Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу тебя всего видеть».

Отошел я маленько, он глаз-то к дыре приставил, смотрел, смотрел и говорит:

«Что ты за человек за такой, сказывайся».

«Чего сказываться-то, — отвечаю ему, — самый потерянный человек, больше ничего».

«А можно ли, говорит, на тебя положиться? Не обманешь?..»

«Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно».

Подумал он немножко, а потом опять говорит:

«Нужно мне человека на волю спосылать нынче ночью. Не сходишь ли?» — «Как же мне, говорю, отсюда выйти?» — «Я тебя научу», — говорит. И точно, так научил, что вышел я ночью из тюрьмы, все равно как из избы своей. Нашел человека, которого мне он указал, сказал ему «слово». К утру назад. Признаться, как стал подходить к острогу, на самой зорьке, стало у меня сердце загораться. «Что, думаю, мне за неволя в петлю лезти? Взять да уйти!..» А острог-то, знаешь, за городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит, хлеба стоят-наливаются, за речкой лесок шумит маленечко… Приволье!.. А назад оглянешься: острог стоит, точно сыч насупившись… Да еще ночью-то, дело, конечно, сонное… А вспомнишь, как тут с зарей день колесом завертится, — просто беда! Сердце не терпит, так вот и подмывает уйти по дороге на простор да на волюшку…

Однако вспомнил про старика своего… «Неужто, думаю, я его обману?» Лег на траву, в землю уткнулся, полежал маленечко, потом встал да и повернулся к острогу. Назад не гляну… Подошел поближе, поднял глаза, а в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит да на меня из-за решетки смотрит.

Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он. «Ну, говорит, спасибо тебе, дитятко. Сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень, — спрашивает после, — на волю-то небось крепко хочется?» А сам смеется. — «Так, говорю, хочется, смерть!» — «То-то, говорит. А за что ты сюда-то попал, за какое качество?» — «Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего». — Покачал он тут головой. «Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе бог дал силу, и года твои, можно сказать, уж не маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут… Что толку? На миру, брат, грех, на миру и спасенье…»

«Греха, отвечаю, много».

«А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то, а каешься ли?» — «Горько мне, говорю». — «Горько! А о чем — и сам не знаешь. Не есть это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни: без греха один бог, а человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе, а грех на миру. Не согрешишь — и не покаешься, а не покаешься

— не спасешься. Понял ли?»

А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал: какая есть моя жизнь? Все люди — как люди, а я точно и не живу на свете: все равно как трава в поле или бы лесина таежная. Ни себе, ни другим.

«Это, говорю, верно. На миру хоть и не без греха жить, так по крайности жить, чем этак-то маяться. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят».

«Ну, — говорит старик, — это уж мое дело. Молился я о тебе: дано мне извести из темницы душу твою… Обещаешь ли меня слушаться — укажу тебе путь к покаянию». — «Обещаюсь, говорю». — «И клянешься?» — «И клянусь…» — Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною: в огонь прикажи — в огонь пойду, а в воду, так в воду.

Верил я этому человеку. И стал было мне один арестантик говорить: «Ты, мол, зачем это с Безруким связываешься? Не гляди, что он живой на небо пялится: руку-то ему купец на разбое пулей прострелил!..» Да я слушать не стал, тем более что и говорил-то он во хмелю, а я пьяных страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже

осердился: «Пропадай, говорит, дурья голова!» А надо сказать: справедливый был человек, хоть и пьяница.

Вскорости Безрукому облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанты приставать, шутки шутить, он хоть бы те слово в ответ. Поведет только глазами, так тут самый отчаянный опешит. Нехорошо смотрел…

Ну, а еще через малое время — и совсем освободился. Гулял я раз, летнее дело, по двору; смотрю, заседатель в контору прошел, потом провели к нему Безрукого.

Не прошло полчаса, выходит Безрукой с заседателем на крыльцо, в своей одежде, как есть на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. «Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а между прочим, вины за ним не имеется». Жалко мне, признаться, стало — тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манит к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а Безрукой-то и говорит:

«Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету».

«А как тебя звать-то?» — спрашивает заседатель.

«Федором, мол, зовут, Силиным».

«А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее раза, чтоб напредки не в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажись, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его…»

«Ну вот и отлично, — говорит Безрукой. — А ты, парень, — отозвал он меня к сторонке, — как ослобонишься, ступай на Кильдеевскую заимку, спроси там хозяина Ивана Захарова, я ему о тебе поговорю, дитятко; да клятву-то помни».

И ушли они. А через неделю, точно, и меня на волю отпустили. Вышел я из острога и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и так, говорю, меня Безрукой прислал. «Знаю, говорит. Сказывал о тебе старик. Что ж, становись пока в работники ко мне, там увидим». — «А сам-то, мол, Безрукой где же находится?» — «В отлучке, говорит, — по делам он все ездит. Никак скоро будет».

Вот и стал я жить на заимке — работником не работником — так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин,

да сын большой, да работник… Я четвертый. Ну, бабы еще, да Безрукой наезжал. Хозяева — люди строгие, староверы, закон соблюдают; табаку, водки — ни-ни! А работник Кузьма — тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть, бывало, колокольчик забрякает, он сейчас в кусты и захоронится. А Безрукого-то пуще всех боялся. Издали, бывало, завидит, тотчас бегом в тайгу, и все в одно место прятался. Зовут хозяева, зовут — не откликается. Пойдет к нему сам Безрукой, слово скажет, он и идет за ним, как овечка, и все опять справляет, как надо.

Наезжал Безрукой на заимку-то не часто и со мной почитай что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином да на меня смотрит, как я работаю; а подойдешь к нему — все некогда. «Погоди, говорит, дитятко, ужо на заимку перейду, тогда поговорим. Теперь недосуг». А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли, пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особливо ночью. Ну, да мне без работы-то еще того хуже; пуще дума одолевает, места себе не найду…

Прошло никак недель пять, как я из тюрьмы вышел. Приезжаю раз вечером с мельницы;

гляжу, народу у нас в избе много… Распрег коня; только хочу на крылец идти — хозяин мне навстречу. «Не ходи, говорит, погоди малость, сам позову. Да слышь! Не ходи, я тебе говорю». Что же, думаю себе, за оказия такая? Повернулся я, пошел к сеновалу. Лег на сено — не спится. Вспомнил, что топор у меня около ручья оставлен. Сходить, думаю: станет народ расходиться, как бы кто не унес. Пошел мимо окон да как-то и глянул в избу. Вижу: полна изба народу, за столом заседатель сидит; водка перед ним, закуска, перо, бумага — следствие, одним словом. А в стороне-то, на лавке, Безрукой сидит. Ах ты господи!.. Точно меня обухом по голове шибануло!.. Волосы у него на лоб свесились, руки назад связаны, а глаза точно угли… И такой он мне страшный тогда показался, сказать не могу…

Отшатнулся я от окна, отошел к сторонке… Осенью дело это было. Ночь стояла звездная да темная. Никогда мне, кажется, ночи этой не забыть будет. Речка эта плещется, тайга шумит, а сам я точно во сне. Сел на бережку, на траве, дрожу весь… Господи!..

Долго ли, коротко ли сидел, только слышу: кто-то идет из тайги тропочкой мимо, в белом пинжаке, в фуражке, палочкой помахивает.

Писарь… верстах в четырех жил. Прошел он по мостику и прямо в избу. Потянуло тут и меня к окну: что будет?

Писарь вошел в двери, снял шапку, смотрит кругом. Сам, видно, не знал, зачем позвали. Потом пошел к столу мимо Безрукого и говорит ему: «Здравствуй, Иван Алексеевич!» Безрукой его так и опалил глазами, а хозяин за рукав дернул да шепнул что-то. Писарь, видно, удивляется. Подошел к заседателю, а тот, уже порядочно выпивши, смотрит на него мутными глазами, точно спросонья. Поздоровались. Заседатель и спрашивает:

«Знаете вы этого человека?» — Сам в Безрукого пальцем тычет.

Посмотрел писарь, с хозяином переглянулся.

«Нет, говорит, не видывал будто».

Что такое, думаю, за оказия? Ведь и заседатель-то его хорошо знает.

Потом заседатель опять:

«Это не Иван Алексеев, здешний житель, по прозванию Безрукой?»

«Нет, — отвечал писарь, — не он».

Взял заседатель перо, написал что-то на бумаге и стал вычитывать. Слушаю я за окном, дивлюсь только. По бумаге-то выходит, что самый этот старик Иван Алексеев не есть Иван Алексеев; что его

соседи, а также и писарь не признают за таковое лицо, а сам он именует себя Иваном Ивановым и пачпорт кажет. Вот ведь удивительное дело! Сколько народу было, все руки прикладывали, и ни один его не признал. Правда, и народ тоже подобрали на тот случай! Все эти понятые у Ивана Захарова чуть не кабальные, в долгу.

Кончили это дело, понятых отпустили… Безрукого заседатель развязать велел еще раньше. Иван Захаров выносит деньги, дает заседателю, тот сосчитал, сунул в карман. «Теперь, говорит, тебе, старик, беспременно месяца на три уехать надо. А не уедешь — смотри, на меня не пеняй… Ну, лошадей мне давайте!..»

Отошел я от окна, прошел на сеновал, думаю, сейчас кто-нибудь к лошадям выйдет. Не хотелось мне, чтобы меня под окном-то увидали. Лежу на сене, спать не сплю, а все будто сон вижу, с мыслями не могу собраться… Слышу — проводили заседателя. Побрякал колокольцами, уехал… В доме все улеглись, огни погасли. Стал было и я дремать, да вдруг это слышу опять: динь, динь, динь! Колокольчик звенит. А ночь-то тихая-претихая, далеко слышно. И все это ближе да ближе: из-за реки к нам будто едут. Малое время спустя и в избе колокольчик-то услыхали, огонь вздули.

Тройка на двор въехала. Знакомый ямщик проезжающих привез — значит, по дружбе; мы к нему возили, он к нам.

Ну, думаю себе, может, ночевать станут. Да и то: ночью редко меня посылали; больше сам хозяин либо сын да работник. Стал я опять дремать, да вдруг слышу: Безрукой с хозяином тихонько под навесом разговаривают.

«Ну, как же быть? — старик-то говорит. — Да где же Кузьма?»

«То-то вот, — хозяин отвечает. — Иван с заседателем уехал, а Кузьма, как народ увидал, так сейчас теку. И в кустах его, слышь, нету. Дурак парень этот. Совсем, кажись, ума решился».

«Ну, а Федор?» — старик опять спрашивает: это уж про меня.

«Федор, мол, вечор с мельницы приехал, хотел в избу идти, да я не пустил».

«Хорошо, говорит, надо быть, спать завалился. Ничего не видал?»

«Надо полагать — ничего. Прямо на сеновал ушел».

«Ну, ладно. Пустить его, видно, сегодня в дело...»

«Ладно ли будет?» — говорит Захаров.

«Ничего, ладно. Парень этот простой, а сила в

нем чудесная; и меня слушает — кругом пальца его оберну. И то сказать: я ведь в самом деле теперича на полгода еду, а парня этого надо к делу приспособить. Без меня дело не обойдется».

«Все же будто сумнительный человек, — говорит Захаров. — Не по уму он мне что-то, даром что дурачком глядит».

«Ну, ну, — старик отвечает. — Знаю я его. Простой парень. Нам этаких и надо. А уж Кузьму как-нибудь сбывать придется. Как бы чего не напрокудил».

Стали меня окликать: Федор, а Федор! А у меня духу нет ответить. Молчу. Полез старик на сеновал, ощупал меня. «Вставай, Федорушка! — говорит, да таково ласково. — Ты, спрашивает, спал ли?» — «Спал, говорю...» — «Ну, — говорит, — дитятко, вставай, запрягай коней; с проезжающим поедешь. Помнишь ли, в чем клялся?» — «Помню», — говорю. А у самого зубы-то щелкают, дрожь по телу идет, холод. «Может, — говорит старик, — подошло твое время. Слушайся, что я прикажу. А пока — запрягай-ка проворней: проезжающие торопятся...»

Вытащил я из-под навеса телегу, захомутал коренную, стал запрягать, а сердце так и стучит, так и колотится! И все думаю, не сонное ли, мол,

все это видение? В голове суета какая-то, а мыслей нету…

Безрукой, гляжу, тоже коня седлает, а конек у него послушный был, как собачонка. Одною рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько, конь и пошел со двора. Запрег я коренную, вышел за ворота, гляжу: Безрукой рысцой уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало.

Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали — барыня молодая да трое ребят, мал мала меньше. Старшему-то четыре годика, а младшей самой девочке года два, не более. И куда только, думаю, тебе, горемычной, экое место ехать доводится, да еще одной, без мужа? Барыня-то тихая, приветная. Посадила меня за стол, чаем напоила. Спрашивает: какие места, нет ли шалостей? — «Не слыхивал», — говорю, а сам думаю: ох, родная, боишься ты, видно. Да и как ей, бедной, не бояться: клади с ней много, богато едет, да еще с ребятами; материнское сердце — вещун. Тоже, видно, неволюшка гонит.

Ну, сели, поехали. До свету еще часа два оставалось. Выехали на дорогу, с версту этак проехали; гляжу — пристяжка у меня шарахнулась. Что, ду-

маю, такое тут? Остановил коней, оглядываюсь: Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал обок дороги, смотрит на меня, сам лохмами своими трясет, смеется про себя… Фу ты, окаянная сила! У меня и то кошки по сердцу скребнули, а барыня моя, гляжу, ни жива ни мертва… Ребята спят, сама не спит, мается. На глазах слезы. Плачет… «Боюсь я, говорит, всех вас боюсь…»

«Что ты, говорю, Христос с тобой, милая. Или я душегуб какой?.. Да вы почто же ночевать-то не остались?..»

«Там-то, говорит, еще того хуже. Прежний ямщик сказал: к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку… У старика-то, — говорит барыня, — пуще всех глаза нехорошие…»

Ах ты господи, думаю, что мне теперича с нею делать? Убивается, бедная.

«Что ж, говорю, теперича, как будете: назад ли вернетесь или дальше поедем?» Хожу я круг ее — не знаю, как и утешить, потому жалко. А тут еще и лог этот недалече; с проселку на него выезжать приходилось, мимо Камня. Вот видит она, что и сам я с нею опешил, и засмеялась:

«Ну, садись, говорит, поезжай. Не вернусь я назад: там страшнее… С тобой лучше поеду, потому что лицо у тебя доброе». — Теперь это, братец,

люди меня боятся, убивцем зовут, а тогда я все одно как младенец был, печати этой Каиновой на мне еще не было.

Повеселел и я с нею. Сел на козлы. «Давай, — говорит моя барыня, — станем разговаривать». Спрашивает про меня и про себя сказывает, едет к мужу. Сосланный муж у нее, из богатых. «А ты, говорит, у этих хозяев давно ли живешь; в услужении ли, как ли?» — «В услужении, говорю, недавно нанялся». — «Что, мол, за люди?» — «Люди, говорю, ничего… А впрочем, кто их знает. Строгие… водки не пьют, табаку не курят». — «Это, говорит, пустяки одни, не в этом дело». — «А как же, говорю, жить-то надо?» Вижу я: она хоть баба, да с толком; не скажет ли мне чего путного? «Ты, спрашивает, грамотный ли?» — «Маленечко, мол, учился». — «Какая, говорит, большая заповедь в Евангелии?» — «Большая, мол, заповедь — любовь!» — «Ну, верно. А еще сказано: больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за други своя! Вот тут и весь закон. Да еще ум, говорит, нужен — значит, рассудить: где польза, а где пользы нету. А персты эти да табак там — это одна наружность…» — «Ну, правда твоя, отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтобы человек во всякое время помнил».

Ну, разговариваем этак, едем себе не торопясь. К тайге подъехали, к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая: паром толканешь, он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребятки проснулись, продрали глазенки-то, глядят: ночь ночью. Лес это шумит, звезды на небе, луна только перед светом подымается… Ребятам-то и любо… Известное дело — несмысли!

Ну, только, братец, въехали в тайгу — меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу: впереди по тропочке ровно бы кто на вершной бежит. Явственно-то не видно, а так кажет, будто серый конек Безрукого, и топоток слышно. Упало у меня сердце: что, мол, это такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнил ранее… Не к добру… Задумался я… Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал; как вспомню, какие глаза у него были, так дрожь и пройдет, и пройдет по телу.

Примолк я; думать ничего не думаю, и не слышу ничего. Барыня моя слово-другое скажет — я все молчу. Стихла и она, бедная… Сидит…

Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе у меня тоже черно, просто сказать — чернее ночи. Сижу сам не свой.

Кони дорогу знают, бегут к Камню этому — я не правлю. Подъезжаем — так и есть… Стоит на дороге серый конек, старик на нем сидит, глаза у него — веришь ли богу — как угли… Я и вожжи-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой. «Федор! — старик говорит, — сойди-ка наземь!» Сошел я с козел, послушался его, он тоже с седла слезает. Конька-то своего серого поперек дороги перед тройкой поставил. Стоят мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою, как околдованный. Подошел он ко мне, говорит что-то, за руку взял, ведет к кошовке. Гляжу: в руке у меня топор!..

Иду за ним… и слов у меня супротив его, душегуба, нету, и сил моих нету противиться. «Согреши, говорит, познаешь сладость покаяния…» Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошовушке… Он стал обок. «Начинай, — говорит. — Сначала бабу-то по лбу!» Глянул я тут в кошовку… Господи боже! Барыня-то моя сидит, как голубка ушибленная, ребяток руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось… Ребятки тоже проснулись, глядят, точно пташки. Понимают ли, нет ли…

И точно я с этого взгляду от сна какого прокинулся. Отвел глаза, подымаю топор… А самому

страшно: сердце закипает. Посмотрел я на Безрукого, дрогнул он… Понял. Посмотрел я в другой раз: глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулась… состонать не успел старик, повалился мне в ноги, а я его, братец, мертвого… ногами… Сам зверем стал, прости меня, господи боже!..

Рассказчик тяжело перевел дух.

— Что же после? — спросил я, видя, что он замолк и задумался.

— Ась? — откликнулся он. — Да после-то? Очнулся я, смотрю: скачет к нам Иван Захаров на вершной, в руках ружье держит. Подскакал вплоть; я к нему… Лежать бы и ему рядом с Безруким, уж это верно, да спасибо, сам догадался. Как глянул на меня — повернул коня да давай его ружейным прикладом по бокам нахлестывать. Тут у него меринок человеческим голосом взвыл, право, да как взовьется, что твоя птица!

Опомнился я вовсе… Не гляжу на людей… Сел на козлы, коней хлестнул… ни с места. Глядь, а серый конек все поперек дороги стоит. Я про него и забыл. Вот ведь, дьявол, как был приучен! Перекрестился я. Видно, думаю, и животину дьявольскую тут же уложить придется. Подошел к коньку: стоит он, только ухми прядет. Дернул я за

повод, упирается. «Ну, говорю, выходи, барыня, из кошовки, как бы не разнесли кони-то с испугу, потому что он вплоть перед ними стоит». Барыня, что твой ребенок послушный, выходит… Ребята повылезли, к матери жмутся. Страшно и им, потому место глухое, темное, а тут еще я с дьяволами с этими вожжаюсь.

Спятил я свою тройку, взял топор в руки, подхожу к серому. «Иди, говорю, с дороги — убью!» Повел он ухом одним. Не иду, мол. Ах ты! Потемнело у меня в глазах, волосы под шапкой так и встают… Размахнулся изо всех силы, бряк его по лбу… Скричал он легонько, да и свалился, протянул ноги… Взял я его за ноги, сволок к хозяину и положил рядом, обок дороги. Лежите!..

«Садитесь!» — говорю барыне. Посадила она младших-то ребят, а старшенького-то не сдюжает… «Помоги», — говорит. Подошел я; мальчонко-то руки ко мне тянет. Только хотел я взять его, да вдруг вспомнил… «Убери, говорю, ребенка-то подальше. Весь я в крови, негоже младенцу касаться…»

Кое-как уселись. Тронул я… Храпят мои кони, не идут… Что тут делать?.. «Посади-ко, — говорю опять, — младенца на козлы». Посадила она мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожжой

— пошли, так и несутся… Вот как теперь же, сам ты видел. От крови бегут…

Наутро доставил я барыню в управу, в село. Сам повинился. «Берите меня, я человека убил». Барыня рассказывает все, как было. «Он меня спас», — говорит. Связали меня. Уж плакала она, бедная. «За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил». Видит, что никто на ее слова внимания не берет, кинулась ко мне, давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил… «Брось, говорю, не твое дело. Теперь уж дело-то людское да божье. Виноват ли я, прав ли, — рассудит бог да добрые люди…» — «Да какая же, говорит, может быть вина твоя?» — «Гордость моя, отвечаю. Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От миру отбился, людей не слушался, все своим советом поступал. Ан вот он, свой-то совет, и довел до душегубства…»

Ну, отступилась, послушалась меня. Стала уезжать, подошла ко мне прощаться, обняла… «Бедный ты!..» Ребяток обнимать заставляет. «Что ты? — говорю. — Не скверни младенцев. Душегуб ведь я…» Опасался, признаться, что детки и сами греха моего забоятся. Да нет, поднесла она маленьких, старшенький сам подошел. Как об-

вился мальчонко вокруг шеи моей ручками — не выдержал я, заревел. Слезы так и бегут. Добрая же душа у бабы этой!.. Может, за ее добрую душу и с меня господь греха моего не взыщет…

«Если, — говорит она, — есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем. Век тебя не забуду!» И точно не забыла. Сам знаешь суды-то наши… волокита одна. Держали бы меня в остроге и по сию пору, да уж она с мужем меня бумагами оттуда добыли.

«А все-таки держали в остроге?»

«Держали, и даже порядочное время. Главная причина — через деньги. Послала мне барыня денег полтысячи и письмо мне с мужем написала. Как пришли деньги эти, и сейчас мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. «Ну, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь, я тебя вовсе оправлю?»

Ах ты, думаю, твое благородие!.. За что деньги просит! Суди ты меня строго-настрого, да чтоб я твой закон видел, — я тебе в ноги поклонюсь. А он на-ко! — за деньги…

«Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперича подвержен».

Смеется. «Дурак ты, я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке

лежит, а я, между прочим, — власть. Куда захочу, туда тебя и суну».

«Это, мол, как же так выйдет?»

«А так, говорит. Глуп ты! Послушай вот: ты в этом разе барыню-то с ребятами защитил?»

«Ну, мол, что дальше-то?»

«Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл».

«А другой, мол, какой будет?»

«Другой-то? А вот какой: посмотри ты на себя, какой ты есть детина. Вот супротив тебя старик — все одно как ребенок. Он тебя сомущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад да к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац!.. и свалил. Это надо приписать к твоему самоуправству, потому что этак не полагается. Понял?»

«Понял, говорю. Нет у вас правды! Кабы ты мне это без корысти объяснил… так ли, этак ли, — я б тебе в ноги поклонился. А ты вот что! Ничего тебе от меня не будет».

Осердился он.

«Хорошо же, мол. Я тебя, голубчика, пока еще суд да дело, в остроге сгною».

«Ладно, говорю, не грози».

Вот и стал он меня гноить, да, вишь ты, барыня-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, кричал, а наконец того взял да в тот же день и отпустил. Вот и вышел я без суда… Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные, вот я и жду: привел бы бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут.

— А что же Иван-то Захаров?

— А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, с Безруким-то уговор был: ехать Захарову за мной невдалеке. Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захарову из ружья стрелять. Да, вишь, бог-то судил иначе… Прискакал к нам Захаров, а дело-то уж у меня кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку и сейчас стал из земли деньги свои копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись, — в тайгу… А на заре взяло заимку огнем. Сам ли как-нибудь заронил, а то, сказывают, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки одни остались. Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын — на каторге. Откупиться-то стало уж нечем.

— Тпру, милые!.. Приехали, слышь, слава те, господи... Вишь ты, и солнышко божье как раз подымается.

IV. Сибирский вольтерианец

Прошло около месяца. Покончив с делами, я опять возвращался в губернский город на почтовых и около полудня приехал на N-скую станцию.

Толстый смотритель стоял на крылечке и дымил сигарой.

— Вам лошадей? — спросил он, не дав мне еще и поздороваться.

— Да, лошадей.

— Нет.

— Э, полноте, Василий Иванович! Я ведь вижу…

Действительно, под навесом стояла тройка в шлеях и хомутах.

Василий Иванович засмеялся.

— Нет, в самом деле, — сказал он затем серьезно. — Вам теперь, вероятно, не к спеху… Пожалуйста, я вас прошу: погодите!

— Да зачем же? Уж не губернатора ли дожидаетесь?

— Губернатора! — засмеялся Василий Иванович. — Куда махнули! И всего-то надворного советника, да уж очень хочется мне этого парня

уважить, право… Вы не обижайтесь, я и вам тоже всею душой. Но ведь я вижу: вам не к спеху, а тут, можно сказать, интерес гуманности, правосудия и даже спасения человечества.

— Да что у вас с правосудием тут? Какие дела завязались?

— А вот погодите, расскажу. Да что же вы здесь стоите? Заходите в мою хибарку.

Я согласился и последовал за Василием Ивановичем в его хибарку, где за чайным столом нас ждала уже его супруга, полная и чрезвычайно добродушная дама.

— Да, так вы насчет правосудия спрашивали? — заговорил опять Василий Иванович. — Вы фамилию Проскурова слыхали?

— Нет, не слыхал.

— Да и чего слыхать-то, — вмешалась Матрена Ивановна. — Такой же вот озорник, как и мой, и даже в газетах строчит.

— Ну, уж это вы напрасно, вот уж напрасно! — горячо заговорил Василий Иванович. — Проскуров, матушка моя, человек благонадежный, на виду у начальства. Ты еще угоднику моему свечку должна поставить за то, что муж твой с этакими лицами знакомство ведет. Ты что о Проскурове-то думаешь? Какого-нибудь шалопая сделают разве

следователем по особо важным делам?

— Что вы это мелете? — вступился я. — Какие тут следователи, да еще по особо важным делам?

— То-то и я говорю, — ободрилась Матрена Ивановна, — врешь ты все, я вижу. Да что я-то, по-твоему, дура набитая, что ли? Неужто важные-то начальники такие бывают?

— Вот вы у меня Матрену Ивановну и смутили, — укоризненно покачал головой смотритель. — А ведь, в сущности, напрасно. Оно, конечно, по штату такой должности у нас не полагается, но если человек все-таки ее исполняет по особому, так сказать, доверию, то ведь это еще лучше.

— Ничего я тут не понимаю, — сказал я.

— То-то вот. Сами не понимаете, а женщину неопытную смутили! Ну, а слышали вы, что у нас есть тут компания одна, вроде как бы на акциях, которая ворочает всеми делами больших дорог и темных ночей?.. Неужели и этого не слыхали?

— Да, слыхал, конечно.

— Ну, то-то. Компания, так сказать, всесословная. Дело ведется на широкую ногу, под девизом: «Рука руку моет», и даже не чуждается некоторой гласности: по крайней мере, все отлично знают о существовании сего товарищества и даже

лиц, в нем участвующих, — все, кроме, конечно, превосходительного… Но вот недавно как-то, после одного блестящего дела, «самого» осенила внезапная мысль: надо, думает, «искоренить». Это, положим, бывало и прежде: искореняли сами себя члены компании, и все обходилось благополучно. Но на этот раз осенение вышло какое-то удивительное. Очень уж изволили осердиться, да и назначили своего чиновника особых поручений, Проскурова, следователем, с самыми широкими полномочиями по делам не только уже совершившимся, но и имеющим впредь совершиться, если в них можно подозревать связь с прежними.

— Что же тут удивительного?

— Оно, конечно, бог умудряет и младенцы. Человек-то попался честный и энергичный — вот что удивительно! Месяца три уж искореняет: поднял такую возню, не дай господи! Лошадей одних заездили около десятка.

— Что же тут хорошего, особенно для вас?

— Да ведь заездил-то не Проскуров… Этот ездит аккуратно. Земская полиция все за ним на обывательских гоняется. Соревнование, знаете. Стараются попасть ранее на место преступления… для пользы службы, конечно. Ну, да редко

им удается. Проскуров у нас настоящий Лекок. Раз, правда, успели один кончик ловко у него из-под носу вытащить… Огорчили бедного до такой степени, что он даже в официальном рапорте забылся: «Старанием, говорит, земских властей приняты были все меры к успешному сокрытию следов преступления». Ха-ха-ха!

— То-то вот, — сказала Матрена Ивановна, — я и говорю: озорник. Одного с тобой поля ягода-то!..

— Ну уж не озорник, — возразил Василий Иванович. — Не-ет! А что раз промахнулся, так это и с серьезнейшими людьми бывает. Сам после увидал, что дал маху. Приступили к нему; пришлось бедняге оправдываться опиской… «На предбудущее время, — говорят ему, — таких описок не допускать, под опасением отставки по расстроенному здоровью». Чудак! Ха-ха-ха!

— Ну, а вы-то тут при чем? — спросил я.

Василий Иванович принял комически серьезный вид.

— А я, видите ли, содействую. У нас тут — спросите вот у Матрены Ивановны — настоящий заговор, тайное сообщество. Он искореняет, а я ему, знаете ли, лошадок всегда наготове держу. Взять хоть сегодня: там, где-то по тракту, убийство, и его человечек к нему с известием

поскакал. Ну, значит, и сам искоренитель скоро явится; вот у меня лошади в хомутах, да и на других станках просил приятелей приготовить. Вот оно и выходит, что на скромном смотрительском месте тоже можно человечеству оказывать немаловажные услуги, д-да-с…

Под конец этой тирады веселый смотритель опять не выдержал серьезного тона и захохотал.

— Погодите, — сказал я ему. — Вы смеетесь. Скажите-ка мне серьезно: сами-то вы верите в эту искоренительную миссию или только наблюдаете?

Василий Иванович крепко затянулся сигарой и замолчал.

— Представьте, — сказал он довольно серьезно, — ведь я еще сам не предлагал себе подобного вопроса. Погодите, дайте подумать… Да нет, какая к черту тут миссия! Загремит он скоро кверху тормашками, это верно. А тип, я вам скажу, интереснейший! Да вот вам пример: ведь оказывается, в сущности, что я в успех его дела не верю; иногда смешон мне этот искоренитель до последней крайности, а содействую, и даже, если хотите, Матрена Ивановна права: возбуждаю против себя «настоящее» начальство. Из-за чего? Да и я ли один? Везде у него есть свои люди… «сочув-

ствующие». В этом его сила, конечно. Только… странно, что, кажется, никто в его успех не верит. Вот вы слышали: Матрена Ивановна говорит, что «настоящие начальники не такие бывают». Это отголоски общественного мнения. А между тем, пока этот младенец ломит вперед, высоко держа знамя, как говорится в газетах, всякий человек с капелькой души или просто лично не заинтересованный старается мимоходом столкнуть с его пути один, другой камешек, чтобы младенец не ушибся. Ну, да это, конечно, не поможет.

— Но почему? При сочувствии населения, в этом случае даже прямо заинтересованного?..

— То-то вот. Сочувствие это какое-то не вполне доброкачественное. Сами вы увидите, может быть, какое это чадо. Прет себе без всякой политики, и горюшка мало, что его бука съест. А сторонний человек смотрит и головой качает: съедят, мол, младенца ни за грош! Ну и жалко. «Погоди-ка, — говорит сторонний человек, — я вот тут тебе дорожку прочищу, а уж дальше съест тебя бука, как пить даст». А он идет, ничего! Поймите вы, что значит сочувствие, если нет веры в успех дела? Тут, мол, надо начальника настоящего, мудрого, яко змий, чтобы, знаете, этими обходцами ползать умел, величие бы являл, где

надо, а где надо — и взяточкой бы не побрезгал, — без этого какой уж и начальник! Ну, тогда могла бы явиться и вера: этот, мол скрутит! Только… черт возьми! тогда не было бы сочувствия, потому что все дело объяснялось бы столкновением начальственных интересов… Вот тут и поди!.. Э-эх, сторона наша, сторонушка!.. Давайте-ка лучше чай пить!

Василий Иванович круто оборвал и повернулся на стуле.

— Наливай, Матренчик, чаю, — сказал он както мягко жене, слушавшей все время с большим интересом речи супруга. — А прежде, — обратился он ко мне, — не дернуть ли нам по первой?..

Василий Иванович и сам представлял тоже один из интереснейших типов, какие, кажется, встречаются только в Сибири; по крайней мере в одной Сибири вы найдете такого философа где-нибудь на почтовом станке, в должности смотрителя. Еще если бы Василий Иванович был из сосланных, то это было бы не удивительно. Здесь немало людей, которых колесо фортуны, низвергши с известной высоты, зашвырнуло в места отдаленные и которые здесь начинают вновь карабкаться со ступеньки на ступеньку, внося в эти низменные сферы не совсем обыч-

ные в них приемы, образование и культуру. Но Василий Иванович, наоборот, за свое вольнодумство спускался медленно, но верно, с верхних ступеней на нижние. Он относился к этому с спокойствием настоящего философа. Получив под какими-то педагогическими влияниями, тоже нередкими в этой ссыльной стране, с ранней юности вкусы и склонности интеллигентного человека, он дорожил ими всю жизнь, пренебрегая внешними удобствами. Кроме того, в нем сидел художник. Когда Василий Иванович бывал в ударе, его можно было заслушаться до того, что вы забывали и дорогу, и спешное дело. Он сыпал анекдотами, рассказами, картинами; перед вами проходила целая панорама чисто местных типов своеобразной и забытой реформой страны: все эти заседатели, голодные, беспокойно-юркие и алчные; исправники, отъевшиеся и начинающие ощущать удовольствие существования; горные исправники, находящиеся на вершинах благополучия; советники, старшие советники, чиновники всяких поручений… И над всем этим миром, знакомым Василию Ивановичу до мельчайших закоулков, царило благодушие и величие местных юпитеров, с демонстративно-помпадурской грозой и с младенчески наивным

неведением страны, с кругозором петербургских департаментских канцелярий и властью могущественнейших сатрапов. И все это в рассказах Василия Ивановича освещалось тем особенным внутренним чувством, какое кладет истинный художник в изображение интересующего его предмета. А для Василия Ивановича его родина, которую он рисовал такими часто непривлекательными красками, составляла предмет глубоко интересный. Интеллигентный человек, в настоящем смысле этого слова, он с полным правом мог применить к себе стих поэта:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

И он действительно любил ее, хоть эта плохо оцененная любовь и вела его к постепенной, как он выражался, деградации. Когда, после одного из крушений, вызванных его обличительным зудом, ему предложили порядочное место в России, он, немного подумав, ответил предлагавшему:

— Нет, батюшка, спасибо вам, но я не могу… Не могу-с! Что мне там делать? Все чужое. Помилуйте, да мне и выругать-то там будет некого.

Вообще, когда мне приходится слышать или читать сравнение Сибири с дореформенною Россией

— сравнение, которое одно время было в таком ходу, — мне всегда приходит на ум одно резкое различие. Различие это воплощается в виде толстой фигуры моего юмориста-приятеля. Дело в том, что в дореформенной России не было соседства России же реформированной, а у Сибири есть это соседство, и оно порождает то ироническое отношение к своей родной действительности, которое вы можете встретить в Сибири даже у людей не особенно интеллигентных. Наш российский Сквозник-Дмухановский в простоте своей душевной непосредственности полагал, что «так уж самим богом установлено, и вольтерианцы напрасно против этого вооружаются». Сибирский же Сквозник видел упразднение своего российского прототипа, видел торжество вольтерианцев, и его непосредственность давно уже утрачена. Он рвет и мечет, но в свое провиденциальное назначение не верит. Пойдут одни веяния — он радуется; пойдут другие — он впадает в уныние и скрежещет. Правда, к отчаянию всегда примешивается частица надежды: авось и на этот раз пронесет еще мимо, зато и ко всякой надежде примешивается горькое сомнение: надолго ли? Ибо «рубят лес за Уралом, а в Сибирь летят щепки». А тут еще в сторонке стоит свой

родной «вольтерианец» во фризовой шинели и улыбается: что, мол, батюшка, покуда еще бог грехам терпит, ась? — да втихомолку строчит корреспонденции в российские бесцензурные издания.

— Кстати, — спросил у меня Василий Иванович, когда после чаю мы закурили сигары, продолжая свою беседу, — вы мне ведь еще не рассказали, что такое случилось с вами, тот раз, в логу?

Я рассказал все уже известное читателю.

Василий Иванович сидел задумчиво, рассматривая кончик нагоревшей сигары.

— Да, — сказал он, — странные люди…

— Вы их знали?

— Как вам сказать? Ну, встречал, и беседовал, и чай, вот как с вами, пивал. А знать… ну нет! Заседателей вот или исправников, быть может по родственности духа, насквозь вижу, а этих понять не могу. Одно только знаю твердо: несдобровать этому Силину — не теперь, так после покончат с ним непременно.

— Почему вы думаете?

— Да как же иначе? Происшествие с вами уже не первое. Во всех подобных опасных случаях, когда ни один ямщик не решится везти, обращаются к этому молодцу, и он никогда не откажется.

И заметьте: никогда он не берет с собой никакого оружия. Правда, он всем импонирует. С тех пор как он уложил Безрукого, его сопровождает какое-то странное обаяние, и он сам, кажется, тоже ему поддается. Но ведь это иллюзия. Поговаривают уж тут разные ребятки: «Убивца, мол, хоть заговоренною пулей, а все же взять можно…» Кажется, упорство, с каким этот Константин производит по нем свои выстрелы, объясняется именно тем, что он запасся такими заговоренными пулями.

V. Искоренитель

Василий Иванович насторожил, среди разговора, свои привычные уши.

— Погодите-ка, — сказал он, — кажется, колокольчик… Должно быть, Проскуров.

И при этом имени Василия Ивановича, очевидно, вновь обуяла его смешливая веселость. Он быстро подбежал к окну.

— Ну, так и есть. Катит наш искоренитель. Посмотрите-ка, посмотрите: ведь это картина. Ха-ха-ха!.. Вот всегда этак ездит. Аккуратнейший мужчина!

Я подошел к окну. Звон колокольчика быстро приближался, но сначала мне видно было только облако пыли, выкатившееся как будто из лесу и бежавшее по дороге к стану. Но вот дорога, про-

легавшая под горой, круто свернула к станции, и в этом месте мы могли видеть ехавших — прямо и очень близко под нами.

Почтовая тройка быстро мчала легонькую таратайку. Из-под копыт разгорячившихся коней летел брызгами щебень и мелкая каменная пыль, но ямщик, наклонившись с облучка, еще погонял и покрикивал. За ямщиком виднелась фигура в форменной фуражке с кокардой и штатском пальто. Хотя на ухабистой дороге таратайку то и дело трясло и подкидывало самым жестоким образом, но господин с кокардой не обращал на это ни малейшего внимания. Он тоже перегнулся, стоя, через облучок и, по-видимому, тщательно следил за каждым движением каждой лошади, контролируя их и следя, чтобы ни одна не отставала. По временам он указывал ямщику, какую, по его мнению, следует подхлестнуть, иногда даже брал у него кнут и старательно, хоть и неумело, подхлестывал сам. От этого занятия, поглощавшего все его внимание, он изредка только отрывался, чтобы взглянуть на часы.

Василий Иванович все время, пока тройка неслась в гору, хохотал, как сумасшедший; но когда колокольчик, забившись отчаянно перед самым крыльцом, вдруг смолк, смотритель сидел

уже на кушетке и как ни в чем не бывало курил свою сигару.

Несколько секунд со двора слышно было только, как дышат усталые лошади. Но вдруг наша дверь отворилась, и в комнату вбежал новоприезжий. Это был господин лет тридцати пяти, небольшого роста, с несоразмерно большой головой. Широкое лицо, с выдававшимися несколько скулами, прямыми бровями, слегка вздернутым носом и тонко очерченными губами, было почти прямоугольно и дышало своеобразною энергией. Большие серые глаза смотрели в упор. Вообще физиономия Проскурова на первый взгляд поражала серьезностью выражения, но впечатление это, после нескольких мгновений, как-то стиралось. Аккуратные чиновничьи «котлетки», обрамлявшие гладко выбритые щеки, пробор на подбородке, какая-то странная торопливость движений тотчас же примешивали к первому впечатлению комизм, который только усиливался от контрастов, совмещавшихся в этой своеобразной фигуре.

Войдя в комнату, Проскуров сначала на мгновение остановился, потом быстро окинул ее взглядом и, увидев Василия Ивановича, тотчас же устремился к нему.

— Господин смотритель!.. Василий Иванович, голубчик… лошадей!.. Лошадей мне, милостивый государь, ради бога, поскорее!

Василий Иванович, развалясь на кушетке, хранил холодно-дипломатический вид.

— Не могу-с… Да вам, кажется, почтовых и не полагается, а земские нужны под заседателя — он скоро будет.

Проскуров сначала горестно изумился, потом вдруг вспыхнул.

— Что вы, что вы это? Ведь я прибыл раньше. Нет, позвольте-с… Во-первых, ошибаетесь и насчет почтовых: у меня на всякий случай подорожная… Но, кроме того, на законном основании…

Но Василий Иванович уже смеялся.

— А, черт возьми! Вечно вы с вашими шутками, а мне некогда! — досадливо сказал Проскуров, очевидно, не в первый раз попадавший в эту ловушку. — Скорее, бога ради, у меня тут дело!

— Знаю, убийство…

— Да вы почему знаете? — встревожился Проскуров.

— «Почему знаете!» — передразнил смотритель. — Да ведь заседатель-то уж там. От него слышал.

— Э, врете вы опять, — просиял Проскуров, — *они-то* еще и ухом не повели, а уж у моих, знаете ли, и виновный, то есть, собственно… правильнее сказать — подозреваемый, в руках. Это, батюшка, такое дельце выйдет… громчайшее!.. Вот вы посмотрите, как я их тут всех ковырну!

— Ну, уж вы-то ковырнете! Смотрите, не ковырнули бы вас.

Проскуров вдруг встрепенулся. Во дворе забрякали колокольцы.

— Василий Иванович, — заговорил он вдруг каким-то заискивающим тоном, — там, я слышу, запрягают. Это мне, что ли?

При этом он схватил смотрителя за руку и бросил тревожный взгляд в мою сторону.

— Ну, вам, вам… успокойтесь! Да что у вас там в самом-то деле?

— Убийство, батюшка! Опять убийство… Да еще какое! С явными признаками деятельности известной вам шайки. У меня тут нити. Если не ошибаюсь, тут несколько таких хвостиков прищемить можно… Ах, ради бога, поскорее!..

— Сейчас. Да где же это случилось?

— Все в этом же логу проклятом. Взорвать бы это место порохом, право! Ямщика убили…

— Что такое? Уж не ограбление ли почты?

— Э, нет, вольного.

— Убивца? — вскрикнул я, пораженный внезапною догадкой.

Проскуров обернулся ко мне и впился в мое лицо своими большими глазами.

— Д-действительно-с… убитого так звали. А позвольте спросить: почему это вас так интересует?

— Гм… — промычал Василий Иванович, и в глазах его забегали веселые огоньки. — Допросите-ка его, хорошенько допросите!

— Я встречался с ним ранее.

— Та-ак-с!.. — протянул Василий Иванович. — Встреча-лись… А не было ли у вас вражды или соперничества, не ожидали ли по покойном наследства?

— Да ну вас, с вашими шутками! Что за несносный человек! — досадливо отмахнулся опять Проскуров и обратился ко мне.

— Извините, милостивый государь, собственно, я вовсе не имел в виду привлекать вас к делу, но вы понимаете… интересы, так сказать…

— Правосудия и законности, — ввернул опять неисправимый смотритель.

— Одним словом, — продолжал Проскуров, бросив на Василия Ивановича подавляющий взгляд, — я хотел сказать, что внимание к инте-

ресам правосудия обязательно для всякого, так сказать, гражданина. И если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то… вы понимаете… одним словом, обязаны это сделать.

У меня мелькнуло вдруг смутное соображение.

— Не знаю, — ответил я, — насколько могут способствовать раскрытию дела те сведения, какие я могу доставить. Но я рад бы был, если б они оказались полезны.

— Превосходно! Подобная готовность делает вам честь, милостивый государь. Позвольте узнать, с кем имею удовольствие?..

Я назвался.

— Афанасий Иванович Проскуров, — отрекомендовался он в свою очередь. — Вы вот изъявили сейчас готовность содействовать правосудию. Так вот, видите ли, чтоб уж не делать дело вполовину, не согласитесь ли вы, милостивый государь… одним словом… ехать теперь же со мною?

Василий Иванович захохотал.

— Н-ну, уж это… я вам скажу… Это черт знает что такое! Да вы что, арестовать его, что ли, намерены?

Проскуров быстро и как будто сконфуженно схватил мою руку.

— Не думайте, пожалуйста, — заговорил он. —

Помилуйте, какие же основания?..

Я поспешил его успокоить, что мне вовсе не приходило в голову ничего подобного.

— Да и Василий Иванович, конечно, шутит, — добавил я.

— Я рад, что вы меня понимаете. Мне время дорого! Тут всего, знаете ли, два перегона. Дорогой вы мне сообщите, что вам известно. Да, кстати же, я без письмоводителя.

Я не имел причины отказаться.

— Напротив, — сказал я Проскурову, — я сам хотел просить вас взять меня с собою, так как меня лично крайне интересует это дело.

Передо мной, точно живой, встал образ убивца, с угрюмыми чертами, со страдальческою складкой между бровей, с затаенною думой в глазах. «Скликает воронья на мою головушку, проклятый!» — вспомнилось мне его тоскливое предчувствие. Сердце у меня сжалось. Теперь это воронье кружилось над его угасшими очами в темном логу, и прежде уже омрачившем его чистую жизнь своею зловещею тенью.

— Эге-ге! — закричал вдруг Василий Иванович, внимательно вглядываясь в окно. — Афанасий Иванович, не можете ли сказать, кто это едет вон там под самым лесом?

Проскуров только взглянул в окно и тотчас же кинулся к выходу.

— Поскорей, ради бога, — кинул он мне на ходу, хватая со стола фуражку.

Я тоже наскоро собрался и вышел. В ту же минуту к ступеням крыльца подкатила ретивая тройка.

Взглянув в сторону леса, я увидел вдали быстро приближавшуюся повозку. Седок привставал иногда и что-то делал над спиной ямщика; виднелись подымаемые и опускаемые руки. Косвенные лучи вечернего солнца переливались слабыми искорками в пуговицах и погонах.

Проскуров расплачивался с привезшим его ямщиком. Парень осклабился с довольным видом.

— Много довольны, ваше благородие…

— Сказал товарищу, вот ему? — ткнул Проскуров в нового ямщика.

— Знаем, — ответил тот.

— Ну, смотри, — сказал следователь, усаживаясь в повозку. — Приедешь в полтора часа — получишь рубль, а минутой — понимаешь? — одной только минутой позже…

Тут лошади подхватили с места, и Проскуров поперхнулся, не докончив начатой фразы.

VI. Евсеич

До Б. было верст двадцать. Проскуров сначала все посматривал на часы, сличая расстояние, и по временам тревожно озирался назад. Убедившись, что тройка мчится лихо и погони сзади не видно, он обратился ко мне:

— Ну-с, милостивый государь, что же, собственно, вам известно по этому делу?

Я рассказал о своем приключении в логу, о предчувствии ямщика, об угрозе, которую послал ему один из грабителей, как мне казалось — купец. Проскуров не проронил ни одного слова.

— Д-да, — сказал он, когда я кончил. — Все это будет иметь свое значение. Ну-с, а помните ли вы лица этих людей?

— Да, за исключением разве купца.

Проскуров бросил на меня взгляд, исполненный глубокой укоризны.

— Ах, боже мой! — воскликнул он, и в тоне его слышалась горечь разочарования. — Гм... Конечно, вы не виноваты, но его-то именно вам следовало заметить. Жаль, очень жаль... Ну, да все же он не избегнет правосудия.

Менее чем в полтора часа мы были уже на

стане. Распорядившись, чтобы поскорей запрягали, Проскуров приказал позвать к себе сотского.

Тотчас же явился мужичок небольшого роста, с жидкой бородкой и плутоватыми глазами. Выражение лица представляло характерную смесь добродушия и лукавства, но, в общем, впечатление от этой фигуры было приятное и располагало в пользу ее обладателя. Худой зипунишко и вообще рваная, убогая одежонка не обличали особенного достатка. Войдя в избу, он поклонился, потом выглянул за дверь, как бы желая убедиться, что никто не подслушивает, и затем подошел ближе. Казалось, в сообществе с Проскуровым он чувствовал себя не совсем ловко и даже как будто в опасности.

— Здравствуй, здравствуй, Евсеич, — сказал чиновник радушно. — Ну что? Птица-то у нас не улетела?

— Пошто улетит? — сказал Евсеич, переминаясь. — Сторожим тоже.

— Пробовал ты с ним заговаривать?.. Что говорит?

— Пробовал-то пробова-ал, да, вишь, он разговаривать-то не больно охоч. Перво я к нему было добром, а опосля, признаться, постращал-таки маленько! «Что, мол, такой-сякой, лежишь,

ровно статуй? Знаешь, мол, кто я по здешнему месту?» — «А кто?» — спрашивает. — «Да начальство, мол, вот кто… сотский!» — «Этаких, говорит, начальствов мы по морде бивали…» Что ты с ним поделаешь? Отчаянный!.. Известно, жиган!

— Ну, хорошо, хорошо! — перебил нетерпеливо Проскуров. — Сторожите хорошенько. Я скоро вернусь.

— Не убегет. Да ён, ваше благородие, — надо правду говорить — смирной… Кою пору все только лежит да в потолок смотрит. Дрыхнет ли, так ли отлеживается — шут его знает… Раз только и вставал-то: поесть бы, сказывает, охота. Покормил я его маленько, попросил он еще табачку на цигарку да опять и залег.

— Ну и отлично, братец. Я на тебя надеюсь. Если приедет фельдшер, посылай на место.

— Будьте благонадежны. А что я хотел спросить, ваше благородие…

Евсеич опять подошел к двери и выглянул в сени.

— Ну, что еще? — спросил Проскуров, направлявшийся было к выходу.

— Да, значит, теперича так мы мекаем, — начал Евсеич, политично переминаясь и искоса посматривая на меня, — теперича ежели мужикам

на *них* налегнуть, так в самую бы пору… Миром, значит, или бы сказать: скопом.

— Ну? — сказал Проскуров и нагнул голову, чтобы лучше вслушаться в бессвязное объяснение мужика.

— Да как же, ваше благородие, сами судите! Терпеть не можно стало; ведь беспокойство! Какую теперича силу взяли, и все нипочем… Теперича хоть бы самый этот жиган… Он что такое? Можно сказать — купленый человек; больше ничего, что за деньги… Не он, так другой…

— Справедливо, — поощрил Проскуров, очевидно, сильно заинтересованный. — Ну, продолжай, братец. Ты, я вижу, мужик с головой. Что же дальше?

— Ну, больше ничего, что ежели теперича мужики видели бы себе подмогу… мы бы, может, супротив *их* осмелились… Мало ли теперича за ними качеств? Мир — великое дело.

— Что ж, помогите вы правосудию, и правосудие вам поможет, — сказал Проскуров не без важности.

— Известно, — произнес Евсеич задумчиво. — Ну, только опять так мы, значит, промежду себя мекаем: ежели, мол, теперича вам, ваше благородие, супротив начальников не выстоять будет,

тут мы должны вовсе пропасть и с ребятами. Потому — ихняя сила…

Проскуров вздрогнул, точно по нем пробежала электрическая искра, и, быстро схватив фуражку, выбежал вон. Я последовал за ним, оставив Евсеича в той же недоумевающей позе. Он разводил руками и что-то бормотал про себя.

А Проскуров садился в повозку в полном негодовании.

— Вот так всегда! — говорил он. — Все компромиссы, всюду компромиссы… Обеспечь им успех, тогда они согласны оказать поддержку правосудию… Что вы на это скажете? Ведь это… это-с — разврат, наконец… Отсутствие сознания долга.

— Если уж вы обратились ко мне с этим вопросом, — сказал я, — то я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, они вправе требовать от «власти» гарантии успеха правого дела *на легальном пути.* Иначе в чем же состоит самая идея власти?.. Не думаете ли вы, что раз миру воспрещен самосуд, то тем самым взяты известные обязательства? И если они не исполняются, то…

Проскуров живо повернулся в мою сторону и, по-видимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался.

Мы отъехали верст шесть, и до лога оставалось

не более трех, когда сзади послышался колокольчик.

— Ага! — сказал Проскуров. — Едет без перепряжки. Ну, да тем лучше: не успеет повидаться с арестованным. Я так и думал.

VII. Заседатель

Солнце задело багряным краем за черту горизонта, когда мы подъехали к логу. Свету было еще достаточно, хотя в логу залегали уже густые вечерние мороки. Было прохладно и тихо. Камень молчаливо стоял над туманами, и над ним подымался полный, хотя еще бледный, месяц. Черная тайга, точно заклятая, дремала недвижимо, не шелохнув ни одною веткой. Тишина нарушалась только звоном колокольчиков, который гулко носился в воздухе, отдаваемый эхом ущелья. Сзади слышался такой же звон, только послабее.

У кустов курился дымок. Караульные крестьяне сидели вокруг костра в угрюмом молчании. Увидев нас, они встали и сняли шапки. В сторонке, под холщовым покрывалом, лежало мертвое тело.

— Здравствуйте, братцы! — сказал следователь тихо.

— Здорово, ваше благородие! — отвечали крестьяне.

— Ничего не трогали с места?

— Ничего, будто… *Его* маленечко обрядили: не хорошо, значит… Скотину не тронули.

— Какую скотину?

— Да ведь как же: пегашку-то пристрелили же варвары… На вершной покойник-то возвращался.

Действительно, в саженях тридцати, у дороги, виднелась убитая лошадь.

Проскуров занялся осмотром местности, пригласив с собою и караульных. Я подошел к покойнику и поднял полог с лица.

Мертвенно-бледные черты были спокойны. Потускневшие глаза смотрели вверх, на вечернее небо, и на лице виднелось то особенное выражение недоумения и как будто вопроса, которое смерть оставляет иногда как последнее движение улетающей жизни… Лицо было чисто, не запятнано кровью.

Через четверть часа Проскуров с крестьянами прошел мимо меня, направляясь к перекрестку. Навстречу им подъезжала задняя повозка.

Из нее вышел немолодой мужчина в полицейской форме и молодой штатский господин, оказавшийся фельдшером.

Заседатель, видимо, сильно устал. Его широкая грудь работала, как кузнечные мехи, и все тучное тело ходило ходуном под короткою форменною шинелью довольно изящного покроя. Щеки тоже

вздувались и опадали, причем нафабренные большие усы то подымались концами и становились перпендикулярно, то опять припадали к ушам. Большие, сероватые с проседью и курчавые волосы были покрыты пылью.

— У-уф, — заговорил он, пыхтя и отдуваясь. — За вами, Афанасий Иванович, не поспеешь. Здравствуйте!

— Мое почтение, — ответил Проскуров холодно. — И напрасно изволили торопиться. Я мог бы и обождать.

— Нет, зачем же-с?.. У-уф!.. Служба прежде всего-с… Не люблю, знаете ли, когда меня дожидаются. Не в моих правилах-с.

Заседатель говорил сиплым армейским басом, при звуках которого невольно вспоминается запах рому и жуковского табаку. Глаза его, маленькие, полинявшие, но все еще довольно живые и бойкие, бегали между тем по сторонам, тревожно исследуя обстановку. Они остановились на мне.

— Это мой знакомый, — отрекомендовал меня Проскуров, — господин NN, временно исполняющий обязанности моего письмоводителя.

— Имел удовольствие слышать-с. Очень приятно-с. Отставной штабс-капитан Безрылов.

Безрылов поднес руку к козырьку и молодцевато щелкнул шпорами.

— Отлично-с. Теперь мы можем приступить к исследованию. Отделаем по-военному, живо, пока еще засветло. Эй, понятые, сюда!..

Караульные крестьяне приблизились к начальству и все вместе двинулись к мертвому телу. Первым подошел очень развязно Безрылов и сразу отдернул весь полог.

Мы все отшатнулись при виде открывшейся при этом картины. Вся грудь убитого представляла одну зияющую рану, прорезанную и истыканную в разных направлениях. Невольный ужас охватывал душу при виде этих следов исступленного зверства. Каждая рана была бы смертельна, но было очевидно, что большинство из них нанесены мертвому.

Даже господин Безрылов потерял всю свою развязность. Он стоял неподвижно, держа в руке конец полога. Его щеки побагровели, а концы усов угрожающе торчали, как два копья.

— Ррак-ка-льи! — произнес он наконец и как-то глубоко вздохнул.

Быть может, в этом вздохе сказалось сожаление о том, что для господина Безрылова нет уже возврата с пути укрывательства и потачек.

Он тихо закрыл полог и обратился к Проскурову, который между тем уставился на него своими упорными глазами.

— Пожалуйста, — попросил заседатель, опуская глаза, — опишем при вскрытии, завтра… Теперь исследуем обстановку и перенесем тело в Б.

— А там произведем допрос арестованному по этому делу, — сказал Проскуров жестко.

Глаза Безрылова забегали, как два затравленные зверька.

— Арестованному? — переспросил он. — У вас есть уже и арестованный?.. Как же мне… как же я ничего не знал об этом?

Он был жалок, но тотчас же попытался оправиться. Кинув быстрый, враждебный взгляд на крестьян и на своего ямщика, он обратился опять к Проскурову:

— Вот и отлично-с. У вас дело кипит в руках… зам-мечательно…

VIII. Иван тридцати восьми лет

Около полуночи, отдохнув несколько и напившись чаю, чиновники приступили к следствию.

В довольно просторной комнате, за столом, уставленным письменными принадлежностями, поместился посередине Проскуров. Его несколько комичная подвижность исчезла; он стал серьезен и важен. Справа уселся Безрылов, успевший совершенно оправиться и вновь приобретший свою армейскую развязность. Во время короткого роздыха он умылся, нафабрил усы и взбил свои седоватые кудри. Вообще, Безрылов стал бодр и великолепен. Похлебывая густой чай из стоявшего перед ним стакана, он посматривал на следователя с снисходительною улыбкой. Я уселся на другом конце стола.

— Прикажите ввести арестованного, — сказал Проскуров, подымая глаза от листа бумаги, на котором он быстро писал форму допроса.

Безрылов кивнул только головой, и Евсеич бросился вон из избы.

Через минуту входная дверь отворилась, и в ней резко обрисовалась высокая фигура того самого мужчины, которого я видел с Ко`стюшкой

на перевозе задумчиво следящим за облаками.

Входя в комнату, он слегка запнулся за порог, оглядел то место, за которое задел, потом вышел на середину и остановился. Его походка была ровна и спокойна. Широкое лицо, с грубоватыми, но довольно правильными чертами, выражало полное равнодушие. Голубые глаза были несколько тусклы и неопределенно смотрели вперед, как будто не видя ближайших предметов. Волосы подстрижены в скобку. На новой ситцевой рубахе виднелись следы крови.

Проскуров передал мне «форму» и, подвинув перо и чернильницу, приступил к обычному опросу.

— Как зовут?

— Иван тридцати восьми лет.

— Где имеете место жительства?

— Без приюту… в бродяжестве…

— Скажите, Иван тридцати восьми лет, вами ли совершено сего числа убийство ямщика Федора Михайлова?

— Так точно, ваше благородие, моя работа… Что уж, видимое дело…

— Молодец! — одобрил бродягу Безрылов.

— Что ж, ваше благородие, зачем чинить напрасную проволочку?.. Не отопрешься.

— А по чьему научению или подговору? — продолжал следователь, когда первые ответы были записаны. — И откуда у вас те пятьдесят рублей тридцать две копейки, которые найдены при обыске?

Бродяга вскинул на него своими задумчивыми глазами.

— Ну, уж это, — ответил он, — ты, ваше благородие, лучше оставь! Ты свое дело знаешь — ну, и я свое тоже знаю… Сам по себе работал, больше ничего… Я, да темная ночка, да тайга-матушка — сам-третей!..

Безрылов крякнул и с наслаждением отхлебнул сразу полстакана, кидая на Проскурова насмешливый взгляд. Затем он опять уставился на бродягу, видимо любуясь его образцовою тюремною выправкой, как любуется служака-офицер на бравого солдата.

Проскуров оставался спокоен. Видно было, что он и не особенно рассчитывал на откровенность бродяги.

— Ну, а не желаете ли сказать, — продолжал он свой допрос, — почему вы так зверски изрезали убитого вами Федора Михайлова? Вы имели против покойного личную вражду или ненависть?

Допрашиваемый смотрел на следователя с

недоумением.

— Пырнул я его ножиком раз и другой… Более, кажись, не было… Свалился он…

— Десятник, — обратился Проскуров к крестьянину, — возьмите свечу и посветите арестанту. А вы взгляните в ту комнату.

Бродяга все тою же ровною походкой подошел к двери и остановился. Крестьянин, взяв со стола одну свечу, вошел в соседнюю горницу.

Вдруг жиган вздрогнул и отшатнулся. Потом, взглянув с видимым усилием еще раз в том же направлении, он отошел к противоположной стене. Мы все следили за ним в сильнейшем волнении, которое как будто передавалось нам от этой мощной, но теперь сломленной и подавленной фигуры.

Он был бледен. Некоторое время он стоял, опустив голову и опершись плечом о стену. Потом он поднял голову и посмотрел на нас смутным и недоумевающим взглядом.

— Ваше благородие… хрестьяне православные, — заговорил он умоляющим тоном, — не делал я этого. Верьте совести — не делал!.. Со страху нешто, не помню… Да нет, не может этого быть…

Вдруг он оживился. Глаза его в первый раз

сверкнули.

— Ваше благородие, — заговорил он решительно, подходя к столу, — пишите: Ко`стюшка это сделал — Костинкин — рваная ноздря!.. Он, беспременно он, подлец!.. Никто, как он, человека этак испакостил. Его дело… Все одно: товарищ, не товарищ — знать не хочу!.. Пишите, ваше благородие!..

При этой неожиданной вспышке откровенности Проскуров быстро выхватил у меня перо и бумагу и приготовился записывать сам. Бродяга тяжело и как будто с усилием стал развертывать перед нами мрачную драму.

Он бежал из N-ского острога, где содержался за бродяжество, и некоторое время слонялся без дела, пока судьба не столкнула его в одном заведении с Ко`стюшкой и его товарищами. Тут в первый раз услышал он разговор про покойного Михалыча: «Убивец, мол, такой человек, его ничем не возьмешь: ни ножом, ни пулей, потому заколдован». — «Пустое дело, господа, — я говорю, — не может этого быть. Всякого человека железом возьмешь». — «А вы, спрашивают, кто такие будете, какого роду-племени?» — «А это, говорю, дело мое. Острог — мне батюшка, а тайга — моя матушка. Тут и род, тут и племя, а

что не люблю слушать, когда, например, пустяки этакие говорят… вот что!» Ну, слово за слово, разговорились, приняли они меня в компанию свою, полуштоф поставили, потом Костинкин и говорит: «Ежели вы, говорит, человек благонадежный, то не желаете ли с нами на *фарт*[3] идти?» — «Пойду», — говорю. «Ладно, мол, нам человек нужен. Днем ли, ночью ли, а уж в логу беспременно дело сделать надо, потому что капиталы повезет тут господин из города большие. Только смотри, говорит, не хвастаешь ли? Ежели с другим ямщиком господин этот поедет, сделаем дело, раздуваним честь честью… Ну, а ежели убивец опять повезет, — мотри, убегешь». «Не будет этого, говорю, чтоб я убег». — «Ну, ладно, мол, ежели имеешь в себе такой дух, то будешь счастливый человек — за убивца можешь себе награду получить большую!..»

— Награду? — переспросил Проскуров. — От кого же?

— Ты вот что, господин, — сказал бродяга, — ты слушай меня, пока я говорю, а спрашивать будешь после… Ну, признаться сказать, на первый-то раз убег я, испужался. Главная причина — товарищи

---

[3] Примечания: 3

Фарт по-сибирски — удача, дело, обещающее выгоду.

выдали. Идет на нас Михалыч, стыдно сказать, с кнутиком, а Костинкин с ружьем в первую голову убежал. Ну, подался и я, сробел… Да он же, подлец, потом первый на смех меня поднял. Язвительный он, Костинкин то есть. «Ладно, говорю, идем опять. Да смотри, Костюша, убегешь ежели — сам жив от меня не останешься!» Три дня мы в логу этом прожили — все его дожидались. На третий день приехал он под вечер: значит, ночью ему назад ворочаться. Изготовились мы; слышим: едет тихонько на вершной. Выпалил Костинкин из ружья, пегашку свалил. Михалыч кинулся в кусты, как раз на меня… прямо… Стукнуло у меня сердце-то, признаться, да вижу — все одно, мол: либо он, либо я!.. Изловчился, хвать его ножиком, да плохо. Схватил он меня за руку, нож вырвал, самого — обземь. Силен был покойник. Подмял; гляжу — пояс снимает, хочет вязать. А у меня за голенищем другой ножик в запасе. Добыл я его тихонько, повернулся да опять его… под ребро… Состонал он, повернул меня лицом кверху, наклонился, посмотрел в глаза… «А! — говорит. — Чуяло мое сердце!.. Ну, теперь ступай с богом, не тирань. Убил ты меня до смерти…» Встал я, гляжу: мается он… хотел было подняться — не смог. «Прости меня», — говорю. «Ступай, — отвечает, — ступай

себе… Бог простит ли, а я прощаю…» Я ушел и не подходил более, поверьте совести… Костинкин это, видно, после меня на него набросился…

Бродяга смолк и тяжело опустился на лавку. Проскуров быстро дописал. Было тихо.

— Теперь, — заговорил опять следователь, — докончите ваше чистосердечное признание. Какой купец был с вами во время первого нападения и от чьего имени Ко`стюшка обещал награду за убийство Федора Михайлова?

Безрылов разочарованно смотрел на ослабевшего бродягу. Но тот вдруг поднялся со скамьи и принял прежний равнодушно-рассеянный вид.

— Будет! — сказал он твердо. — Боле не стану… Довольно!.. Про Костюшку-то все записали?.. Ну и ладно, вперед не пакости он! Прикажите, ваше благородие, увести меня, более ничего не скажу.

— Послушайте, Иван тридцати восьми лет, — сказал следователь, — считаю нужным предупредить вас, что чем полнее будет ваше сознание, тем мягче отнесется к вам правосудие. Сообщников же ваших вы все равно не спасете.

Бродяга пожал плечами.

— Это дело не наше. Мне все единственно.

Очевидно, не было надежды добиться от него чего-либо еще. Его вывели.

IX. Ход

Предстоит допрос свидетелей.

Они столпились кучкой у задней стены. Серая толпа с угрюмыми лицами стояла, переминаясь, в тяжелом молчании. Впереди всех был Евсеич. Лицо его было красно, губы сжаты, лоб наморщен. Он кидал исподлобья довольно мрачные взгляды, останавливая их то на Безрылове, то на следователе. По всему было видно, что в этой толпе и в Евсеиче, ее представителе, созрело какое-то решение.

Безрылов сидел на лавке, расставив широко ноги и пощелкивая пальцем одной руки по другой. Пока крестьяне входили и занимали места, он смотрел на них внимательно и вдумчиво. Потом, окинув всю толпу холодным, презрительным взглядом, он слегка, почти незаметно, покачал головой и, усмехнувшись, обратился к Проскурову:

— Кстати, Афанасий Иванович, я ведь и забыл поздравить вас с приятною новостью… Уж извините… Все эти хлопоты… Просто из ума вон…

— С чем это? — спросил Проскуров, не отрываясь от чтения протокола.

— Как? — просиял Безрылов. — Значит, вам

ничего не известно, и я, некоторым образом, первый буду иметь удовольствие сообщить вам это приятное известие? Очень, оч-чень приятно-с…

Проскуров поднял глаза на заседателя, который, между тем, подходил к нему, брякая шпорами и обворожительно улыбаясь.

— Вы получаете назначение исправляющим должность казначея в N-ск… Ну, да это, конечно, одна форма; без сомнения, вы будете утверждены окончательно. Поздравляю, голубчик, — продолжал Безрылов самым задушевным и благожелательным тоном, завладевая рукой удивленного Проскурова, — поздравляю от всего сердца.

Но Проскуров плохо оценил дружеское поздравление; он быстро отдернул руку и вскочил с места.

— По… позвольте-с, милостивый государь, — заговорил он торопливо и даже заикаясь. — Здесь шутить не место. Н-не место-с!.. Думаете, я не понимаю вашей тактики? Ошибаетесь, милостивый государь. Я не теленок… да-с, милостивый государь, не теленок-с!..

— Что вы, бог с вами, Афанасий Иванович! — изумился Безрылов и даже развел руками и оглянулся, как будто призывая всех присутствующих в свидетели черной неблагодарности

Проскурова. — Смею ли я шутить?.. Официальное назначение… сам читал бумагу-с… Уверяю вас… Ну и местечко, я вам скажу! — продолжал он, изменив тон и вновь впадая в дружескую фамильярность. — Теперь уж вам не придется возиться с этими неприятными делами. Даже и настоящее дело нам, несчастным, придется, вероятно, кончать без вашего незаменимого содействия… Жаль, конечно!.. Зато за вас… приятно-с! Место тихое, спокойное… ха-ха-ха!.. Как раз… ха-ха-ха!.. по вашему нраву… И притом… от купечества… ха-ха-ха-ха-ха!.. благодарность…

Безрылов как будто перестал стесняться, и его смех, от которого сотрясалась вся его тучная фигура, становился даже неприличен… А Проскуров стоял перед ним точно окаменелый, держась за стол обеими руками. Его лицо сразу как-то осунулось и пожелтело, и на нем застыло выражение горестного изумления. В эту минуту — увы! — он действительно напоминал… теленка.

Я посмотрел на крестьян. Все они как-то подались головами вперед, только Евсеич стоял, низко нагнув голову, по своему обычаю, и слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

Дальнейший допрос не представлял уже в моих глазах ни малейшего интереса. Я вышел в

переднюю…

Там, в углу на лавке, сидел жиган. Несколько крестьян-караульных стояли в сторонке. Я подошел к арестованному и сел рядом. Он посмотрел на меня и подвинулся.

— Скажите мне, — спросил я у него, — неужели у вас действительно не было никакой вражды к покойному Михайлову?

Бродяга вскинул на меня своими спокойными голубыми глазами.

— Чего? — переспросил он. — Какая может быть вражда? Нет, не видывал я его ранее.

— Так из-за чего же вы убили? Ведь уж наверное не из-за тех пятидесяти рублей, что при вас найдены?

— Конечно, — произнес он задумчиво. — Нам, при нашей жизни, вдесятеро столько — и то на неделю хватит, а так, что значит… может ли быть, например, эдакое дело, чтобы вдруг человека железом не взять…

— Неужто из любопытства стоило убивать другого, да и себе жизнь портить?

Бродяга посмотрел на меня с каким-то удивлением.

— Жизнь, говоришь?.. Себе то есть?.. Какая может быть моя жизнь? Вот нынче я Михалыча

прикончил, а доведись иначе, может, он бы меня уложил…

— Ну нет, он не убил бы.

— Твоя правда: мог он убить меня — сам жив бы остался.

— Тебе его жалко?

Бродяга посмотрел на меня, и взгляд его сверкнул враждой.

— Уйди ты! Что тебе надо? — сказал он и потом прибавил, понурив голову: — Такая уж моя линия!..

— Какая?

— А вот такая же… Потому как мы с измалетства на тюремном положении…

— А бога ты не боишься?

— Бога-то? — усмехнулся бродяга и тряхнул головой. — Давненько что-то я с ним, с богом-то, не считался… А надо бы! Может, еще за ним сколько-нибудь моего замоленого осталось… Вот что, господин, — сказал он, переменив тон, — ничего этого нам не требуется. Что ты пристал? Говорю тебе: линия такая. Вот теперь я с тобой беседую как следует быть, аккуратно. А доведись, в тайге-матушке или хоть тот раз, в логу, — тут опять разговор был бы иного роду… Потому — линия другая… Эхма!

Он опять встряхнул своими русыми волосами.

— Нет ли, господин, табачку покурить? Страсть курить охота! — заговорил он вдруг как-то развязно; но мне эта развязность показалась фальшивой.

Я дал ему папиросу и вышел на крыльцо. Из-за лесу подымалось уже солнце. С Камня над логом снимались ночные туманы и плыли на запад, задевая за верхушки елей и кедров. На траве сверкала роса, а в ближайшее окно виднелись желтые огоньки восковых свечей, поставленных в изголовье мертвого тела.

1882

В дурном обществе
Из детских воспоминаний моего приятеля

I. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, — никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-Городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-Западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелкосуетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционною

заставой. Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов, казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды

год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы, один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчи`ще», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса — так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. «Ой-вей-мир!»[4] — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Старый, седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча

---

[4] Примечания: 4
О горе мне! *(евр.) — Ред.*

копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки[5], пся вяра!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у под-

---

[5] Примечания: 5
Бездельники *(пол.). — Ред.*

ножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного замка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но замок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и замок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески

вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колеи существование, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, — все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сирот-

ливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались, — вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлищ. Овцы, оставшиеся по-прежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда наконец при молчаливом, но тем не менее довольно существенном содействии будочника порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только «добрых христиан», то

есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках, с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над

высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшенною старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с ка-

ким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и замок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже

были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозовые ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого замка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. Проблематические натуры

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла

своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого замка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры,

которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой, они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка — город их не признавал, да они и не просили признания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала ули-

ца, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого Профессора. Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшею кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, по-видимому без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. Профессор вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из «факторов», которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. Профессор покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При

этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но само по себе это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно в самый разгар непонятной элоквенции, слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым «факторам», лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга Профессор только озирался с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце… за сердце крючком!.. за самое

сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный Профессор торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из замка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую Профессора, налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого Профессора, долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он

практиковал еврейские погромы задолго до их возникновения в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока наконец экспедиция бравого штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечения зрелищем своего несчастия и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе как пан писарь, когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывал шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский

остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; немудрено поэтому, что,

когда Лавровский потупясь проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и каменьями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подскакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить

собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался наконец произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его стонах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями, — маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали

по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

— Уб-бью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз осенью даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и главным образом заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как Профессор и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто

не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

— Кто я по здешнему месту? а?

— Генерал Туркевич! — смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и остротах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей ресторации, в которой собирались за бильярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстро-

той человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия — ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; Генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтоб оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если по какой-либо причине дня три Генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный Генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос,

и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения… С Генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

— Иду!.. Как пророк Иеремия… Иду обличать нечестивых!

Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей

новоявленного пророка, или хоть издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и ответчиков; он сам говорил за них речи и сам же отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то немудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив даяние, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам «подсудков», видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектакльную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза исступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и

представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую благодарность. Подойдя к исправницкому дому, выходившему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытою, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными как смоль волосами, а Матрена тихонько задами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку

именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает зачем-то нужным красить свои почтенные седины сапожного ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, Генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с замечательною ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове,

вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты — и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута — черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и Генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките ура и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресурсов со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи главным образом на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи; а так как почти все эти темные личности, так или иначе, отбились от обычных способов ее добывания и были

оттерты счастливцами из замка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит… самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутуловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий

лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая проницательность, энергия и недюжинный ум. В то время, как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, это — звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение: как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в назидание собиравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта.

Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи… И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «Patres conscripti»[6] — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды — усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, закатив глаза и поводя одними белками, донимал аудиторию

---

[6] Примечания: 6
Отцы-сенаторы *(лат.). — Ред.*

продолжительною скандовкой Виргилия или Гомера. Его голос звучал тогда такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные, подстриженные спереди чуприны и начинали всхлипывать:

— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда оратор внезапно соскакивал с бочки и разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов,

собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары трехвостной «дисциплины» святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны в числе других профессий ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские «закруты», то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий пугач[7] прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо… даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка.

---

[7] Примечания: 7
Филин.

Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская «сваволя» (своеволие) и правили кровавую расправу удальцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял Профессор, шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же

Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда уходили под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

III. Я и мой отец

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек, — вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же со-

рванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лото`ки» и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но чрез несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, — просыпался с улыбкой счастия, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое,

больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил *ее,* когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен,* но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочув-

ствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такою же любовью; но установившийся взгляд на меня как на отпетого маленького разбойника воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она

всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем навстречу этому неведомому и таинственному во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблонь в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выно-

сил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни… Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много такого, что не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.

Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на

гору, пользовавшуюся дурною славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблонь из нашего сада.

IV. Я приобретаю новое знакомство

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся истлевшим углом, в другом — скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в

окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого, — сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит, — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землею; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошел ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Престол, — сказал он, вглядевшись в странный предмет на полу.

— И паникадило.

— Столик для Евангелия.

— А вон там что такое? — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай, привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вы-

летели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдешь? — спросил он тихо.

— Подойду, — ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в пролете, и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он

вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — послышался опять шепот.

— А вот погоди, — ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже поло-

жил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так, — ответил я. — Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперед.

— Ну, ударь… попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам… тоже… — сказал я, но уж более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему,

поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твое имя? — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валек… Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие… не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится, — сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад, — ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания, — сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно. — Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит, — сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послушай… Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдет с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся

к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь… — с грустью произнес Валек.

— Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома.

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей

по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придешь к нам опять?

— Приду, — ответил я, — непременно!..

— Что ж, — сказал в раздумьи Валек, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши… все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор… тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка, — крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу, — ответил я твердо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг, — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. — Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь… А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что же там было?

— Что, — ответил я тоном, не допускавшим сомнения, — разумеется, черти… А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

V. Знакомство продолжается

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительною целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех

нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький

серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого, — говорили обо мне старшие, — руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой каплицы повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

— Вот, видишь, — сказал Валек, — она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а, — повторила девочка, точно слабое эхо, — это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из нее жизнь, — пояснил Валек, по-прежнему смотря на небо. — Так говорит Тыбурций… Тыбурций хорошо знает.

— Да-а, — опять повторила тихим эхо девочка, — Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте

и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, — хотя я и не понимал их значения, — заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей

дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой каплицы, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец, — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит, — сказал он уже гораздо увереннее. — Он постоянно обо мне заботится, и знаешь, иногда он целует меня и плачет…

— И меня любит и тоже плачет, — прибавила

Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит, — сказал я грустно. — Он никогда не целовал меня… Он нехороший.

— Неправда, неправда, — возразил Валек, — ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих…

— Что из-за них?

— Город из-за них еще не провалился, — так говорит Тыбурций, — потому что они еще за бедных людей заступаются… А твой отец, знаешь… он засудил даже одного графа…

— Да, это правда… Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валек, несколько озадаченный… — Потому что граф — не простой человек… Граф делает что хочет, и ездит в карете, и потом… у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это было правда: Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает»; но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

VI. Среди серых камней

Прошло еще несколько дней. Члены дурного общества перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только Профессор прошел раза два своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенною головою по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся… Ваших не видно в городе.

— А-а… Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи… А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет… Я, брат, сейчас побегу, — заторопился я, — даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня

странным взглядом.

— Ничего, ничего, — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. — Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда — дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дождаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница

была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего… Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под зеленью. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому коридору, и, круто повернув

вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый Профессор, склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся.

Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о сером камне, высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит свою жертву.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес Профессору. Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего

занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдем… уйдем отсюда, — дернул я Валека. — Уведи ее…

— Пойдем, Маруся, наверх, — позвал Валек сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валек. — Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа врастяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо, — проговорил я затем в грустном раздумьи.

— Наши все ушли… Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за паривším в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же, — спросил я с усилием, — почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?..

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я… у своего отца.

— Это еще хуже! — с уверенностью сказал Валек. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы… Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз, — где же запастись на всех нищих?

— А вы разве… нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уж уходишь? — спросил Валек.

— Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась… Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

VII. На сцену является пан Тыбурций

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь более, — так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я… я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну, что? Где же ваши? — спросил я. — Все еще не вернулись?

— Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом,

подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки, — предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

— Это что еще, а? — строго спрашивал он, глядя

на Валека. — Вы тут, я вижу, весело проводите время… Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

— Responde, ответствуй! — грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза… Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! — и при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться… Ну, да

ты меня еще не знаешь. Ego — Тыбурций sum[8]. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более что отчаянная фигура Валека как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. — Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию

---

[8] Примечания: 8
Я есмь Тыбурций *(лат.). — Ред.*

некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Bene, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья… А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей — не теперь, так после… Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он — нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит — ну, и ты когда-нибудь будешь судить… вот его!

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Неправда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, amice!..[9] Эта история ведется исстари, всякому свое, suum cuique; каждый идет своей дорожкой, и кто знает… может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, amice, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня, — понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то как будто проникавшее в мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец… Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция: если когда-нибудь придется тебе судить вот его,

---

[9] Примечания: 9
Друг *(лат.). — Ред.*

то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, — что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом… Впрочем, пока еще это случится, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому… я… Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю… sub conditionem…[10] Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, — да разведи огонь. Мы будем сегодня

---

[10] Примечания: 10
Под условием *(лат.). — Ред.*

варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не гаер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая униатская каплица.

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступиться, и Валек один умелыми руками принялся за

стряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трехногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами, — ты заработал свой обед… Domine preceptor![11] — крикнул он затем, обращаясь к Профессору. — Брось иголку, садись к столу.

— Сейчас, — сказал тихим голосом Профессор, удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземельи стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к Профессору

---

[11] Примечания: 11
Господин наставник *(лат.). — Ред.*

со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием.

— Вот, domine, как немного нужно человеку, — говорил Тыбурций. — Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана…

— Ага, ага! — поддакивал Профессор.

— Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский капеллан, — я ведь тебя знаю… А между тем, не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего…

— Это вам дал клеванский ксендз? — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского «пробоща», бывавшего у отца.

— У этого малого, domine, любознательный ум, — продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к Профессору. — Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия… Кушай,

domine, кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли… сами?

— Малый не лишен проницательности, — продолжал опять Тыбурций по-прежнему, — жаль только, что он не видел капеллана: у капеллана брюхо как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним… Так ли я говорю, domine?

— Ага, ага! — задумчиво промычал опять Профессор.

— Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых… Возвращаясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты… Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты все-таки еще

глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что воровать нехорошо. Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие… воры… у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса — сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула «нехорошо воровать» осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он, по обыкновению, угрюмо ходил взад

и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда это?

— Я… гулял…

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

— А, все равно… *Ее* уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с дурным обществом, но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе — я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде принципа: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

VIII. Осенью

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

— Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом, — говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только Профессор по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье. Остальные члены дурного

общества жили в таком же подземелье побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди дурного общества и сапожник, и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы,

или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожители-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях как балаганное представление — здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало

детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность — это великие источники идеализма!

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против

камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен — я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей

в последний раз перед наступлением зимы засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго…

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову… Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать… Молчать! Это уж мое дело… Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона… Однако знаешь ли ты, что такое curriculum vitae?[12] Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: curriculum vitae — это есть

---

[12] Примечания: 12
Краткое жизнеописание *(лат.). — Ред.*

формулярный список человека, не служившего в уездном суде… И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то… ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы!..

— Разве он… злой? — спросил я, вспомнив отзыв Валека.

— Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце; он знает много… Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге… Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук… Понимаешь ты, малый?.. И за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона

все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться… Вся беда моя в том, что у меня с законом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспиция… то есть, понимаешь, неожиданная ссора… ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство…

«Вот он какой, — думалось мне, — но все же он меня не любит».

IX. Кукла

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, ка-

залось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своею новою знакомой… Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собою свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще большим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался

придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В

окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

— Да, — ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

— Нет, — сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз,

глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или… ненависть.

— Ну, что ж ты?.. Говори! — И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу, — ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу, — прошептал я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

— Нет, не скажу… никогда, никогда не скажу вам… Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди навстречу его угрозам подымалось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще бо-

лее, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и исступленных руках. Что он со мной сделает? Швырнет… изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого… Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди защекотало что-то вроде задорного, дерзкого вызова… Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась. Если так… пусть… тем лучше, — да, тем лучше… тем лучше…

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох — тяжелый, прерывистый, долгий… Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему

неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. Мой бедный маленький друг…

«Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень

затруднительном положении…

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко. — Вы человек справедливый… отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика, — повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать… Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями,

переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел — то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнородные чувства: гнев и любовь — так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью…

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

— Приходи к нам, — сказал он, — отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она… она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал

глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд… И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл… Соня сама дала мне на время…

— Д-да, — ответил он задумчиво, — я знаю… Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да… Ступай, ступай, мальчик, попрощайся… — ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой… пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это… Тыбурцию… Скажи, что я покорнейше прошу его — понимаешь?.. покорнейше прошу — взять эти деньги… от тебя… Ты понял?.. Да еще скажи, — добавил отец, как будто колеблясь, — скажи, что если он знает одного тут… Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города… Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит… отец… — И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще

полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

Профессор стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя с помощью нескольких темных личностей гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

Заключение

Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Остались только Профессор, по-прежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими Профессора напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отправились куда-то искать счастья. Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела

цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

1885

Слепой музыкант
Этюд

От автора

К шестому изданию[13]

Чувствую, что пересмотр и дополнения в повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому очень основательное, по мнению возражающих; этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу как априорный, подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя после того, как

---

[13] Примечания: 13

1 В этом издании были сделаны значительные дополнения.

мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах — все это я занес в свою записную книжку прямо с натуры, на вышке колокольни Саровского монастыря Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод — по моему мнению, решающий в указанном вопросе — лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как — раз тронув прежнюю тему — я уже не мог ограничиться механической вставкой, и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести.

25 февраля 1898 г.

Глава первая

I

Ребенок родился в богатой семье Юго-Западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытьи, но когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими еще чертами, появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

— Отчего… отчего это он? — спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

— Отчего, отчего? — по-прежнему тихо шептали ее губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно

ответила:

— Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

— Отчего… так… так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытьи и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движением или словами, выдавливало из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам.

Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, что это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самих окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

— Скажите же мне, отчего он такой?

— Какой? — равнодушно переспрашивали посторонние. — Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

— Посмотрите, как странно ищет он что-то руками…

— Дитя не может еще координировать движе-

ний рук с зрительными впечатлениями, — ответил доктор.

— Отчего же он смотрит все в одном направлении?.. Он… он слеп? — вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и наконец сказал с смущенным видом:

— К сожалению, сударыня, вы не ошиблись… Мальчик действительно слеп, и притом безнадежно…

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

— Я знала давно, — сказала она тихо.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и дяди Максима, как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-Западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» — после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях

его имения, но даже в Киеве на Контрактах[14]. Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смирный из шляхтичей непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику — Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую душу, зато Контракты проходили с меньшими скандалами, и многие благородные мамаши перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в *Курьерке,* исстари любимой газете панов помещиков, упо-

---

[14] Примечания: 14

Контракты — местное название некогда славной киевской ярмарки.

миналось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же *Курьерка* паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

— Плохо кончил Максим, — сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, угомонился, и

только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на Контракты, редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожные. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в *Курьерке*, то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки, — все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неугомонная мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они

видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом за угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь — борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат[15]; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против,* перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственною заинтересовало дядю Максима.

— Гм… да, — задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку, — этот малый

---

[15] Примечания: 15
Военный обоз *(нем.). — Ред.*

тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечишко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастия скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастия лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь… Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной

озлобленности своим несчастием и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

— Этот малый, — сказал он, пуская кольцо за кольцом, — будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

— Жестоко напоминать мне об этом, Макс, — сказала она тихо, — напоминать без цели…

— Я говорю только правду, — ответил Максим. — У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни

ног, ни воли…

— Отчего же?

— Пойми меня, Анна, — сказал Максим мягче. — Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку и с какою-то необычною в других детях живостью ощупывал всякий предмет, попадавший в руки.

V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам:

сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто вглядывался кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски

серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов; когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шоркание нитки в руках матери, ровное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, неслышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого являлось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таин-

ственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха, — изощренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучавший вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и вместе с тем здоровье мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались

голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленью молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревожен-

ный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

— Что это с ним? — спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

— Он… не может понять, — догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежею прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.

Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полною грудью и шла вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и

тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоумелого вопроса. Только одни глаза глядели все тем же ровным и неподвижным, незрячим взглядом.

Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На поемных лугах стояла вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые

соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама.

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон не изведанными еще, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое касается его лица нежным, согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нем ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя

вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по-прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный

окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективу. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нем переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить

их. Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие… Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками… быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали… Еще раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем все сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.

VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычною своей энергией занялся изучением всего, что дает наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о фурштате давно уже незаметно улетучились из квадратной головы ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотой и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута, на которого без его влияния никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает, — думал старый гарибальдиец, — ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других обездоленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый

солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятых годов не было чуждо суеверное представление о таинственных предначертаниях природы. Немудрено поэтому, что по мере развития ребенка, выказывавшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих таинственных предначертаний. «Обездоленный за обиженных» — вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени своего питомца.

IX

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во все это время с его лица не сходило характерное выражение недоумения.

— Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может, — говорила молодая мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений,

с которыми не могло справиться сознание, и решился допускать к выздоравливавшему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчлененными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

— Рожок пастуха слышен за лесом, — говорила она. — А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на своем колесе[16]. Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью, брал ее руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

X

Он начинал расспрашивать обо всем, что привлекало его внимание, и мать или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, издававших те или другие звуки.

---

[16] Примечания: 16

В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо.

Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребенку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже легкие морщинки. Видимо, детская головка работала над непосильною задачей, темное воображение билось, стремясь создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и, когда на глазах матери являлись слезы, а лицо ребенка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстранял сестру и начинал свои рассказы, в которых по возможности прибегал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

— Ну, а какой он? большой? — спрашивал он про аиста, отбивавшего на своем столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах,

а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

— Нет, он еще гораздо больше. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

— Большой… — задумчиво произнес мальчик. — А малиновка — вот! — И он чуть-чуть развел сложенные вместе ладони.

— Да, малиновка такая… Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. А аист — серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том, что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжелых попытках понять рассказы матери. Но все же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

Глава вторая

I

Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изощренного слуха он проникал все дальше в окружавшую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непроницаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжелою тучей и, хотя он залег над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастием, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от темной завесы. Эти не оставлявшие ребенка ни на минуту бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на его лице все глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая могучая природа не

оставалась для слепого совершенно закрытою. Так, однажды, когда его свели на высокий утес над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшиеся из-под ноги его камни. С тех пор он представлял себе глубину в виде тихого ропота воды у подножья утеса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замиравшею песней; когда же по небу гулко перекатывался весенний гром, заполняя собою пространство и с сердитым рокотом теряясь за тучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и сердце его расширялось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления, как в формы.

По временам, в жаркий полдень, когда вокруг все смолкало, когда затихало людское движение и в природе устанавливалась та особенная ти-

шина, под которой чуется только непрерывный, бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влиянием внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряженным вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни.

II

Ему шел уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами. Но уже по двору он ходил с бо`льшим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец по обыкновению захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не видел, как темнело синее небо, как черные верхушки деревьев качались, рисуясь на звездной лазури, как хмурились лохматые стрехи стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звездного света. Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчета.

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест буков совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребенку, —

когда все отдельные звуки стушевывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, навевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

— Что это было… вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то приятно тревожившем его с вечера.

— Так хорошо, мама, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решилась остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

— Мама, ты здесь?

— Да, да, мой мальчик…

— Уйди, пожалуйста, *оно* боится тебя, и до сих

пор *его* нет. Я уже совсем было заснул, а этого все нет…

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный жалобный шепот… Ребенок говорил о своих сонных грезах с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевным напевам малорусской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим, — подумала она. — Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид хлопе».

IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему нипочем была даже хитрая скрипка, и было время, когда в корчме по воскресеньям никто лучше не мог сыграть казака или веселого польского краковяка. Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени. Его неуклюжий «струмент», казалось, надрывается от усилий, чтобы поспеть своими тяжелыми басовыми нотами за легкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подергивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал в такт шаловливой и бойкой мелодии. Что же говорить о крещеном народе, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках веселого плясового напева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор как Иохиму полюбилась Марья,

дворовая девка соседнего пана, он что-то не залюбил веселую скрипку. Правда, что скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки, и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой пыке[17] хохла-музыканта. С тех пор его скрипки не слыхали более в корчме и на вечерницах. Он повесил ее на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения на любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржали и удивленно поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что ее тихие, задушевные переливы больше соответствуют его горькой судьбе, лучше выразят печаль его отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечевочке под крышей, чтобы ее обдувало ветром, но ничего не

---

[17] Примечания: 17

Пыка — по-малорусски ироническое название лица, физиономии.

помогало: горская дудка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от нее томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, а затем решился сделать ее своими руками. В течение нескольких дней он бродил с насупленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кустику ивы, перебирал ее ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, все не находил того, что ему было нужно. Его брови были по-прежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место, над лениво струившеюся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой заводи белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной, спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдет то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво

шептавшиеся кусты ивняка, решительно подошел к тонкому, прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щелкнул по нем пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепоту его листьев и мотнул головой.

— Ото ж воно сааме́сенькое, — пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжег ей сердце раскаленною проволокой, прожег шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянною затычкой, оставив в ней косую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечевке, причем ее грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал ее ножом, почистил стеклом и крепко обтер куском грубого сукна. Верхушка у нее была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные грани, по которым он выжег с помощью изогнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав ее несколькими быстрыми переливами гаммы, он взволнованно мотнул головой, крякнул и торопливо спрятал в укромное местечко около своей постели. Он не хотел делать

первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была часть его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с нее и звучно несся вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.

V

Теперь Иохим был влюблен в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днем он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с паней или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начинала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всем мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напе-

вам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида собственное свое существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услышал возле себя чье-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

— Цур тобі, пек тобі! — произнес он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: — Чертове чи боже? — желая узнать, не имеет ли он дела с нечистою силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петруся, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пропавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда

остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни милостивую пани. Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и все еще жадно прислушивался к оборванной песне.

VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днем. Казалось, дневная суета и движение исключали в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихорадочное нетерпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, все же не могла запретить своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучею ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребенком даже в течение следующего дня, что даже на ее

ласки он не отвечает с прежнею безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Радецкой, она между прочими приятными искусствами изучала также и музыку. Правда, само по себе это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Клапс, очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно выламывавшая пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомицах всякие признаки чувства музыкальной поэзии, Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Клапс, не говоря об ее педагогических приемах. Поэтому, выйдя из пансиона и даже замужем, Анна Михайловна и не подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла-дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в ее душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, а образ

немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

— Как хочешь, моя голубка, — ответил образцовый супруг. — Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезен из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трех недель.

А между тем из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки клочьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какою-то странною

жадностью. Он тянулся за дудкой, брал ее дрожащими руками и прикладывал к губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немудреным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но все же он скоро свыкся с звуками гаммы. При этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер; он знал уже, в каком отверстии живет каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика тоже начинали шевелиться. Он с полною ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

VII

Наконец ровно через три недели из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную музыку. Она была, очевидно, очень тяжелая, так как,

когда ее стали подымать, телега трещала, а люди кряхтели и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными, тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Все это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового, неодушевленного, но вместе сердитого гостя. Он ушел в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проволочные струны. Только когда все было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенскою дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза

и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу: она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз ее ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись

союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, ее ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца-дударя подметил ее под размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, ее тонкие пальцы были и быстрее, и гибче; мелодия, которую она играла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс, чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и грустил и с любовью своей и с тоской обращался к родной природе. Его учила несложным напевам эта природа, шум ее леса, тихий шепот степной травы, задумчивая, родная, старинная песня,

которую он слышал еще над своею детскою колыбелью.

Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылем. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону, она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стукая по полу гостиной своими неуклюжими чеботьями.

VIII

Много слез стоила бедной матери эта неудача — слез и стыда. Ей, «милостивой пани» Попельской, слышавшей гром рукоплесканий избранной публики, сознавать себя так жестоко пораженной, и кем же? — простым конюхом Иохимом с его глупою свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее лицо, и она искренно ненавидела противного хлопа.

И, однако, каждый вечер, когда ее мальчик убегал в конюшню, она открывала окно, облокачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом «глупом чириканьи», но мало-помалу — она и сама не отдавала себе отчета, как это могло случиться, — глупое чириканье стало овладевать ее вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы. Спохватившись, она задала себе вопрос, в чем же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределенные вечерние тени и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

«Да, — думала она про себя, побежденная и завоеванная, в свою очередь, — тут есть какое-то совсем особенное, истинное чувство… чарующая поэзия, которую не выучишь по нотам».

И это было правда. Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей, и вечно говорящею человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство приро-

ды.

И она сознавала, что гордая пани смиряется в ней перед конюхом-хлопом. Она забывала его грубую одежду и запах дегтя, и сквозь тихие переливы песни вспоминалось ей добродушное лицо, с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористическою улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять приливала к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания ее ребенка она стала с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, хлоп, победил.

А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой, и вместе с тем в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она все больше смирялась и все больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чистой безыскусственной поэзии.

IX

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в ней сердце и слезы поневоле подступают

к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному, слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное ее игрой на лице мальчика, и жгучие слезы лились у нее из глаз, и по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом. Он сказался и в болезненно-преувеличенной нежности, и в этом всю ее поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн ее изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только досаду, — это странное соперничество с хохлом-дударем, — стало для нее источником сильнейших, преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она

несколько раз подходила к своему инструменту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало ее от этих попыток. Ей вспоминалось лицо ее страдающего мальчика и пренебрежительный взгляд хохла, и щеки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью…

Тем не менее изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней все возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна; руки не повиновались ее внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроение переливалось в них с большею полнотой и легкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что именно захватывало так сильно сердце ребенка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки. Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудреные пьесы, а тихая песня, грустная украин-

ская думка звенела и плакала в темных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и вот, по вечерам, между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затененного сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано.

Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на хитрую музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови и нетерпеливо понукал Иохима, когда тот останавливался.

— Э! играй же, играй!

Но не прошло и трех дней, как эти остановки стали все чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал понукать приятеля. Наконец Иохим произнес с задумчивым видом:

— Ото ж як гарно… Бач, яка воно штука…

И затем с тем же задумчиво-рассеянным видом прислушивающегося человека он взял мальчика на руки и пошел с ним через сад к открытому окну гостиной.

Он думал, что милостивая пани играет для собственного своего удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла ее соперница-дудка, видела свою победу, и ее сердце билось от радости.

Вместе с тем ее гневное чувство к Иохиму улеглось окончательно. Она была счастлива и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил ее, как опять привлечь к себе ребенка, и если теперь ее мальчик получит от нее целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю, их общему учителю.

X

Лед был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошел в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость, показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и

изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошел к тому месту, где стояло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела за работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждою сменою выражения на нервном лице ребенка.

Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем с выражением полного внимания тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они, один за другим, колыхаясь, дрожали и замирали в воздухе. Лицо слепого, вместе

с напряженным вниманием, выражало удовольствие; он, видимо, любовался каждым отдельным тоном, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал еще какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала веселая и яркая нота высокого регистра, он подымал оживленное лицо, будто провожая кверху эту звонкую летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо; ему казалось, что этот тяжелый тон должен непременно низко раскатиться над землею, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, определяло отчасти возможное для него будущее. С другой — к этому сознанию

примешивалось в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования.

«Конечно, — рассуждал Максим, — музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь, будет им разыгрывать разные там… вальсы и ноктюрны (правду сказать, дальше этих вальсов и ноктюрнов не шли музыкальные познания Максима), а они будут утирать слезы платочками. Эх, черт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Только все же лучше бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределенно разнеживающемуся слуху. Она дает образы, будит мысль в голове и мужество в сердце».

— Эй, Иохим, — сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму. — Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты все же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего теленка. Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его

беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нем чувство легкой обиды.

— Не скажите, пане, — заговорил он. — Такую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украине, не то что у подпаска… То все свистелки, а это… вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

— Тьфу, прости боже! Совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одинаковы — и дудки, и бабы, с твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь, — хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то необидно, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

— А что ж? — ответил Иохим на предложение пана. — Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пане? — уязвил он слегка собеседника.

— Ну не бреши по-пустому, — сказал Максим. — Песня хорошая — не дудке чета, если только

человек умеет петь как следует. Вот послушаем, Петрусю, Иохимову песню. Поймешь ли ты только, малый?

— А это будет хлопская песня? — спросил мальчик. — Я понимаю по-хлопски.

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о новой сечи.

— Эх, малый! Это не хлопские песни… Это песни сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру, и по Дунаю, и на Черном море… Ну, да ты поймешь это когда-нибудь, а теперь, — прибавил он задумчиво, — боюсь я другого…

Действительно, Максим боялся другого непонимания. Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что темная голова ребенка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны, что украинские кобзари и бандуристы были по большей части слепые. Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяния. Но не все же это были только нищие и ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только

под старость. Слепота застилает видимый мир темною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзии.

XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилег на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, запел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался очень удачным. Он остановился на исторической картине:

Ой, там на горі, тай женці жнуть.

Всякому, кто слышал эту прекрасную народную песню в надлежащем исполнении, наверное врезался в памяти ее старинный мотив, высокий, протяжный, будто подернутый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание казака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках по синему морю и Дунаю. Это только одна

мимолетная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца как смутная греза, как отрывок из сна об историческом прошлом. Среди будничного и серого настоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подернутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но еще не бесследно! О ней говорят еще высокие могилы-курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. О ней говорит и народное предание, и смолкающая все более и более народная песня:

Ой, там на горі, тай женці жнуть,
А по-під горою, по-під зеленою
Козаки ідуть!..
Козаки ідуть!..

На зеленой горе жнецы жнут хлеб. А под горой, внизу, идет казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами,

виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины.

По переду Дорошенко
Веде свое військо, військо запорожське,
Хорошенько.

И протяжная нота песни о прошлом колышется, звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры.

XIII

Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утеса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину…

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что

жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он слышал, стоя под утесом. А внизу, над рекой, раздается частый ровный топот конских копыт… Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это идут казаки.

Он знает также, что значит казак. Старика Хведька, который заходит по временам в усадьбу, все зовут старым казаком. Он не раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожащею рукой. Когда же мальчик, по своему обыкновению, ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубокие морщины, большие обвисшие вниз усы, впалые щеки и на щеках старческие слезы. Таких же казаков представлял себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу, под горой. Они сидят на лошадях такие же, как Хведько, усатые, такие же сгорбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как Хведько, о чем-то плачут, быть может оттого, что и над горой, и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни

— песни о «необачном[18] козачине», что променял молодую жёнку на походную трубку и на боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

[18] Примечания: 18
Неосмотрительном *(укр.). — Ред.*

Глава третья

I

Благодаря режиму, который был заведен по плану Максима, слепой во всем, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно, Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку. Мать сначала не могла себе представить, чтоб ее слепой ребенок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело все свое влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Иохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом, слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние ее на нравственный склад ребенка было по возмож-

ности ослаблено. Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Черные волосы оттеняли еще более белизну лица, а большие темные, малоподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Легкая складка над бровями, привычка несколько подаваться головой вперед и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу, — это все, чем сказалась слепота в его наружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но все же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими нервными порывами.

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запомнил песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с

привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издалека смутные думы, или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с историей его страны, и вся она прошла перед воображением слепого, сплетенная из звуков. Заинтересованный песней, он знакомился с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины. Отсюда начался интерес к литературе, и на девятом году Максим приступил к первым урокам. Умелые уроки Максима

(которому пришлось изучить для этого специальные приемы обучения слепых) очень нравились мальчику. Они вносили в его настроения новый элемент — определенность и ясность, уравновешивавшие смутные ощущения музыки.

Таким образом день мальчика был заполнен, нельзя было пожаловаться на скудость получаемых им впечатлений. Казалось, он жил полною жизнью, насколько это возможно для ребенка. Казалось также, что он не сознает и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская грусть все-таки сквозила в его характере. Максим приписывал это недостатку детского общества и старался пополнить этот недостаток.

Деревенские мальчики, которых приглашали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме непривычной обстановки, их немало смущала также и слепота панича. Они пугливо посматривали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешептывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя

в кучу и начинал рассказывать им веселые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чертом, и с плутовками-ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживленно. Слепой слушал их с большим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и немудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подергивания длинными усами.

III

Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменился поссессор[19]. На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то, что обоим супругам

---

[19] Примечания: 19

В Юго-Западном крае довольно развита система арендований имений: арендатор (по-местному — поссессор) является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода.

в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве эконома по чужим людям, а пани Агнешка, в ожидании счастливой минуты, жила в качестве почетной покоювки[20] у графини Потоцкой. Когда, наконец, счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костеле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые, а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой поздней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчику. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нем тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжелой жизни в чужих людях. Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом

---

[20] Примечания: 20
Горничной *(пол.). — Ред.*

месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской, вместе с вербой и громницей[21], хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом маленьком домике, об его тишине и порядке и о двух стариках, живших в нем какою-то необычною в наши дни тихою жизнью.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка, с длинною русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве какою-то странною солидностью, разлитою во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такою ис-

[21] Примечания: 21

Громницей называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающему.

креннею снисходительностью, как будто для нее лично это было вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и все это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребенок, а крохотная взрослая женщина.

IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

— Мальчик! — услышал он вдруг возглас детского голоса. — Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

— Это я…

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

— Как хорошо!

Слепой промолчал.

— Что же вы не уходите? — спросил он затем, слыша, что непрошеная собеседница продолжает стоять на месте.

— Зачем же ты меня гонишь? — спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее он ответил в прежнем тоне:

— Я не люблю, когда ко мне приходят…

Девочка засмеялась.

— Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

— Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

— Мама? — переспросила задумчиво девочка. — А моя мама позволила мне ходить над рекой…

Мальчик, несколько избалованный всеобщею

уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервною волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбужденно:

— Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

— Ах, какой гадкий мальчик! — услышал он за собою искренно негодующее замечание.

V

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда еще не слыхал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо;

береговая галька легко шуршала под ее ногами; и она напевала вполголоса польскую песенку.

— Послушайте! — окликнул он, когда она с ним поравнялась. — Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланой беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

— Разве вы не видите, что это я? — спросила она наконец с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

— Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?

— Иохим выучил, — ответил Петрусь.

— Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

— Я… не сержусь на вас, — сказал мальчик тихо.

— Ну, так и я не сержусь… Давай играть вместе.

— Я не умею играть с вами, — ответил он потупившись.

— Не умеешь играть?.. Почему?

— Так.

— Нет, почему же?

— Так, — ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупою болью.

Незнакомка поднялась на холмик.

— Какой ты смешной, — заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. — Это ты, верно, оттого, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник

груду цветов.

— Где вы взяли цветы? — спросил он.

— Там, — мотнула она головой, указывая назад.

— На лугу?

— Нет, там.

— Значит, в роще. А какие это цветы?

— Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный… право, ты очень странный…

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

— Это лютик, — сказал он, — а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания,

как-то не гармонировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

— Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила она гневно, сквозь слезы. — Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство — смесь досады и унижения — наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушить не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем более что какая-то врожденная гордость заставляла его

подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбежала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

— Послушай, — заговорила она тихо, — о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкою настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

— Ну, ну, перестань же! — заговорила она тоном взрослой женщины. — Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня…

— Я не хотел напугать тебя, — ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

— Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь. — Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

— А все-таки ты очень странный, — сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный, — ответил мальчик с жалобною гримасой. — Нет, я не странный… Я… я — слепой!

— Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос ее дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце. — Слепо-ой? — повторила она еще более дрогнувшим голосом, и, как будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Пораженная внезапностью печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись

вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала.

VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной атмосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватою чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого; он сидел с опущенною головой, видимо удивленный этим выражением горячего сочувствия.

— Мне жалко… — все еще всхлипывая, вымолвила наконец девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

— Солнышко село, — произнесла она задумчиво.

— Я не знаю, какое оно, — был печальный ответ. — Я его только… чувствую…

— Не знаешь солнышка?

— Да.

— А… а свою маму… тоже не знаешь?

— Мать знаю. Я всегда издалека узнаю ее походку.

— Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

— Знаешь, — заговорил слепой с некоторым оживлением, — я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

— Почему ты знаешь?

— Потому что… видишь ли… Я сам не знаю почему…

— А-а! — протянула девочка, по-видимому совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали.

— Я могу читать, — первый заговорил опять Петрусь, — и скоро выучусь писать пером.

— А как же ты?.. — начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса. Но он ее понял.

— Я читаю в своей книжке, — пояснил он, — пальцами.

— Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами… Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

— А я могу читать даже по-французски.

— По-французски!.. И пальцами… какой ты умный! — искренно восхитилась она. — Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

— А ты сама?

— Я не боюсь; что мне сделается.

— Ну и я не боюсь. Разве может быть, чтобы мужчина простудился скорее женщины? Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни голода, ни грома, ни тучи.

— Максим?.. Это который на костылях?.. Я его видела. Он страшный!

— Нет, он нисколько не страшный. Он добрый.

— Нет, страшный! — убежденно повторила она. — Ты не знаешь, потому что не видал его.

— Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

— Бьет?

— Никогда не бьет и не кричит на меня… Никогда…

— Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

— Да ведь он и никого не бьет, — сказал Петрусь несколько рассеянно, так как его чуткое ухо заслышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

— Па-ны-чу-у-у!

— Тебя зовут, — сказала девочка, поднимаясь.

— Да. Но мне не хотелось бы идти.

— Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

VII

Девочка точно исполнила свое обещание, и даже раньше, чем Петрусь мог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:

— Отпусти меня на минуту. Там пришла девочка.

— Какая еще девочка? — удивился Максим и пошел вслед за мальчиком к выходной двери.

Действительно, вчерашняя знакомка Петруся

в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.

— Что тебе, милая девочка, нужно? — спросила та, думая, что ее прислали по делу.

Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:

— Это у вас есть слепой мальчик?.. Да?

— У меня, милая, да, у меня, — ответила пани Попельская, любуясь ее ясными глазами и свободой ее обращения.

— Вот, видите ли… Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?

Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.

— Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил, — сказал мальчик, здороваясь. — Только у меня теперь урок.

— Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя, — сказала Анна Михайловна, — я у него попрошу.

Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:

— Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчи-

ка. Он мне говорил.

— Неужели, сударыня? — спросил Максим с комическою важностью, принимая в свою широкую руку маленькую ручку девочки. — Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

— Смотри-ка, Аннуся, — обратился он к сестре с странною улыбкой, — наш Петр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласись, Аня… несмотря на то, что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

— Что ты хочешь этим сказать, Макс? — спросила молодая женщина строго, и горячая краска залила все ее лицо.

— Шучу! — ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тайную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна еще более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приняла

неожиданно бурную ласку все с тем же ясным, хотя и несколько удивленным взглядом.

VIII

С этого дня между поссессорским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайшие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле «отца папежа»[22]. Наконец, его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть Бог, а Вольтер и вольтерианцы кипят в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка — человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие

---

[22] Примечания: 22
Римского папы *(пол.). — Ред.*

этого поссессор пошел на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счел уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

— Вот что, Веля… — сказал он, взяв дочь за плечо и посматривая на ее будущего учителя. — Помни всегда, что на небе есть Бог, а в Риме святой его папеж. Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец, — это primo.

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науке и в случае чего его провести трудно.

— Secundo, я — шляхтич славного герба, в котором вместе с «копной и вороной» недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники и всегда смыслили кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить. Ну, а в остальном, что касается orbis terrarum, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

— Не бойтесь, пан Валентин, — улыбаясь, ответил на эту речь Максим, — мы не вербуем паненок для отряда Гарибальди.

IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо трудно понятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем. Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с

достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идет, какая туча темная-претемная!» — он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища.

Глава четвертая

I

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенной с печалью и заботой, — натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немыслим будничный подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишенными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя…

Маленькая знакомка Петра представляла в себе

все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, дается в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимала, какое счастье случай послал ее сыну в этой детской дружбе. Понимал это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть все, чего ему еще недоставало, что теперь душевное развитие слепого пойдет тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом…

Но это была горькая ошибка.

II

В первые годы жизни ребенка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то во всяком случае ни одна новая сторона его, ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребенка период, который является переходною гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания. Чуть не каждая неделя приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда

Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появлявшихся у ребенка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, ее даровые откровения, казалось, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней.

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что не он один владеет умственным строем ребенка, что в этом строе сказывается что-то, от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причиной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источники этих, откуда-то пробиваю-

щихся, родников, чтоб… навсегда закрыть их для блага слепого ребенка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери. Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

— Мама, мама! — закричал он. — Я *видел* сон.

— Что же ты *видел*, мой мальчик? — спросила она с печальным сомнением в голосе.

— Я видел во сне, что… я вижу тебя и Максима, и еще… что я все вижу… Так хорошо, так хорошо, мамочка!

— Что же еще ты видел, мой мальчик?

— Я не помню.

— А меня помнишь?

— Нет, — сказал мальчик в раздумьи. — Я забыл все… А все-таки я видел, право же, видел… — добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза…

Это повторялось еще несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

III

Однажды, проходя по двору, Максим услышал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные

упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса. Полюбопытствовав узнать, что могли означать эти странные экзерциции, Максим заковылял по двору и через минуту вошел в гостиную. В дверях он остановился как вкопанный перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шел уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинными клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил паничу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать, с пылающим, возбужденным лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своем стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребенка. Когда же рука

мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он, в свою очередь, очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

— Аннуся! Что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

— Вот видишь ли, — заговорила она смущенно, — он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чем эта разница… Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что это правда…

— Ну, так что же?

— Ничего, я только хотела ему… немножко… объяснить эту разницу различием звуков… Не сердись, Макс, но, право, я думаю, что это очень похоже…

Эта неожиданная идея поразила Максима та-

ким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил ее повторить свои опыты и, присмотревшись к напряженному выражению лица слепого, покачал головой.

— Послушай меня, Анна, — сказал он, оставшись наедине с сестрою. — Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

— Но ведь это он сам заговорил первый, право… — прервала Анна Михайловна.

— Все равно. Мальчику остается только свыкнуться со своей слепотой, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не наводили его на бесплодные вопросы, и если б удалось устранить эти вызовы, то мальчик не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

— Мы грустим, — тихо возразила молодая женщина.

— Аня!

— Мы грустим, — ответила она упрямо… — Мы часто грустим о невозможном…

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался: заботясь об устранении

внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самою природою.

IV

«Глаза, — сказал кто-то, — зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего, цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек — одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика

жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании возможностей силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна остаются закрытыми: судьба мальчика решена — ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребенка проходила среди нужды и горя — это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устранили от него все, что могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смутное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода силы.

Отсюда — какие-то смутные предчувствия и порывы, вроде того стремления к полету, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда, наконец, вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни возможности световых представлений вставали, точно призраки, в детской головке, бесформенные, неясные и темные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального случая за нарушенный общий закон.

V

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, это — не будить ее раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжелая судьба ребенка должна была идти своим чередом, со всеми ее суровыми последствиями.

И она надвигалась темною тучей. Природная живость мальчика с годами все более и более исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но беспрерывно звучавшее в душе его грустное настроение усиливалось, ска-

зываясь на его темпераменте. Смех, который можно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался все реже и реже. Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора, было ему мало доступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательною полнотой. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как «в полі могыла з вітром говорила», и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нем все больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и, когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра. Все это особенным образом гармонировало с глубиной его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими

определенными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающею тихою гармонией, размягчалась от теплой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывавшийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно — белокурая девочка из поссессорской усадьбы…

И эта дружба крепла все больше, отличаясь полною взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения свое спокойствие, свою тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей… свое горе. Казалось, первое знакомство

с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанесший удар, и она истечет кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком, маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.

VI

Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любуясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой, по обыкновению, сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы было совсем тихо; только листья по временам, чутко встрепенувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.

В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно.

Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вздрогнул.

— Что это… было? — повернулся он к ней взволнованным лицом.

— Это звезда упала, дитя мое.

— Да, звезда, — прибавил он задумчиво. — Я так и знал.

— Откуда же ты мог знать, мой мальчик? — переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

— Нет, это он говорит правду, — вмешалась Эвелина. — Он многое знает… так…

Уже эта все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно-уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно; в них молодой организм устаивается и крепнет для новой бури. Во время этих затиший незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок

— и все душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала.

Глава пятая

I

Так прошло еще несколько лет.

Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано — безразлично.

Максим поседел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своею собственною тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь поссессорской хатки. Таким образом, Петр, ставший уже юношей, вырос, как тепличный цветок,

огражденный от резких сторонних влияний далекой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного темного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма, без конца и пределов: чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание; ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тронет в нем что-то такое, что так томительно дремлет в душе и ждет пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шепотом старого сада, навевая смутную, баюкающую, успокоительную думу. О далеком мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шепот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далекой жизни. И все это рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку, как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что огражденная, будто стеной, душа ее сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусствен-

ном, но спокойном. И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привел имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что все делается само собой. Один только Максим по своей натуре с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдованного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот наконец наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

II

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученки гостит приезжая молодежь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрученка был студент киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал музыку в петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрученко был крепкий старик, седой, с длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя.

Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта неволя была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец в мужицкой мошне.

Зато если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как Бульба, то все же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодежью вспыхивали нескончаемые споры. Начиналось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил «идеальных паничей»; те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда подымался самый невообразимый галдеж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни отцов и детей; только здесь это явление сказывалось в значительно смягченной форме. Молодежь, с детства отданная в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому

у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна народолюбия, заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений народного духа в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в Юго-Западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения.

— Вот, послушай ты его, — говорил Ставрученко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. — Вот, собачий сын, говорит, как пишет!.. Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, ученый человек,

как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлацким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но, в свою очередь, не оставались в долгу. «Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса».

Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей.

— Так и видно, что недаром в школе учились, — говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей. — А все же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введет, и выведет, как телят на веревочке, вот что!.. Ну, а я и сам его, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно что щенята перед старым псом.

III

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение удалилось

в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрученко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды, и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подостлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлегся на траве с несколько тенденциозною непринужденностью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с Эвелиной. Кадет в аккуратно застегнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, опустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

— Что вы думаете обо всем, что здесь говорилось, панна Эвелина? — обратился к своей соседке молодой Ставрученко. — Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

— Все это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но…

— Но… что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к себе на колени свою работу, разгладила ее руками и, слегка наклонив голову, стала рассматривать ее с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для

вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживленное любопытством. Ее сосед уставился на нее спокойным, пытливым взглядом. Слепой переменил свою непринужденную позу, выпрямился и потом вытянул голову, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

— Но, — проговорила она тихо, все продолжая разглаживать рукой свою вышивку, — у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

— Господи! — резко воскликнул студент, — какое благоразумие! Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

— Семнадцать, — ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопытством: — а ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

— Если бы меня спросили мнение насчет вашего возраста, — сказал ее сосед, — я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем-таки ребенком, а рассуждаете порой, как опытная

старушка.

— В серьезных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьезно, — произнесла маленькая женщина докторальным тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчет ее вида было совершенно справедливо. При первом взгляде на это небольшое, худощавое созданьице казалось, что это еще девочка, но в ее неторопливых, размеренных движениях сказывалась нередко солидность женщины. То же впечатление производило и ее лицо. Такие лица бывают, кажется, только у славянок. Правильные красивые черты зарисованы плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее

холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжелою косой, как будто оттягивавшей назад ее голову при походке.

Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряженно вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

— Итак, — насмешливо заговорил студент после некоторого молчания, — панна Эвелина полагает, что все, о чем мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины — узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышалось самодовольство (тогда эти словечки были совсем новенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

— Вы слишком торопитесь со своими заключениями, — сказала она. — Я понимаю все, о чем здесь говорилось, — значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьем с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший допрос.

— Странно, — пробормотал он. — Можно подумать, что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

— Что же тут странного, Гаврило Петрович? — тихо возразила девушка. — Я думаю, даже Илья Иванович (имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

— Это правда, — сказал кадет, довольный этим вызовом. — Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

— Ну, вот видите, — сказала она через минуту с какою-то холодною резкостью в голосе, — у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьезная тишина, под которою чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешел на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна…

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.

V

Все эти беседы, эти споры, эта волна кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений — все это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь

усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжелая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство. Один Максим будто не замечал, какое действие производит шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей наведываться почаще в усадьбу, обещая молодым людям обильный этнографический материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колеса их брички. Затем он быстро повернулся и ушел в сад.

С отъездом гостей в усадьбе все стихло, но эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывав-

шихся только шепотом буков и сирени, слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно беспощадною рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей до сих пор мир слепого. Гулкая беспокойная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготила спокойная тишь усадьбы, ленивый шепот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого оживления.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе — тупым, хотя еще смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении совершенно беззащитны, и потому на побледневшем лице Петра можно было читать, как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной… На нем была написана мучительная тревога. Женщины видели, что Максим тоже замечает все это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. «Теплица? Что ж такое, если ее ребенку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда… Спокойно, тихо, невозмутимо…» Эвелина не высказывала, по-видимому, всего, что было у нее на душе, но с некоторых пор она переменилась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда совсем незначительных его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на нее из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порой с гневным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами

дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твердо стоял на своем и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции насчет неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэтому женщина не может видеть дальше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца свое подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе. В какой форме — он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечатлений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины хотят совсем другого…

— Наседка! — говорил он иногда сестре, сердито стуча по комнате своими костылями… Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присут-

ствовала Эвелина, дело становилось серьезнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодою девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они еще только изучали противника, тщательно скрывая свои карты.

VI

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодною сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодежь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на завалинке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешел на щекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый — ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползлись вечерние тени, как незаметно завел соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу

неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила призыва…

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Ее глаза заискрились, щеки загорелись румянцем, сердце стучало… Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце застучало еще сильнее, и на побледневшем лице появилось выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед ее глазами будто раздвинулась темная стена, и в этот просвет блеснули далекие перспективы обширного, кипучего и деятельного мира.

Да, он манит ее уже давно. Она не сознавала этого ранее, но в тени старого сада, на уединенной скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далекие картины, и в них не было места слепому…

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит ее, он предъявляет на нее какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра,

и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый; вся его фигура казалась отяжелевшей и осталась в ее памяти мрачным пятном. «Он понимает… все», — мелькнула у нее мысль, быстрая как молния, и девушка почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, а на лице она сама ощутила внезапную бледность. Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далеком мире, а он сидит вот здесь один, с опущенною головой, или нет… Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер…

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше ее самой знал ее настроение, он угадал, что в ее сердце возможна еще борьба и выбор, что она в себе не уверена… Но нет — он ошибается! Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни еще…

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжелой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать, долго ли длилось молчание, давно ли смолк студент, говорил ли он еще что-нибудь… Она посмотрела туда, где

за минуту сидел Петр…

Его не было на прежнем месте.

VII

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

— Извините, господа, — сказала она, обращаясь к гостям. — Я вас на время оставлю одних.

И она пошла вдоль темной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услыхала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

— Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нем, — говорил старик сурово. — Подумай, ведь она еще ребенок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться неведением ребенка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слезы.

— А что же, Макс, если… если она… Что же будет тогда с моим мальчиком?

— Будь что будет! — твердо и угрюмо ответил старый солдат. — Тогда посмотрим; во всяком случае, на нем не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни… Да и на нашей совести то-

же… Подумай об этом, Аня, — добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал ее. Анна Михайловна склонила голову.

— Мой бедный мальчик, бедный… Лучше бы ему никогда не встречаться с нею…

Девушка скорее угадала эти слова, чем расслышала: так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи… Теперь, когда она выйдет, оба они увидят, что она подслушала их тайные мысли…

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и, во всяком случае, не ложный стыд может остановить ее на ее дороге. К тому же этот старик берет на себя слишком много. Она сама сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль, чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на нее с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла

с таким гневно вызывающим видом, пронесла с собою счастье или несчастье всей жизни ее ребенка.

VIII

В дальнем конце сада стояла старая заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор. Но теперь ему было не до того... Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом.

Заслышав легкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно:

— Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову. От усадьбы

слышалась песня:

З за крутоі горы
Выліталы орлы,
Выліталы, гуркоталы,
Роскоши шукалы…

Смягченный расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастьи, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шепот сада…

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой *ему* не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя…

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место

другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, но оно было ему знакомо, и он легко подчинялся его благотворному влиянию.

— Что с тобой? — повторила она свой вопрос.

— Ничего особенного, — ответил он с горечью. — Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую думу, подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев…

Петр невольно остановился, прислушиваясь.

— Знаешь, — заговорил он грустно, — мне кажется иногда, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами все хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и селам… Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом, и тот — ты слышала? — говорит: жениться и командовать частью. Над

ним смеялись, а я… а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

— Это ты наслушался речей молодого Ставрученка, — сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

— Да, — задумчиво ответил Петр и прибавил: — У него очень приятный голос. Красив он?

— Да, он хороший, — задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: — Нет, он мне вовсе не нравится! Он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий.

Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

— И все это глупости! Это все, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима.

— Что ты это, Веля? — спросил удивленно слепой. — Что подстраивает?

— Ненавижу, ненавижу Максима! — упрямо повторяла девушка. — Он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца… Не говори, не говори мне о них… И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?

Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала.

Слепой взял ее за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь…

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

— Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила растроганным и добрым голосом:

— Нет, будем справедливы: оба они хорошие!.. И то, что он говорил сейчас, — хорошо. Но ведь это же не для всех.

— Для всех, кто может, — сказал слепой.

— Какие пустяки! — ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы. — Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет, как может. Ну, и мы…

— Не говори: *мы!* Ты — совсем другое дело…

— Нет, не другое.

— Почему?

— Потому что… Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Петр остановился в изумлении.

— Я?.. На тебе?.. Значит, ты за меня… замуж?

— Ну да, ну да, конечно! — ответила она с торопливым волнением. — Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

— Конечно, — согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас спохватился. — Послушай, Веля, — заговорил он, взяв ее за руку. — Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога… А я…

— Что же ты?

— А я… слепой! — закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнилось детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове «слепой»… Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла

тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу действительно пробежала судорога, но девушка овладела собой, и, когда она заговорила, голос ее звучал беспечно и шутливо.

— Так что же, что слепой? — сказала она. — Но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого… Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

— Полюбит… — сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись, — он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова… — Полюбит? — переспросил он с возрастающим волнением…

— Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга… Какой ты глупый! Ну, подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?..

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо; только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою…

— Я бы умер, — сказал он глухо.

Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым, детским голосом:

— И я тоже… Без тебя, одна… в далеком свете…

Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное пожатие так не похоже на прежние: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда, под влиянием глубокой нежности, он привлек ее одною рукой, а другою стал гладить ее шелковистые волосы.

И ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, защелкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив ее, вздохнул полною грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и при-

ятно; он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном: «Ну, теперь вернемся к гостям», он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

IX

Гости и хозяева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Попельский, значительно округлевший и как всегда благодушный, дремал на своем стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все глаза повернулись туда.

В темном четырехугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась, и ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шел вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведет его. Когда в дверях показалось его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещенной комнаты. Но затем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же полурассеянным, полусосредоточенным видом подошел к фортепиано.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба наполнялась говором и пением приезжей молодежи, Петр ни разу не подходил к фортепиано, на котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант

по профессии. Это воздержание делало слепого еще более незаметным в оживленном обществе, и мать с сердечной болью следила за темной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь, в первый еще раз, Петр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту… Казалось, он забыл о присутствии чужих. Впрочем, при входе молодых людей в гостиной стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою…

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми легкими аккордами. Казалось, он о чем-то спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостиной стала еще глубже.

Ночь глядела в черные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зеленые группы листьев, освещенных светом лампы. Гости, подготовленные только что смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, витавшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Петр все молчал, приподняв кверху слепые глаза, и все будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколыхавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку… На лице виднелось удивление, вопрос, и еще какое-то особенное возбуждение проходило по нем быстрыми тенями. Слепые глаза казались глубокими и темными.

Одну минуту можно было подумать, что он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя все с тем же удивленным видом и все как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким и певучим аккордам…

X

Пользоваться нотами слепому вообще трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причем тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединенные в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки.

Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это — очень сложная и трудная работа; однако Петру и в этом случае помогала любовь к отдельным составным частям этой работы. Заучив на память по нескольку аккордов для каждой руки, он садился за фортепиано, и когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже завлекала.

Тем не менее между изображенною на бумаге пьесой и ее исполнением ложилось в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был пройти через руки, закрепиться в памяти и затем совершить обратный путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие успело отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в какие отливалась затем игра его мате-

ри. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненною душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой степени своеобразное, что на лицах посторонних слушателей появилось удивление. Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно, и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго еще вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста.

Струны звенели и рокотали, наполняя гостиную и разносясь по смолкшему саду… Глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец сидел, свесив голову, и молчаливо слушал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, поталкивал Максима локтем и шептал:

— Вот этот играет, так уж играет. Что? Не правду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть свою молодость, потому что глаза его заискрились, лицо

покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком по столу, но удержался и опустил кулак без всякого звука. Оглядев своих молодцов быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

— Хотят стариков в архив… Брешут!.. В свое время и мы с тобой, братику, тоже… Да и теперь еще… Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Еще раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врывался в его систему совсем не так, как он думал… Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это — счастье или горе звучит в игре ее сына… Эвелина сидела в тени от абажура, и только ее глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее.

XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он за минуту перед тем молча и опустив голову прислушивался к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного, глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение… Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость?.. Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепли. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то… Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жа-

лобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и еще долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, нарушаемая только шепотом листьев в саду. Обаяние, овладевавшее слушателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепли и искали чего-то, подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределенный перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешенного вопроса.

XII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна,

взглянув в лицо сына, увидала на нем выражение, которое показалось ей знакомым: в ее памяти встал солнечный день давней весны, когда ее ребенок лежал на берегу реки, подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрученко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, еще взволнованные и возбужденные, пожимали руки музыканта, предсказывали ему широкую известность артиста.

— Да, это верно! — подтвердил старший брат. — Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Петр назвал итальянскую пьесу.

— Я так и думал, — ответил молодой человек. — Мне она несколько знакома… У вас удивительно своеобразная манера… Многие играют лучше вашего, но так, как вы, ее не исполнял еще никто. Это… как будто перевод с итальянского музыкального языка на малорусский. Вам нужна серьезная школа, и тогда…

Слепой слушал внимательно. Впервые еще он

стал центром оживленных разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворенности и страдания, как еще никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своем стуле, с рукой, еще вытянутой на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке чье-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

— Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами…

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены, кроме матери. Ее лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой все сидел на том же месте. Он боролся с нахлынувшими на него впечатлениями нового счастья, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжелою тучей откуда-то из глубины мозга.

Глава шестая

I

На другой день Петр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не начиналось еще движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Петр отлично чувствовал природу. Он знал, что еще рано, что его окно открыто — шорох ветвей раздавался отчетливо и близко, ничем не отдаленный и не прикрытый. Сегодня Петр чувствовал все это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал еще, что все его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к тихому щебетанию какой-то пташки в саду и к странному чувству, нараставшему в его сердце.

«Что это было со мной?» — подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой

мельницы: «Неужели ты никогда не думал об этом?.. Какой ты глупый!..»

Да, он никогда об этом не думал. Ее близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает с высоты камень на зеркальную поверхность воды: еще за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо… один удар — и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновленною душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее нового голоса, который восстановило в его памяти воображение. «Полюбила»… «Какой ты глупый!..»

Он быстро вскочил, оделся и по росистым дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черемухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро. И никогда еще он не чувствовал света так ясно. Казалось, вместе с душистою сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи

веселого дня, щекотавшие его нервы.

II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама, Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороною грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по-видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно, принимая эти слова на свой счет, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнива были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось бабье лето, Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в

семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волыни и в Прибужьи, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах, села, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которую охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего Ставрученка и рассказы о консерватории, о столичных концертах.

Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушевывался в дальних углах, а, как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров… Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней

осени, хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди — и Петр в том числе — отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

— Знаете ли… — сказал, подъезжая к коляске, студент. — Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

— Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина.

— На этот вопрос отвечу после! Сворачивай к Колодне, к леваде Остапа; тут у перелаза остановишься! — крикнул он кучеру и, повернув

лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронеслись мимо него и спешились впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был темною ночью, только оживленною яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся кареты и веселые шутки встречавшей ее молодежи. Около него лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода… Где-то недалеко, вероятно над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг журавля над колодцем — во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня

крайнего сада… Из более отдаленных звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть, и ему самому неизвестным признакам, Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может, над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина с неопределенными, трудноуловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далей в вечернем тумане…

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон эоловой арфы. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков… Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем,

неопределенном и темном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь, в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю, каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шепот над заросшею могилой.

— Мы только недавно узнали о существовании этого памятника, — сказал молодой Ставрученко, — а между тем знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то «лыцарь», старый ватажко Игнат Карый…

— Так вот ты где успокоился, старый разбойник? — сказал Максим задумчиво. — Как он попал сюда, в Колодню?

— В 17** году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками… Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками… Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча.

Кажется, что татары были разбиты и монастырь все-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана.

— В этой истории, — продолжал молодой человек задумчиво, — есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист… слепой, сопровождавший атамана в походах…

— Слепой? В походах? — испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

— Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец… так, по крайней мере, говорит о нем запись, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память: «А с ним славетный поэта казацкий Юрко, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекла нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талент до складу песенного и до гры струнной, од якои даже и волцы на степу размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в ночном нападе. И ту положены рядом певец

и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки аминь…»

— Плита довольно широкая, — сказал кто-то. — Может быть, они лежат здесь оба…

— Да, в самом деле, но надписи съедены мхами… Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. А дальше все зелено от лишаев.

— Постойте, — сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

— «…Игнатий прозванием Карий… року божого… пострелен из сайдака стрелою татарскою…»

— Это и мы могли еще разобрать, — сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже.

— «Которого убивши…»

— «Сила поганьская…» — живо подхватил студент, — эти слова стояли в описании смерти Юрка… значит, правда: и он тут же под одной плитой.

— Да, «сила поганьская», — прочитал Петр, — дальше все исчезло… Постойте, вот еще: «порубан шаблями татарскими»… кажется, еще какое-то слово… но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полуторастолетней плиты…

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

— Сыла господняя, — сказал он, глядя на Петра с благоговением. — Сыла божая открывав слипенькому, чего зрячий не бачуть очима.

— Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? — спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. — Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими от-

рядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а простой ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней… Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой, вместо рушницы, за спиной и верхом на лошади…

— И, может быть, он участвовал в битвах… В походах, во всяком случае и в опасностях также… — продолжал молодой человек задумчиво. — Какие бывали времена на нашей Украине!

— Как это ужасно, — вздохнула Анна Михайловна.

— Как это было хорошо, — возразил молодой человек…

— Теперь ничего подобного не бывает, — резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской… Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение… — Теперь все это уже исчезло, — повторил он.

— Что должно было исчезнуть — исчезло, —

сказал Максим как-то холодно. — Они жили по-своему, вы ищи`те своего…

— Вам хорошо говорить, — ответил студент, — вы взяли свое у жизни…

— Ну и жизнь взяла у меня мое, — усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли.

Потом, помолчав, он прибавил:

— Вздыхал и я когда-то о сечи, об ее бурной поэзии и воле… Был даже у Садыка в Турции[23].

— И что же? — спросили молодые люди живо.

— Вылечился, когда увидел ваше вольное казачество на службе у турецкого деспотизма… Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветошь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях… Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьезно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апел-

---

[23] Примечания: 23

Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции…

ляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали — может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа, — могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого, — а быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана…

— Что же остается нам? — спросил студент после минутного молчания.

— Та же вечная борьба.

— Где? В каких формах?

— Ищите, — ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный, слегка насмешливый тон, Максим очевидно был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени… Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

III

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери… Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны… Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно

схватила за руку Эвелину.

— Слепой, — прошептала девушка с легким испугом.

— Тише, — ответила мать, — и еще… Ты замечаешь?

— Да…

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого… Его черты были грубее, вся фигура угловатее — но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь, — Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак…

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

— Ребят нет? Кышь, проклятые! — мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность: — Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?.. Идите

осторожно — темно…

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь… Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, — могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.

— Дядько, дядюшка, пустить, — раздались из-за двери тонкие голоса детей. — Пустить, дядюшка, хороший!

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

— Пошли, пошли, проклятые… Чтоб вас громом убило! — кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости…

— Слепой черт, — ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног…

Звонарь прислушался и перевел дух.

— Погибели на вас нет… на проклятых… чтоб вас всех передушила хвороба… Ох, господи! Господи ты, боже мой! Векую мя оставил еси… — сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние исстрадавшегося и глубоко измученного человека.

— Кто здесь?.. Зачем остался? — резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

— Идите, идите. Ничего, — прибавил он мягче. — Постойте, держитесь за меня… Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? — опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки и, под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

— Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка настоящая… Я думал — вы на смех… посмеяться над слепеньким… Другие, бывают, смеются…

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

— А вот и сентенция, — заметил студент и прочитал с некоторым трудом: «Мнози суть начинающий, кончающий же вмале…» Очевидно, дело идет об этом восхождении, — прибавил он шутливо.

— Понимай как хочешь, — грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. — Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать…

— Где стих? Нет никакого стиха.

— Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое…

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

— Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочитаете…

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть, более столетия уже умершим человеком:

Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни с жизнию разлуку,
Помни вечную муку…

— Тоже сентенция, — попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

— Не нравится, — ехидно сказал звонарь. — Конечно, ты еще человек молодой, а тоже… кто знает. Смертный час приходит, яко тать в нощи… Хороший стих, — прибавил он опять как-то по-другому… — «Помни смертный час, помни трубный глас…» Да, что-то вот там будет, — закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще

более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло стран-

ное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине… Брови шевелились все тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба заслышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

— Звонят, — сказал Петр.

— Это у Егорья за пятнадцать верст, — пояснил

звонарь. — У них всегда на полчаса раньше нашего вечерня… А ты слышишь? Я тоже слышу — другие не слышат…

— Хорошо тут, — продолжал он мечтательно. — Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

— Приезжайте послушать. Отец Памфилий… Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

— Славные подголоски… Так тебе и поют, так и поют… Особливо под пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук наверное не распространялся дальше площадки колокольни.

— А тут тебе вот этот — бу-ух, бу-ух, бу-ух…

Теперь его лицо светилось детскою радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

— Колокола-то вот выписал, — сказал он со вздохом, — а шубу новую не сошьет. Скупой!

Простыл я на колокольне… Осенью всего хуже… Холодно…

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

— Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

— Пойдем. — Первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно завороженная.

Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

— Идите, — сказал он ей повелительно. — Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

— Кто здесь? — спросил затем звонарь.

— Я…

— Ты тоже слепой?

— Слепой. А ты давно ослеп? — спросил Петр.

— Родился таким, — ответил звонарь. — Вот другой есть у нас, Роман — тот семи лет ослеп… А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

— Могу.

— И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

— Почему легче? — живо спросил Петр.

— Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит… Только она старая теперь, а снится ему все молодая… А тебе снится ли?

— Нет, — глухо ответил Петр.

— То-то, нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания…

— И то согрешаешь не однажды… Господи, создателю, божья матерь, пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидать…

Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

— Так нет, не дают… Приснится что-то, забрезжит, а встанешь — не помнишь…

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение

исказило все черты.

— Чертенят впустили, — сказал он со злостию в голосе.

Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, вероятно толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

— Брат! — окликнул он приятным, грудным голосом. — Егорий, опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

— Зачем бисенят впустив? — спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.

— Нехай соби, — благодушно ответил Роман. — Пташки божий. Ось як ты их налякав. Де вы тут, бисенята?..

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли…

IV

Попельские прожили еще несколько дней у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлен и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольно обширна и которые очень занимали Петра — каждый со своим особенным голосом, способным выражать особенные оттенки чувства. Но все же в нем была заметна какая-то омраченность, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем все более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре, и вся эта поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Петр глубоко задумывался, и на лице его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и… сильно напоминало слепого звонаря.

За фортепиано, в минуты наибольшей непосредственности, в его игру часто вплетался теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне… И то, о чем никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным румянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу… А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым выражением лиц, с одинаковыми движениями чутких бровей… То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью темной стихии, простиравшей свою таинственную власть одинаково на всех своих жертв.

— Послушай, Аня, — спросил Максим у сестры по возвращении домой. — Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

— Ах, это все из-за встречи со слепым, — ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно еще отослала в монастырь две теплых бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить по возможности участь обоих слепцов. У нее вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Романе, и только

Эвелина напомнила ей, что следовало позаботиться об обоих. «Ах да, да, конечно», — ответила Анна Михайловна, но было видно, что ее мысли заняты одним. К ее жгучей жалости примешивалось отчасти суеверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умилостивит какую-то темную силу, уже надвигающуюся мрачною тенью над головой ее ребенка.

— С каким слепым? — переспросил Максим с удивлением.

— Да с этим… на колокольне…

Максим сердито стукнул костылем.

— Какое проклятье — быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно, не добьешься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

— Там, — тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка, — есть слепой звонарь… И он…

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которому текли слезы.

— И он очень похож на Петра.

— И вы мне ничего не сказали! Ну, что же дальше? Это еще недостаточная причина для трагедий, Аня, — прибавил он с мягким укором.

— Ах, это так ужасно, — ответила Анна Михайловна тихо.

— Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

— Ты сказала не все? — спросил Максим после минутного молчания.

— Да. Когда все сошли вниз, Петр остался. Он велел тете Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым… И я… тоже осталась.

— Подслушивать? — сказал старый педагог почти машинально.

— Я не могла… уйти… — ответила Эвелина тихо. — Они разговаривали друг с другом, как…

— Как товарищи по несчастью?

— Да, как слепые… Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Петр говорит: «Не вижу». И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодою, хотя она уже старая…

— Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на

старика свои синие глаза, в которых теперь виднелась борьба и страдание, сказала:

— Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое… Он родился зрячим… А другой… Он очень страдает, — вдруг свернула она.

— Говори, пожалуйста, прямо, — нетерпеливо перебил Максим, — другой озлоблен?

— Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят…

— Зол и похож на Петра… понимаю, — задумчиво сказал Максим.

Эвелина еще помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

— Лицом оба не похожи… черты другие. Но в выражении… Мне казалось, что прежде у Петра бывало выражение немножко как у Романа, а теперь все чаще виден тот, другой… и еще… Я боюсь, я думаю…

— Чего ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка, — сказал Максим с необычной нежностью. И, когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со слезами на глазах, он погладил ее шелковистые волосы своей большой рукой и сказал: — Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

— Я думаю, что… он считает теперь, что… все слепорожденные злые… И он уверил себя, что он тоже… непременно.

— Да, вот что… — проговорил Максим, вдруг отнимая руку… — Дай мне мою трубку, голубушка… Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось синее облако дыма.

— Гм… да… плохо, — ворчал он про себя. — Я ошибся… Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай… А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь… Все где-нибудь выставится…

Он совсем потонул в сизых облаках… В квадратной голове старика кипели какие-то мысли и новые решения.

V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями… В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и

запах мягкого снега…

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной холодности всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо и полно перенося на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки… По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном

удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой пленкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой — тяжелее и без мелодии. В нем как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей…

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья.

Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к благодетельнице, старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь. Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим.

Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя,

чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие ее не дает ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось.

Еще так недавно в его ушах звучали ее слова, вставали все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уже с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и теперь это другое расстилалось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки ее голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить.

Он хотел ее видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное

страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем внимания.

Встреча с слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания…

Он ее полюбил и хотел ее видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним, живые и яркие, Петр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернутся. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый ее звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец худшие ее опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был как-то

странно тревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает, и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще… светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, легкими, но все же заметными толчками все ближе надвигается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеп-

лился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожною вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Наконец мать победила оковавшую ее члены неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

— Ты, мама? — спросил он.

— Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:

— Я опять видел сон… Я теперь часто вижу сны, но… ничего не помню…

VI

Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительною нервностью и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные

ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей.

Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату.

О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже деятельной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода мертвая точка, и благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся; к вопросу: «зачем жить на свете?» — он прибавлял: «зачем жить именно слепому?» Наконец в самую эту работу нерадост-

ной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из поссессорского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостью, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

— Ты думаешь, я люблю тебя? — резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

— Я в этом уверена, — ответила девушка.

— Ну, а я не знаю, — угрюмо возразил слепой. — Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно.

— Зачем ты мучишь меня? — вырвалась у нее тихая жалоба.

— Мучу? — переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма. — Ну да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого,

а теперь знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу… Мы все такие, рожденные слепыми. Оставь меня… бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви… Я хочу видеть — понимаешь? хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен… Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни…

И он с замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалою внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые, при напряженной чуткости нервной системы, он смутно улавливал посредством осязания. Но все это проникало в его сознание именно только как различия, в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только

сильнее раздражало его мучительные порывы.

VII

Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной. Лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

— Вот он спрашивает, — сказала Эвелина Максиму, — что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить.

— В чем дело? — спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами.

— Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета, и я их не вижу, то, значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте.

— Пустяки и ребячество, — ответил Максим резко. — И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

— Но что же значит это выражение?.. Ведь должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

— Это простое сравнение, — сказал он. — Так

как и звук, и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

— Какие же тут разумеются свойства? — продолжал упрямо допрашивать слепой. — Красный звон… какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. Притом же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

— Погоди, — сказал он. — Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе как следует… Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение…

— Да, да, погоди, — сказал Петр, быстро открывая пианино.

Он ударил своею умелой рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному трезво-

ну. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем, это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

— Да, — сказал Максим, — это очень похоже, и мы, с открытыми глазами, не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли… когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, темный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и так же быстро упадающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз, — по крайней мере, на мой глаз.

— Это верно, верно! — живо сказала Эвелина. — Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть…

— Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление: существует также малиновый звон,

как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

— Нет, — сказал Максим. — Я бы сказал, что это слишком красно…

— А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю безвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

— Вот-вот! — сказал Максим. — Ты понял разницу. Когда-то — ты был еще ребенком — мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

— Да, я помню… Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы

понять.

— Нет, — задумчиво ответил старик, — ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже как однородные. Мы говорим: он видит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще, звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. «Продолжать ли?» — подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей:

— Да, да! Странные мысли приходят мне в голову… Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли… когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти — это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну, и она у нас красная…

— Красная… горячая… — сказал юноша вдумчиво…

— Именно — красная и горячая. И вот, красный цвет, как и красные звуки, оставляют в нашей душе свет, возбуждение и представления о страсти, которую так и называют горячею, кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны горячими.

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

— Если ты взмахнешь рукой над своею головою, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении… Так же далеко видим мы над собой полушаровой свод неба; оно ровно, бесконечно и сине… Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча…

— Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу…

— Это верно. Мы ждем, когда из-за туч прогля-

нет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над нею останется все то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо сине… Море тоже сине, когда спокойно. У твоей матери синие глаза. У Эвелины тоже.

— Как небо… — сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.

— Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровьи, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем… Понял ли ты?

— Н-нет… не ясно… но все же, пожалуйста, говори дальше.

— Ну, что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья в истоме опускаются книзу и, если солнечный

зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливается и алеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света; в нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь — цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы во времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развевается над ними, как пламя… Но ведь ты опять не понимаешь?..

— Все равно, продолжай!

— Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срывается и падает на землю… Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в возможности и все будущее растение, с его будущею роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землей низко подымается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи… Не только страсть, но и самая жизнь замирают тихо, незаметно… Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны… И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю пада-

ют миллионы снежинок, и вся она становится ровна, одноцветна и бела… Белый цвет — цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недосягаемом холоде поднебесных высот, — цвет величавых и бесплодных горных вершин… Это — эмблема бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается черного цвета…

— Знаю, — перебил слепой. — Это — нет звуков, нет движений… ночь…

— Да, и потому это — эмблема печали и смерти…

Петр вздрогнул и сказал глухо:

— Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня все черно… всегда и всюду черно!

— Неправда, — резко ответил Максим, — для тебя существуют звуки, тепло, движение… ты окружен любовью… Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец… Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем…

— Да! — воскликнул Петр страстно. — Я ношусь с ним поневоле: куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

— Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и

окруженная участием, может быть названа блаженством, — тогда…

— Неправда, неправда! — гневно перебил слепой тем же тоном страстного возбуждения. — Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это большая ошибка… Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там — пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если б это не удалось, я страдал бы от голода и холода… и все это не оставляло бы мне ни минуты и… и… от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь…

— Ты думаешь? — спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.

— Уверен, — ответил Петр упрямо и жестко. — Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора: вот он подымается на свою вышку…

— Ему холодно, — подсказал Максим.

— Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет иззябшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой… Потому что тут было бы холодно и не слепому… А я не забываю, и мне…

— И тебе не за что проклинать!..

— Да! Мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего…

— Не стану спорить, — холодно сказал старик. — Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое… В воспо-

минании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шири и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось — что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и матери, «у которых глаза как небо»; тогда возникающий образ, выплывший из далекой глубины воображения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

VIII

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке, была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полною точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее празд-

ника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первою зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали брички панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также недугующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны каплицы народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище

нищих, протягивавших руки за подаянием.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосной толпы, выкрикивание евреев-факторов, стук экипажей — весь этот грохот, катившийся какою-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь в одно беспрерывное, колыхавшееся, подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода

в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках, и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

— Под-дайте слипеньким… ра-а-ди Христа…

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихою дрожью озноба. Тем не менее даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в

виде этого страдальческого вопля.

— Что же ты испугался? — спросил Максим. — Это те самые счастливцы, которым ты недавно завидовал, — слепые нищие, которые просят здесь милостыню… Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

— Уйдем! — сказал Петр, хватая его за руку.

— А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердишься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных… я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие… Слышишь ты меня, Петр

Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу… Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но, черт возьми! я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть… Хведор Кандыба, ты здесь? — крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

— Тут я… Это вы кличете, Максим Михайлович?

— Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

— Приду, паночку. — И голос слепца опять примкнул к хору.

— Вот, ты увидишь человека, — сказал, сверкая глазами, Максим, — который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю… А ты…

— Пойдем, паничку, — сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

— Нет, постой! — гневно крикнул Максим. — Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели… С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволновано.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади среди слепых поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег…

IX

Было ли это следствием простуды, или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец,

то и другое соединилось вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался в постели с искаженным лицом, по временам к чему-то прислушиваясь, и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном весеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз, светлым весенним утром, яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

— Задерни занавеску… Я так боюсь этого света…

Девушка поднялась, чтобы исполнить приказание, но неожиданно раздавшийся в первый раз голос больного остановил ее:

— Нет, ничего. Пожалуйста… оставьте так…

Обе женщины радостно склонились над ним.

— Ты слышишь?.. Я здесь!.. — сказала мать.

— Да! — ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить. — Ах да!.. — заговорил он тихо и вдруг попытался подняться. — Тот… Федор

приходил уже? — спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой.

— Тише, тише! Не говори; тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыл ее поцелуями. На его глазах стояли слезы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и просили Максима держаться подальше. Но однажды Петр сам попросил позвать его и оставить их вдвоем.

Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил ее.

— Ну-ну, мой мальчик, — сказал он. — Я, кажется, должен просить у тебя прощения…

— Я понимаю, — тихо сказал Петр, отвечая на пожатие. — Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

— К черту уроки! — ответил Максим с гримасой нетерпения. — Слишком долго оставаться педагогом — это ужасно оглупляет. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя…

— Значит, ты действительно хотел, чтобы?..

— Хотел, хотел!.. Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится… Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим…

Оба замолчали…

— Эта песня, — через минуту сказал Петр, — я помнил ее даже во время бреда… А кто этот Федор, которого ты звал?

— Федор Кандыба, мой старый знакомый.

— Он тоже… родился слепым?

— Хуже: ему выжгло глаза на войне.

— И он ходит по свету и поет эту песню?

— Да, и кормит ею целый выводок сирот племянников. И еще находит для каждого веселое слово и шутку…

— Да? — задумчиво переспросил Петр. — Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы…

— Что ты хотел бы, мой мальчик?..

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо взволнованные разговором, который оборвался с ее приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с ее остатками. Недели через две Петр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты

лица — в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть.

Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напряженность ослаблена болезнью. Однажды в сумерки, подойдя в первый раз после болезни к фортепиано, Петр стал, по обыкновению, фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение. Но вот внезапно среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась… Петр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слезы. Видимо, он не мог еще справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжкой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь

зарождалась в нем, надломленная душа давала побеги, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием… Было, между прочим, решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоем.

X

Теплою июльскою ночью бричка, запряженная парою лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собою

длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от обжога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Кругом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

— Под-дайте сли-пеньким… — К жужжанию

колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк, видимо проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

— Бог спасет, — сказал он по направлению к бричке, в сиденьи которой виднелась квадратная фигура седого господина и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца… Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты… Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе…

— У тебя, Юрий, легкая рука, — сказал старик. — И играешь славно…

Через несколько минут средний слепец спросил:

— По обещанию идешь в Почаев?.. Для бога?

— Да, — тихо ответил юноша.

— Думаешь, прозришь?.. — спросил тот опять с

горькой улыбкой…

— Бывает, — мягко сказал старик.

— Давно хожу, а не встречал, — угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев.

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что все устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались всё дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы… Незрячие глаза расширя-

лись, ширилась грудь, слух еще обострялся; он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце… И странное дело — теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному… Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все росла.

Позднею осенью, по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у почаевской богоматери исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы… Когда Мак-

сим, продолжавший писать из Киева, наконец вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, никогда не прощу тебе этого». Но лицо ее противоречило суровым словам…

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше… Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра…

Глава седьмая

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

Тем не менее настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также, среди этих забот, в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село,

где на краю стояла теперь новая изба Федора Кандыбы и его рябого племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепли.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли — слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но кто знает — быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так, во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти

дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперед результаты.

— Он, наверное, слеп, — твердил он. — Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

— Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «ребенок видит!» — перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто про-

жгли в его мозгу огненную дорогу… Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма… Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно — оставалось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он

был так странен, что все невольно обратились к нему, и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот, прежний исчез, окруженный внезапно опустившеюся на него тайной.

И он был с этою тайной наедине несколько кратких мгновений… Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню, — теперь, в минуту внезапного экстаза, всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?..

И перед незрячими глазами встало синее небо, и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком… И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна… И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых…

Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом — солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или все это роилось бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим, и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской?..

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе, — аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущения природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно… казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму…

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание… Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета… Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пестрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но все еще стоял, озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима.

— Что это с тобой? — спросила мать встревоженным голосом.

— Ничего… мне кажется, что я… видел вас всех. Я ведь… не сплю?

— А теперь? — взволнованно спросила она. — Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

— Нет, — ответил он с усилием. — Но это ничего, потому что… Я отдал все это… ему… ребенку и… и всем…

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

Эпилог

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киеве, во время Контрактов[24], слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактовая зала была набита битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

---

[24] Примечания: 24

Напомним, что Контрактами называют киевскую ярмарку.

— Немудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, — говорил в толпе какой-то зоил своему соседу. — У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южнорусская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная контрактовая толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струею, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно

прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и

безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда — он прозрел», — думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной, среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик, — мысленно ободрял Максим, — настигай их среди веселья и счастья…»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых…

— Подайте слипеньким… р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не

жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда, под его влиянием, лицо Петра искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды… Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни…

Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел… На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных…»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой…

……

Так дебютировал слепой музыкант.

1886–1898

Птицы небесные
Рассказ

I

…В этот день монастырщина праздновала встречу иконы. Долго, месяца два уже странствовала «владычица» по разным местам и теперь возвращалась домой.

Первыми приехали на троечных тарантасах, с колокольцами и бубенцами, сопровождавшие ее отцы, привезшие в монастырь собранную за время странствий казну. Вид у них был здоровый, сытый и довольный. Потом из лесу повалили пестрые кучи передовых богомольцев, все гуще и гуще, пока, наконец, не сверкнул над головами золоченый оклад иконы, переливаясь на солнце.

Звенели колокола, блестели и колыхались хоругви, пение хора и топот тысячной толпы, точно прибывающая река, заполнили тихую монастырскую слободку.

Монастырщина ожила. В церкви пели молебны, на площади выкрикивали под холщовыми навесами торговцы и торговки, из «заведения»

слышались звуки гармоники и бубна, в избах слободки одна партия богомольцев сменяла другую за столами, на которых пыхтели огромные самовары.

Перед вечером вдруг пошел густой дождь, разогнавший с базара и толпу, и торговцев. На площади и на улицах стало тихо, только частые крупные капли плескались в лужах, да ветер метался и хлопал промокшими навесами, да из церкви слышалось стройное пение, а в глубине храма мелькали желтые огоньки свечей.

Когда туча вдруг снялась и поплыла на восток, волоча за собой над полями и над лесом изорванную пелену туманов, — на западе выглянуло солнце и ласково тронуло своими последними лучами окна слободки и кресты монастыря. Но оживление уже не вернулось на базарную площадь: богомольцы внесли тихую жажду отдыха после трудного пути, и день угасал вместе с последними нотами отходящей церковной службы. Даже бубен за стеной «заведения» громыхал изнеможенно и глухо.

Служба кончилась. В глубине храма свечи гасли одна за другой. Богомольцы расходились. У монастырского странноприимного дома стояли кучки странников и богомолок, ожидавших,

пока отец-гостиник разрешит вход просящим ночлега. На крыльцо вышел толстый монах и два послушника и принялись отделять овец от козлищ. Овцы входили в дверь, козлища изгонялись и ворча выходили в ворота. Когда эта процедура закончилась, у входа осталась кучка мордовок и фигура странника. По-видимому, их участь еще решалась отцом-гостиником, который ушел внутрь здания.

Через минуту вышли послушники и, сосчитав мордовок, пустили их в женское отделение. К одинокому страннику подошел старший послушник и, поклонившись, сказал:

— Прости, Христа ради, брат Варсонофий… Отец-гостиник не благословляет тебе остаться… Иди с миром.

По лицу молодого странника прошла болезненная улыбка, поразившая меня каким-то особенным драматизмом и значительностью. Лицо у него было тоже замечательное: очень горбоносое, худое, с горящими большими глазами. Острый шлык и чуть заметная заостренная бородка придавали этому лицу что-то необыкновенно характерное. Вся сухая фигура в старом подряснике, с тонкой шеей и выдающимся профилем, обращала невольное внимание. Впечатление

было резкое, тревожащее и беспокойное.

Выслушав слова послушника, странник поклонился и сказал:

— Бог спасет и на том…

Он повернулся, чтобы уйти, и вдруг пошатнулся. Видно было, что он болен и смертельно устал. Добродушный послушник посмотрел ему вслед и заколебался.

— Постой мало, брат Варсонофий… Схожу еще.

Странник облокотился на палку и застыл в ожидании. Но через минуту послушник опять вышел из двери и, смущенно подойдя к нему, сказал с видимым сожаленьем:

— Нет, не благословляет… Отец Нифонт донес ему, якобы тут странник один… вроде тебя… глаголет неподобная… смущает народ.

В лице странника мелькнуло что-то… Глаза его блеснули, как будто он хотел возразить, но потом поклонился и сказал:

— Благодарствуйте, отцы…

И он устало побрел со двора.

Послушник вопросительно посмотрел на меня. Я понял, что он собирается закрывать ворота, и тоже вышел на передний двор. Здесь было уже пусто. Молодой продавец монастырских калачей стоял еще за ларем, к которому никто не

подходил.

Вратарь закрыл за мною одну воротину, потом, тяжело упираясь ногами, стал закрывать и другую. В это время за воротами послышалась возня, затоптались несколько пар ног, щель опять раздвинулась, и в ней показалась невзрачная фигура в странницком костюме, рыжем и полинявшем. Ее невольными движениями управляла дюжая рука, державшая ее за шиворот. Крепкий толчок… Странник отлетел на несколько шагов и упал, а за ним вдогонку полетела котомка, потом другая… Небольшая книжечка в истрепанном кожаном переплете шлепнулась в грязь, шелестя по ветру листами.

— Вот эдак… — сказал за воротами жирный бас. — Не озоруйте…

— А что? — спросил голос вратаря.

— Как же, — ответил бас… — Из-за него вот отец-гостиник согрешил… человека прогнал… И человек-то хороший. Ох-хо… истинно грехи…

И говоривший удалился. Отец-вратарь сомкнул ворота, но не вполне: в щелку любопытно выглянули его маленькие глазки, толстый нос и светлые усы. Он с видимым интересом следил за дальнейшими намерениями извергнутого странника.

Последний успел подняться, взял котомки, вскинул их одну на спину, другую через плечо и потом, подняв книгу, старательно стал очищать ее от грязи. Кинув быстрый взгляд по двору, он заметил меня и калашника. Из-за наружных ворот, с площади, маленькое происшествие наблюдала кучка мужиков. Как будто сообразив что-то, странник приосанился, с демонстративным благоговением поцеловал переплет книги и отвесил саркастический поклон по направлению к внутренним воротам…

— Спасибо, отцы святые… Яко странного мя приясте и алчущего накормисте…

И вдруг, заметив в щели ворот усы и нос вратаря, он сказал другим тоном:

— Что смотришь? Или признал?

— Что-то будто… того… признавательно, — сказал привратник.

— Как же, как же!.. Приятели! К свиридовским мордовкам вместе бегали… Узнал теперь?..

Привратник громко и с негодованьем плюнул, сдвинул ворота и задвинул засов. Но ноги его в грубых сапогах еще некоторое время виднелись из-под ворот…

— Феньку вспоминаешь ли, отче?..

Ноги стыдливо скрылись…

Странник поправил грязную мурмолку и опять оглянулся. Привлеченные пикантным разговором человек шесть мужиков вошли в ворота. Это были ближайшие соседи монастыря, старообрядцы из ближних деревень, толкавшиеся по базару с видом равнодушного, пожалуй, несколько враждебного любопытства. Монастырь, далеко простирающий свое влияние, вблизи охвачен, точно кольцом, самым злющим, по выражению монахов, расколом. Среди окрестных жителей сложилась определенная легенда, что в самом недалеком будущем монастырю грозит участь Содома и Гоморры… Но пока монастырь живет и привлекает в свои праздники тысячные толпы народа. В такие дни фигуры соседей-старообрядцев как-то угрюмо выделяются в ликующей толпе, и на их лицах виднеется отчужденность и досада. Подобно пророку Ионе, они ропщут, что господь медлит совершить предреченную судьбу обреченной Ниневии.

Теперь они с злорадным любопытством смотрели на сцену у ворот обители нечестивых.

— Что? Видно, не пущают… — сказал один насмешливо. — Самим тесно… с мордовками-то…

Странник повернулся и кинул на говорящего острый взгляд. Но вдруг лицо его приняло сми-

ренное выражение, и, опять повернувшись к воротам, он трижды истово и широко перекрестился.

Мужики переглянулись с недоумением: странник крестился не щепотью, а старым двуперстным крестом.

— Господь, видящий всяческая, да воздаст мнихам по милосердию их, — сказал он со вздохом. — Мы же, братие, отрясши прах от ног своих, послушаем здесь, во храме нерукозданном (он указал красивым и спокойным движением на вечернее небо), поучительного слова о покаянии…

Мужики сомкнулись; на их лицах виднелось радостное и отчасти недоверчивое недоумение. Обращение было слишком уж неожиданно… Мысль устроить на чуждом празднике свое собеседование и у самых ворот монастыря послушать странствующего проповедника, знаменующегося старым крестом, — видимо, нравилась людям старой веры. Проповедник стоял у подножия колокольни. Ветер шевелил его запыленные светлые волосы.

Это был человек неопределенного возраста, но, очевидно, еще не старый. На лице у него лежал сильный загар, а волосы и глаза как будто выцвели от солнца и непогоды.

При каждом даже незначительном движении головы на шее у него резко выступали и шевелились сухожилия. Невольно чуялось в этом человеке что-то несчастное, чутко настороженное и, пожалуй, злое.

Он стал громко читать свою книгу. Читал хорошо, просто, убедительно и, по временам останавливаясь, вставлял собственные комментарии. Однажды он быстро взглянул на меня, но тотчас же отвел глаза. Казалось, мое присутствие было ему неприятно. После этого он обращался больше к одному из слушателей.

Это был широкоплечий приземистый мужик с фигурой, точно вырубленной двумя-тремя ударами топора. Несмотря на эту топорность фигуры, он оказался чрезвычайно экспансивным. За каждым словом проповедника он следил с увлечением и снабжал их собственными репликами, в которых неизменно звучала какая-то почти детская радость.

— Ах, братия… милые мои, — говорил он, оглядываясь… — Ах, премудро это насчет покаяния… Стало быть, выходит лествица?.. Вот-вот… А мы, грешные, по ей… с приступочки да на приступочку?.. Так, так…

— И все, значит, кверху да кверху… — пробасил

другой…

— Верно… Глядишь, и того… А?..

И он сияющими глазами окидывал собрание…

Однако его шумное вмешательство и его радость, по-видимому, не понравились проповеднику. Он вдруг остановился, слегка повернул голову, и сухожилия на его шее заходили, как веревки… Он как будто хотел сказать что-то, но сдержался и перевернул страницу.

Оказалось, что слушатели возрадовались преждевременно. В то самое время, когда они находятся на вершине ликования, — гордыня и излишнее упование отягчают лествицу. Она трещит, на лицах слушателей отражается испуг, лествица подламывается…

— Тепериче кончено! — говорит басистый мужик мрачно.

— Теперича ау, брат! — подхватывает первый. И странное дело: он опять оглядывает всех сияющими глазами, а в его голосе слышится та же радость… — Теперича нет нам ходу… И на первую приступочку не пустют.

Странник закрывает книгу и несколько секунд смотрит на говорящего упорным взглядом. Но мужик встречает этот взгляд с тем же радостным и доверчивым благодушием.

— Вы так… полагаете? — спрашивает проповедник.

— Полагаем, — отвечает спрошенный. — Сам посуди, милый человек… До каких же пор терпеть на нас?..

— Вы так полагаете? — опять говорит проповедник с натиском, и в голосе его звучит что-то, вызывающее на лице спрошенного признаки беспокойства…

— То есть вы полагаете предел долготерпению всевышнего. А известно ли вам, братие, что есть православная кафолическая церковь?..

Он перевертывает несколько страниц и начинает читать о духовном могуществе православной церкви. Лица слушателей темнеют. Проповедник останавливается и говорит:

— Православная кафолическая церковь… Не она ли сия спасительная лествица?.. Кто прибегает к ней — не может отчаяться. А вот… ежели…

На несколько секунд водворяется напряженное молчание. Странник стоит против кучки мужиков и, очевидно, держит в своих руках их настроение. Еще недавно они радостно следовали за ним, и не трудно было предвидеть последствия проповеди: люди старой веры готовы были пригласить к себе монастырского изгнанника.

Теперь они смущены и не знают, что думать…

— А вот ежели, — продолжает странник, отчеканивая слова, — кто отвержеся единой матери-церкви… кто полагает спастись в подпольях, с крысами… кто уповает на стриженые гуменца…

Басистый мужик резко повернулся и пошел прочь…

Его благодушный сотоварищ оглянулся с видом разочарованности и недоумения и кинул тоном полувопроса:

— Оканфузил?.. Ишь ты… Ай-ай-ай…

И последовал за другими. Раскольники угрюмо направились к воротам. Странник остался один. Его фигура резко выделялась на фоне колокольни, и в выцветших, когда-то синих глазах стояло странное выражение. По-видимому, он думал своей проповедью обеспечить себе ночлег, в котором ему отказали монахи. Почему же он вдруг изменил тон?..

Теперь во дворе нас было только трое: странник, я и молодой парень под калашным навесом. Странник кинул быстрый взгляд в мою сторону, но тотчас отвернулся и подошел к калашнику. Лицо молодого парня сияло от удовольствия.

— А ловко ты их, — сказал он. — Уж именно что оканфузил. Вишь, у всех на макушках-те гуменца

выстрижены… Черти горох молотили. Хо-хо-хо!

Парень залился веселым молодым смехом и принялся убирать с прилавка товар внутрь ларя.

Окончив это, он закрыл раздвижные дверцы и запер их на замок. Ларь был устроен удобно, в расчете на передвижение, — на колесиках и с нижним помещением. Парень, очевидно, намеревался ночевать тут же, у хозяйского добра.

— Одначе пора и на спокой, — сказал он, поглядев на небо.

На дворе и за воротами было тихо и пусто. На базаре тоже убирались с товаром. Парень покрестился на церковь и, открыв немного дверку, полез под ларь.

Вскоре оттуда показались его руки. Он старался изнутри приладить небольшую заслонку к отверстию.

Странник тоже оглянулся на небо, подумал несколько секунд и решительно подошел к ларю.

— Постой, Михайло! Я тебе, добрый человек, помогу.

Белец убрал руки и выглянул снизу вверх из своего убежища.

— Антон я, — сказал он простодушно.

— Ну, Антоша, давай помогу тебе.

— Ин помоги, спасибо скажу. Вишь, отседа трудно.

Простодушное лицо Антона скрылось.

— Убери-кось ноги-то маленько.

Антон исполнил и это распоряжение. Тогда странник спокойно отставил дверку, проворно наклонился, и я с удивлением увидел, как он быстро юркнул в отверстие. Началась возня: Антон двинул ногами, и часть страннической фигуры показалась было на мгновение наружи, но тотчас же втянулась опять.

Заинтересованный этим неожиданным оборотом, я почти инстинктивно подошел к ларю.

— А я закричу, пра, закричу, — услышал я оттуда гнусаво-жалобный голос Антона. — Вот ужо отцы опять накладут тебе в загорбок!

— А ты не кричи, Миша, зачем кричать? — убеждал странник.

— Какой я тебе Миша… говорю, меня Антоном кстили…

— В монашестве наречен будешь Михаилом. Помяни тогда мое слово… Тс-с-с! Тише, Антоша, помолчи-кось.

В ларе водворилось молчание.

— Чего? — спросил Антон. — Чего слухаешь?

— Слышь, стучит… Дождик ведь.

— Ну так что?.. Стучит… Закричать вот — отцы тебе лучше того настукают.

— Ну, что ты все заладил одно: закричу да закричу. А ты лучше не кричи. Что, я тебя съем, что ли? Я вот тебе еще про монашку сказку хорошую расскажу…

— Скрадешь, смотри, чего-нибудь.

— Грех тебе, Антоша, на странного человека клепать. Один-то калач и сам дашь. Не ел нынче — веришь ты богу…

— На вот, кусай черствый… Сам не съел… — И Антон зевнул с таким аппетитом, что всякая мысль о дальнейшем противодействии устранилась.

— А и ловко ты их, кулугуров-то, оканфузил, — добавил он, доканчивая аппетитный зевок, — уж это именно, что обличил.

— А отцов?

— Отцы на тебя плевать хотели… Обещал сказку сказать… Что ж не сказываешь?

— В некоторыем царстве, в некоторыем государстве, — начал странник, — в монастыре за каменной стеной жила-проживала, братец ты мой Антошенька, монашка… Уж такая проживала монашка-а, охо-хо-о-о…

— Ну…

— Ну, жила-проживала, сохла-горевала…

Молчание…

— Ну?.. Сказывай, что ли.

Опять молчание.

— Ну! Да ты что же? О ком горевала-то?.. — приставал заинтересованный Антон.

— Ступай ты ко псу, что пристал! Что я тебе за сказочник дался! Чай, за день-то я тридцать верст отмахал. Об тебе, дураке, и горевала, вот о ком. Не мешай спать!

Антон испустил какой-то звук, выразивший крайнее изумление.

— Н-ну и жох ты, посмотрю я на тебя, — сказал он с упреком.

— Право, лукавый, — послышалось еще через минуту, тише и как-то печально… — Н-ну-у лукавец… Эдакого лукавца я и не видывал…

В ларе все смолкло. Дождь все чаще стучал по наклонной крышке, земля почернела, лужи исчезали в темноте; монастырский сад шептал что-то, а здания за стеной беззащитно стояли под дождем, который журчал, стекая по водосточным трубам. Сторож за оградой стучал в промокшую трещотку.

II

На следующий день я с Андреем Ивановичем, товарищем многих моих путешествий, вышли в обратный путь. Шли мы не без приключений, ночевали в селе и оттуда опять тронулись не рано. Дорога совсем уже опустела от богомольцев, и трудно было представить себе, что по ней так еще недавно двигались толпы народа. Деревни имели будничный вид, в полях изредка белели фигуры работающих. В воздухе было душно и знойно.

Мой спутник, человек длинный, сухопарый и нервный, был сегодня нарочито мрачен и раздражителен. Это случалось с ним нередко под конец наших общих экскурсий. Но сегодня он был особенно не в духе и выказывал недовольство мною лично.

После полудня, в жару, мы уже совершенно надоели друг другу. Андрей Иванович почему-то считал нужным отдыхать без всякой причины в самых неудобных местах или, наоборот, желал непременно идти дальше, когда я предлагал отдохнуть.

Так мы достигли мостика. Небольшая речка тихо струилась среди сырой зелени, шевеля по поверхности головками кувшинок. Речка вытека-

ла изгибом и терялась за выступом берега, среди волнующихся нив.

— Отдохнем, — сказал я.

— Идти надо, — ответил Андрей Иванович.

Я сел на перила и закурил, а долговязая фигура Андрея Ивановича пронеслась дальше. Он поднялся на холмик и исчез.

Я наклонился к речке и задумался, считая себя совершенно одиноким, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и увидел на холме, под группою березок, двух человек. Лицо одного показалось мне совсем маленьким, почти детским. Оно тотчас же стыдливо скрылось за гребнем холмика, в траве. Другой был вчерашний проповедник. Лежа на земле, он спокойно смотрел на меня своими беззастенчивыми серыми глазами.

— Пожалуйте к нам, веселей вместе, — сказал он просто.

Я поднялся и с удивлением усмотрел ноги Андрея Ивановича из-за хлебов у дороги; он сидел невдалеке на меже, и дым его цигарки поднимался над колосьями. Сделав вид, что не заметил его, я подошел к странникам.

Тот, которого я принял за ребенка, — представлял из себя маленькое, тщедушное существо в полосатой ряске, с жидкими косицами около

узкого желтого лица, с вытянувшимся по-птичьи носом. Он все запахивал свою хламиду, беспокоился, ерзал на месте и, видимо, стыдился собственного существования.

— Садитесь, гости будете, — предложил мне проповедник, слегка подвигаясь; но в это время долговязая фигура Андрея Ивановича, как тень Банко, поднялась над хлебами.

— Идем, что ли? — произнес он не особенно ласково, далеко швыряя окурок.

— Я посижу, — ответил я.

— С дармоедами, видно, веселее… — И Андрей Иванович кинул на меня взгляд, полный горечи, как будто желая вложить в мою душу сознание неуместности моего предпочтения.

— Веселее, — ответил я.

— Ну и наплевать. Счастливо оставаться в хорошей каппании.

Он нахлобучил шапку и широко шагнул вперед, но, пройдя немного, остановился и, обернувшись, сказал с негодованием:

— Не зовите никогда! Подлый человек — не пойду с вами больше. И не смейте звать! Отказываю.

— Звать или не звать — это дело мое… а идти или не идти — ваше.

— Сурьезный господин! — мотнул странник

головой в сторону удаляющегося.

— Не одобряют нас, — как-то горестно не то вздохнул, не то пискнул маленький человечек.

— Не за что и одобрять, пожалуй, — равнодушно заметил проповедник и обратился ко мне: — Нет ли папиросочки, господин?

— Пожалуйста.

Я протянул ему портсигар. Он взял оттуда две папироски, одну закурил, а другую положил рядом. Маленький странник истолковал это обстоятельство в смысле, благоприятном для себя, и не совсем решительно потянулся за свободной папироской. Но проповедник совершенно спокойно убрал папиросу у него из-под руки и переложил ее на другую сторону. Маленький человечек сконфузился, опять что-то стыдливо пискнул и запахнулся халатом.

Я подал ему другую папироску. Это сконфузило его еще более — его худые прозрачные пальцы дрожали; он грустно и застенчиво улыбнулся.

— Не умею просить-с… — сказал он стыдливо. — Автономов и то меня началит, началит… Не могу-с…

— Кто это Автономов? — спросил я.

— Я это — Геннадий Автономов, — сказал проповедник, строго глядя на маленького сото-

варища. Тот потупился под его взглядом и низко опустил желтое лицо. Жидкие косицы свесились и вздрагивали.

— По обещанию здоровья ходили или так? — спросил у меня Автономов.

— Так, из любопытства… А вы куда путешествуете?

Он посмотрел в пространство и ответил:

— В Париж и поближе, в Италию и далее… — И, заметив мое недоумение, прибавил: — Избаловался… шатаюсь беспутно, куда глаза глядят. Одиннадцать лет…

Он сказал это с оттенком грусти, тихо выпуская табачный дым и следя глазами, как синие струйки таяли в воздухе. В лице его мелькнуло что-то новое, не замеченное мною прежде.

— Испорченная жизнь, синьор! Загубленное существование, достойное лучшей участи.

Грустная черта исчезла, и он докончил высокопарно, поводя в воздухе папиросой:

— И однако, милостивый государь, странник не согласится променять свою свободу на роскошные палаты.

В это время какая-то смелая маленькая пташка, пролетев над нашими головами, точно брошенный комок земли, уселась на нижней ветке

березы и принялась чиликать, не обращая ни малейшего внимания на наше присутствие. Лицо маленького странника приподнялось и замерло в смешном умилении. Он шевелил в такт своими тонкими губами и при удачном окончании какого-нибудь колена поглядывал на нас торжествующими, смеющимися и слезящимися глазами.

— Ах, боже ты мой! — сказал он наконец, когда пташка, окончив песню, вспорхнула и улетела дальше. — Творение божие… Воспела, сколько ей было надо, воздала хвалу и улетела восвояси. Ах ты миляга!.. Ей-богу, право.

Он радостно посмотрел на нас, потом сконфузился, смолк и запахнул ряску, а Автономов сделал опять жест рукой и прибавил в поучительном тоне:

— Возрите на птицы небесные. И мы, синьор, — те же птицы. Не сеем, не жнем и в житницы не собираем…

— Вы учились в семинарии? — спросил я.

— Учился. А впрочем, об этом, синьор, много говорить, а мало, как говорится, слушать. Между тем что-то, как видится, затягивает горизонт облаками. Ну, Иван Иванович, вставай, товарищ, подымайся! Жребий странника — путь-дорога,

а не отдохновение. Позвольте пожелать всякого благополучия.

Он кивнул головой и быстро пошел по дороге. Шагал он размашисто и ровно, упираясь длинным посохом и откидывая его с каждым шагом назад. Ветер развевал полы его рясы, спина с котомкой выгнулась, бородка клином торчала вперед. Казалось, вся эта обожженная солнцем, высушенная и обветрелая фигура создана для бедного русского простора с темными деревушками вдали и задумчиво набирающимися на небе тучами.

— Ученый! — грустно махнул головой Иван Иванович, подвязывая дрожащими руками котомку. — Умнейшая голова! Но между тем пропадает ничтожным образом, как и я же. На одной степени… Мы и странники-то с ним, господи прости, самые последние…

— Почему это?

— Помилуйте! Как же можно. Настоящий странник — у него котомка хорошая, подрясничек или кафтан, сапоги, например… одним словом — окопировка наблюдается во всяком, позвольте сказать, сословии. А мы! Чай, уж видите сами. Иду, иду, Геннадий Сергеевич, иду-с. Сию минуту!

Маленький человечек вскоре догнал на дороге своего товарища. Думая, что у них были свои причины не приглашать меня с собой, я посидел еще на холме, глядя, как из-за леса тихо, задумчиво и незаметно, точно крадучись, раскидывалось по небу большое облако, и затем поплелся один, с сожалением вспоминая об Андрее Ивановиче.

Было тихо, грустно. Колосья колыхались и сухо шуршали… Где-то очень далеко за лесами ворчал гром и по временам пролетала в воздухе крупная капля дождя.

Но угрозы были напрасны. Под вечер я подходил уже к деревне К., а дождя все еще не было, только туча все так же тихо надвигалась, нависала и ползла дальше, уменьшая дневной свет, и гром погромыхивал ближе.

III

К моему изумлению, на завалинке одной из крайних изб деревни я увидел Андрея Ивановича. Он сидел, протянув длинные ноги чуть не до середины улицы, и при моем приближении придал своему лицу выражение величавого пренебрежения.

— Что вы тут делаете, Андрей Иванович?

— Чай пил. Думаете, вас дожидался? Не вообра-

жайте. Пройдет туча — отправлюсь дальше.

— И отлично.

— А хваленые-то ваши…

— Кто это мои хваленые?..

— Странники-то, божьи люди… Полюбуйтесь, чего делают вон в соседней избе! Нет, вы посмотрите, ничего, не стыдитесь, пожалуйста…

Я подошел к окну. Изба была полна. Мужики из этого села в это время все на промыслах, поэтому тут было одно женское население. Несколько молодок и девушек прошмыгнули еще мимо меня. Окна были открыты и освещены, и из них слышался ровный голос Автономова. Он поучал раскольниц.

— Пожалуйте к нам, — услышал я вдруг тихий голос Ивана Ивановича. Он стоял в темном углу у ворот.

— Что вы тут делаете?

— Народ обманывают. Чего делают, — резко отозвался Андрей Иванович.

Маленький странник закашлялся и, покосившись на Андрея Ивановича, сказал:

— Что делать-с, господин…

Он наклонился ко мне и зашептал:

— Раскольницы-бабы Геннадия Сергеевича за попа считают, за беглого. Темнота-с. Что делать-

с… Может, не взыщется. А между прочим, нечего делать-с. Не войдете ли?

— Войдемте, Андрей Иванович.

— Чего я там не видал? — ответил он, отворачиваясь. — Идите — целуйтесь с ними. А я об себе так понимаю, что мне и быть-то там не для чего, потому что на мне крест.

— Чай, и мы не без крестов, — с тихим упреком сказал Иван Иванович.

Андрей Иванович презрительно свистнул и вдруг, сделав очень серьезное лицо, подозвал меня.

— Сонму нечестивую знаете?

И, загадочно посмотрев на меня, он добавил тише:

— Поняли?

— Нет, не понял. До свидания. Хотите — дожидайтесь.

— Нечего нам дожидаться. Которые люди не понимают…

Я уже не слышал конца фразы, потому что входил вместе с Иваном Ивановичем в избу.

При нашем входе произошло легкое движение. Проповедник заметил меня и остановился.

— А! Милости просим, — сказал он, раздвигая баб. — Пожалуйте. Не чайку ли захотели испить?

Здесь самоварчик найдется, даром что раскольничья деревня.

— Я вам помешал?

— Какая помеха. Хозяйка, ну-ко самоварчик! Живее!

— А ты нешто потребляешь чайную травку? — спросила стоявшая впереди полногрудая молодка с бойкими, черными как уголь глазами.

— Если господин пожелает угостить — с удовольствием… и другого чего выпью… — сказал, глядя на меня, Автономов.

— Пожалуйста, — сказал я.

— Позвольте папиросочку.

Я подал. Он закурил, насмешливо оглядывая удивленных женщин. В избе прошло негодующее шушуканье.

— А ты, видно, сосешь-таки? — язвительно спросила та же молодка.

— Сосу… по писанию. Разрешается.

— А в коем это писании, — научи-кось.

Он докурил и через головы молодиц бросил папироску в лохань с водой.

— Еще кидатца, — с неудовольствием сказала хозяйка, возившаяся около самовара.

— Не кидай, озорной, пожару наделаешь, — поддержала другая.

— Пожару? У вас поэтому из колодцев не выкидывало ли, огнем из печи не тушите ли?

— А ты што думаешь? Ноне все бывает. Ноне вон и попы табак жрут.

— Бывает, бывает. Ишь голос, что колокол. Тебе бы в певчие, в монастырь. Пойдем со мной.

Он потянулся к ней. Она ловко увернулась, изогнувшись красивым станом, между тем как другие бабы, смеясь и отплевываясь, выбегали из избы.

— Н-ну и поп! — с наивным ужасом сказала худая бабенка, с детски открытыми глазами. — Учи-и-тель!

— Он те научит.

— Научи-ко нас, — опять насмешливо сказала солдатка, выступая вперед и подпирая щеку полной рукой. — Научи такой заповеди, котора легка и милослива.

— Ну-ну! Мы за тебя до плеч воздохнем.

— И научу. А как тебя зовут, красавица?

— Зовут зовутицёй, величают серой утицей. Тебе на што?

— А ты вот что, серая утица. Достань нам водочки, небось вот они заплатят.

— Достать, что ли? Мы достанем.

Она вопросительно и лукаво посмотрела на

меня.

— Пожалуй… немного, — сказал я.

Солдатка шмыгнула из избы. За ней, смеясь, хихикая и толкаясь, выбежало еще две-три женщины. Хозяйка с мрачным видом уставила на стол самовар и, не говоря ни слова, села на лавку и принялась за работу. С полатей, свесивши русые головы, глядели на нас любопытные детские лица.

Солдатка, смеясь и запыхавшись, поставила на стол бутылку с какой-то зеленоватой жидкостью и, отойдя от стола, насмешливо и вызывающе посмотрела на нас. Иван Иванович конфузливо кашлял, оставшиеся в избе безмужницы смотрели на нас с затаенным ожиданием. После первых рюмок недавний проповедник, подняв полы своей ряски, ходил, притопывая, вокруг серой утицы, которая змеей извивалась, уклоняясь от его любезностей.

— Поди ты! — отмахнулась она и, кинув на меня задорно-вызывающий взгляд, подошла к столу.

— А ты что же сам-то не пьешь? Гляди на них, — они, пожалуй, и все вылакают. Испей-кось.

Улыбаясь и играя плечами, она налила рюмку и поднесла мне.

— Не пейте… — вдруг раздался совсем неожи-

данно зловещий голос из-за окна, и из темноты появилось скуластое лицо Андрея Ивановича. — Водки не пейте, я вам говорю! — проговорил он еще мрачнее и опять исчез в темноте.

Рюмка у солдатки дрогнула и расплескалась. Она глядела в окно испуганными глазами.

— С нами крестная сила — это что такое?

Всем стало неловко. Водка приходила к концу, и вопрос состоял в том, потребуем ли мы еще и развернемся окончательно или на этом кончим. Иван Иванович посмотрел на меня с робкой тоской, но у меня не было ни малейшего желания продолжать этот пир. Автономов сразу понял это.

— Действительно, не пора ли в путь, — сказал он, подходя к окну.

— Чать, на дворе-то дождик, — произнесла солдатка, глядя как-то в сторону.

— Нет. Облака порядочные… да, видно, сухие… Собирайся, Иван Иванович.

Мы стали собираться. Первым вышел Иван Иванович. Когда, за ним, я тоже спустился в темный крытый двор — он тихо сказал, взяв меня за руку:

— А тот-то, долговязый. Вон у ворот дожидается.

Я действительно разглядел Андрея Ивановича у калитки. Автономов с котомкой и своим посохом вышел на крыльцо, держа за руку солдатку. Обе фигуры виднелись в освещенных дверях. Солдатка не отнимала руки.

— Только от вас и было? — говорила она разочарованно. — Мы думали — разгуляетесь.

— Погоди, в другой раз пойду — разбогатею.

Она посмотрела на него и покачала головой.

— Где поди! Не разбогатеть тебе. Так пропадешь, пусто…

— Ну не каркай, ворона… Скажи лучше: дьячок Ириней все на погосте живет?

— Щуровской-то? Живет. Ноне на базар уехал. Тебе на што?

— Так. А… дочь у него была, Грунюшка.

— Взамуж она выдана.

— Далеко?

— В село в Воскресенское, за диаконом… Одна ноне старушка-те осталась.

— Ириней, говоришь, не возвращался?

— Не видали что-то.

— А живет богато?

— Ничего, ровненько живет.

— Ну прощай!.. Эх ты, Глаша-а!

— Ну-ну! Не звони… Видно, хороша Глаша, да

не ваша. Ступай ужо — нечего тут понапрасну.

В голосе деревенской красавицы слышалось ласковое сожаление.

За воротами темная фигура Андрея Ивановича, отделившись от калитки, примкнула к нам, между тем как Автономов обогнал нас и пошел молча вперед.

— Вы бы до утра сидели, — угрюмо сказал Андрей Иванович. — А я тут дожидайся!

— Напрасно, — ответил я холодно.

— Это как понимать? В каком смысле?

— Да просто: шли бы, если вам неприятно…

— Нет уж. Спасибо на добром слове — я товарища покидать не согласен. Лучше сам пострадаю, а товарища не оставлю… Этак же в третьем годе Иван Анисимович. Ничего да ничего, выпивал да выпивал в хорошей канпании…

— Ну и что же?

— Жилетку сняли, вот что!.. Денег три рубля двадцать… портмонет новый…

— Ежели вы это насчет нас с Геннадием намек имеете, — заговорил Иван Иванович, торопясь и взволнованным голосом, — то это довольно подло. Это что же-с?.. Ежели у вас сомнение — мы можем вперед или отстанем…

— Пожалуйста, не обращайте внимания, — ска-

зал я, желая успокоить беднягу.

— Что такое? — спросил вдруг Автономов, остановившийся на дороге. — Из-за чего разговор?

— Да вот они все… сомневаются. Господи помилуй! Неужто мы какие-нибудь, прости господи, разбойники.

Геннадий вгляделся в темноте в лицо Андрея Ивановича.

— А! долговязый господин!.. Ну что ж! — сказал он сухо. — «Блажен, кто никому не верит и всех своим аршином мерит…» Дорога широкая…

И он опять быстро пошел вперед, а за ним побежал трусцой маленький товарищ. Андрей Иванович несколько секунд стоял на месте, ошеломленный тем, что странник ответил ему в рифму. Он было двинулся вдогонку, но я остановил его за руку.

— Что это вам неймется, право! — сказал я с досадой.

— А вам хороших товарищей жалко? — сказал он язвительно… — Не беспокойтесь, пожалуйста. Сами далеко не уйдут…

И действительно, за последними избами на дороге зачернела фигура. Это был Иван Иванович, но один…

Он стоял посередине дороги, тяжело дышал и

кашлял, держась за грудь.

— Что это с вами? — спросил я с участием.

— Ох-хо! Смерть моя… Ушел… Геннадий-то… Не велит вместе идти… Велит с вами. Не поспеваю за ним.

— Сделайте одолжение. А дорогу вы знаете?

— Дорога пока большая. Да он где-нибудь догонит…

— Ну и отлично.

Мы пошли в темноту… Назади тявкнула собака; оглянувшись, я увидел два-три огня деревни, которая скоро скрылась из виду.

IV

Ночь была беззвездная, тихая. Горизонт еще выделялся где-то неясной чертой, блуждавшей под облаками, но ниже клубилась лишь густая мгла, бесконечная, неопределенная, без форм и очертаний…

Мы довольно долго шли молча. Странник то и дело робко вздыхал и старался подавить кашель.

— Автономова-то не видно… — говорил он по временам и беспомощно вглядывался в темную ночь.

— Мы-то его не видим… Он нас видит небось, — сказал Андрей Иванович зловеще и значитель-

но.

Дорога казалась какой-то смутной полоской, точно мост, кинутый через пропасть… Все кругом было черно и смутно. Была или нет светлая полоска на горизонте? Теперь от нее нет и следов. Неужели так еще недавно мы были в шумной избе, среди смеха и говора?.. Будет ли конец этой ночи, этому полю? Подвинулись мы вперед, или это только дорога уходит у нас из под ног, точно бесконечная лента, а мы все толчемся на месте, в этом заколдованном клочке темноты? И невольная робкая радость зарождалась в душе, когда впереди начинал вдруг тихо журчать невидимый ручей, когда это журчание усиливалось и потом замирало сзади, за нами, или ветер, внезапно поднявшись, шевелил чуть заметные кусты ивняка в стороне от дороги и потом опадал, указывая, что мы их миновали…

— Ну и ночка выдалась, — сказал Андрей Иванович, против своего обыкновения, тихо. — Дурак и тот, кого в этакие ночи нелегкая носит по дорогам. И чего, спрашивается, нужно нам? Поработал день, отдохнул, чаю попил, богу помолился — спать. Нет, не нравится, вишь… давай по дорогам шататься. Это нам благоприятнее. Ноне вот уж чуть не полночи, а мы и лба не перекрестили.

Молельщики!..

Я не ответил. В голове Андрея Ивановича, очевидно, продолжали тянуться покаянные мысли.

— Мало нас бабы учут, — сказал он мрачно… — Не живется нам дома. А чего бы, кажись, и надо…

— А что, Автономова-то не видно? — раздался опять тоскливый голос маленького странника.

— Нет, не видать, — буркнул Андрей Иванович.

— Беда моя, — сказал странник в глубокой тоске. — Бросил меня мой покровитель.

В его голосе было столько отчаяния, что мы оба невольно стали глядеть вперед, стараясь разыскать потерянного Автономова. Вдруг, довольно далеко в стороне, что-то стукнуло — точно доска на дырявом мостике под чьей-то ногой.

— Там он! — сказал Андрей Иванович. — Влево пошел. Надо полагать, дорога повернула.

Действительно, невдалеке дорога раздвоилась. Мы тоже пошли влево. Иван Иванович вздохнул с облегчением.

— Да что ты сокрушаешься? — спросил Андрей Иванович. — Что он тебе, брат, что ли? Вот невидаль, с позволения сказать…

— Пуще брата. Без него должен пропасть: по-

тому, собственно, просить не умею. А в нашем состоянии без этого — прямо погибель…

— Зачем таскаешься?

Странник помолчал, как будто ему трудно было ответить на вопрос.

— Приют ищу. Куда-нибудь в монастырь… С малых лет приважен к монастырской жизни.

— Так и жил бы в монастыре.

— Слабость имею… — чуть слышно и застенчиво сказал Иван Иванович…

— Пьешь небось горькую…

— То-то вот. Испорчен с младых лет.

— Порча!.. Все небось бес виноват…

— Бес, говорите… Оно конечно… Прежде, когда в народе крепость была… *ему* много работы было: который, например, скажем, подвижник неослабного житья… Въяве с бесами состязались… А ныне слабость наша… Нынче такая в народе преклонность.

— Д-да… — согласился Андрей Иванович. — Нынче уж и нечистому много легче… Житье ему с нами, ей-богу. Лежи, миляга, на печке… Сами к тебе придем, друг друга приведем… Принимай только…

Странник глубоко вздохнул…

— Ах, как вы это верно говорите!.. — сказал он

печально. — Вот о себе скажу, — зашептал он, будто не желая, чтобы его слова слышал кто-то там, в темноте ночи, в стороне от дороги, — от кого погибаю? От родной матери да от отца-настоятеля.

— Ну-у? — изумился Андрей Иванович, тоже тихо.

— Верно!.. Грешно, конечно, родительницу-покойницу осуждать, царствие ей небесное (он снял шляпенку и перекрестился), а все думаю: отдай она меня в ремесло — может, человек был бы, как и прочие… Нет. Легкого хлеба своему дитяти захотела, прости ее господи…

— Ну, ну? — поощрил Андрей Иванович.

— Именно-с… — продолжал Иван Иванович печально, — в прежние времена, пишут вот в книгах, родители всячески противились, отроки тайно в кельи уходили для подвига… А моя родительница сама своими руками меня в монастырь предоставила: может, дескать, даже во дьячки произойти.

— Так, так!

— А прежде, надо вам сказать, подлинно было это, производили из монастырей во псаломщики и далее… только к моему-то времени и отменили!

— Вот-те и чин!

— Да!.. Вот матушка опять: «Оставайся, когда так, в монастыре вовсе… Дескать, и то хлеб легкий. Притом и настоятель тебя любит…» Ну, это правда: возлюбил меня отец-настоятель, к себе в послушники взял. Но только ежели человеку незадача, то счастие на несчастие обернется. Воистину скажу: не от диавольского искушения-с… через ангела погибаю…

— Что ты говоришь! — удивился Андрей Иванович.

— Истинную правду… Настоятель у нас был добрейшей души человек, незлобивый, и притом строгой жизни… Ну, только имел тайную слабость: от времени до времени запивал. Тихо, благородно. Запрется от всех и пьет дня три и четыре. Не больше. И потом сразу бросит… Твердый был человек… Но, однако… в таком своем состоянии… скучал. И потому призовет меня и говорит: «Прискорбна душа моя… Возьми, Ваня, подвиг послушания. Побудь ты, младенец невинный, со мною, окаянным грешником». Ну, я, бывало, и сижу слушаю, как он, в слабости своей, говорит с кем-то и плачет… Дело мое, конечно, слабое: когда не возмогу и засну. Вот он раз и говорит: «Выпей, Ваня, для ободрения. — И налил рюмочку

наливки… — Только, говорит, поклянись, что без меня никогда не станешь пить, ниже единой…»

— Вот оно что-о-о? — протянул Андрей Иванович многозначительно.

— Я, конечно, поклялся. И налил он мне рюмочку наливки… Так и пошло. Сначала понемножку, а потом… Отец-настоятель мощный был человек: сколько, бывало, ни пьет, все крепок. А я, известно… с трех-четырех рюмок — с ног долой… Спохватился он и запретил мне великим прещением. Ну, да уж поздно. При нем не пью, а ключи-то от шкапа у меня… Стал я тайным образом потягивать… Дальше да больше… Уж иной раз и на ногах не стою. Он сначала думал — это я от прежнего похмелья, по слабости своей, маюсь. Но однажды посмотрел на меня проницательно и говорит: «Ванюша… хочешь рюмочку?..» Я так и затрессся весь от вожделения. Догадался он. Взял посох, сгреб меня за волосы и поучил с рассуждением… Здоровый был, боялся изувечить… Ну, это не помогло. Дальше да больше… Видит он, что я от его слабости погибаю… Призывает меня и говорит: «Прости ты меня, Ванюшка, но нужно тебе искус пройти. Иначе погибнешь… Иди, постранствуй… Примешь горя, может, исцелишься. Я тут о тебе буду молиться… А через год, говорит,

в это самое число приходи обратно… Приму тя, яко блудного сына…» Благословил. Заплакал. Призвал руфального… Это значит — заведующего монашеской одежей… Велел снарядить меня на дорогу… Сам напутственный молебен отслужил… И пошел я, раб божий, августа двадцать девятого, в день усекновения главы, на подвиг странствия…

Рассказчик опять замолчал, переводя дух и кашляя. Андрей Иванович участливо остановился, и мы втроем стояли на темной дороге. Наконец Иван Иванович отдышался, и мы опять тронулись дальше…

— Вот и ходил я лето и зиму. Тяжело было, горя принял — и-и! в разные монастыри толкался. Где я не ко двору, где и мне не по характеру. Наш монастырь — штатный, богатый, привык я к сладкой жизни. А после-то уж в штатный не принимали, а в общежительном, Кирилло-Новоезерском, и приняли, так и самому черно показалось: чаю мало, табачку и вовсе нет; монахи — одни мужики… Послушание тяжелое, работа черная…

— А ведь это не любо, после легкой жизни, — сказал Андрей Иванович.

— Истинно говорю: не под силу вовсе, — смиренно вздохнул Иван Иванович. — Бремена

неудобносимые… Притом и святость в черном виде. Благолепия нет… Народу много, а на клиросе петь некому… Истинно козлогласование одно…

— А тут-то вот святость и есть! — сказал Андрей Иванович с убеждением.

— Нет, позвольте вам сказать, — не менее убежденно возразил Иван Иванович, — это вы не так говорите… Монастырское благолепие не в том-с… Монах должен быть истонченный, головка у него что былинка на стебельке… еле держится… Это есть украшение обители… Ну, таких малое число. А рядовой монах бывает гладкий, с лица чистый, голос бархатный. Таких и благодетели, и женский пол уважают. А мужику, позвольте сказать, ни в коем звании почета нет…

— Ну ладно… Что же дальше-то? — сказал Андрей Иванович, немного сбитый с толку уверенным заявлением компетентного человека.

— Да что дальше! — с грустью сказал странник… — Ходил я год. Отощал, обносился… Пуще всего страдаю от совести, просить не умею… Ждал, ждал этого сроку — вот домой, вот домой, в свою келийку. Про отца-настоятеля уж именно как про отца родного вспоминал, за любовь за его. Наконец как раз августа двадцать девятого прихожу. Вхожу, знаете, во двор, и что-то у меня

сердце смущается. Идут по двору служки наши монастырские… Узнали… «Что, мол, вернулся, странниче Иоанне?» — «Вернулся, говорю. Жив ли благодетель мой?..» — «Опоздал ты, говорят, благодетеля давно схоронили. Сподобился: с воскресным тропарем отыде. Вспоминал про тебя, плакал… хотел наградить… А теперь новый настоятель… Варвар. И не являйся». А что, — опять спохватился он тревожно. — Автономова-то не видно?

И в его голосе слышались испуг и тоска.

V

Андрей Иванович вгляделся в темноту и вдруг, схватив меня за руку, сказал:

— Постойте, не туда пошли мы…

— Что такое?

— Да уж верно я говорю: не туда!.. Подождите меня… Я сбегаю посмотрю…

И он быстро исчез в темноте. Мы с Иваном Ивановичем остались одни на дороге. Когда шаги сапожника стихли, слышался только тихий шорох ночи. Где-то шелестела трава, по временам коростель хрипло «дергал», тревожно перебегая с места на место. Где-то еще, очень далеко, мечтательно звенели и ухали в болоте лягушки. Тучи,

чуть видные, тянулись в вышине.

— Вот… любит мой товарищ ходить по ночам, — жалобно произнес Иван Иванович. — А что хорошего? То ли дело днем?

— А он тоже в монастыре был?

— Бывал, — ответил Иван Иванович и потом прибавил со вздохом: — Из хорошей семьи — отец диаконом был в городе N-м. Может, слыхали… Брат письмоводителем в полицейском правлении, невеста была сосватана…

— Отчего же не женился?

— Видите ли… Он уж в это время сбился с пути… был в бегах… Ну, только еще не на странницком положении. Одежонка была, не обносился… И выдал себя будто за жениха. Приняли; девица взирала благосклонно, отец дьячок тоже не препятствовал… Ох… хо… Грех, конечно… обманул… Как начнет иной раз рассказывать, заплачешь, а другой раз смешно-с…

С Иваном Ивановичем случилось что-то странное. Он прыснул и стал как-то захлебываться, закрывая рукою рот… Сначала трудно было разобрать, что это смех. Но это был действительно смех… истерический, застенчивый, какими-то взрывами, который перешел в приступ кашля… Успокоившись, Иван Иванович прибавил с полу-

сожалением:

— Только рассказывает каждый раз по-иному-с… Не поймешь: не то правда… не то…

— Не то врет?

— Не то чтобы… А только не вполне достоверно… Есть, видно, и правда…

— Что же именно он рассказывает?

— Видите ли… Дьячок-то, говорит, хитрый. Видит, что молодой человек проводит время, а между тем настоящего дела не предпринимает, он — под видом базару — поехал в город, а в дому старушку бабушку оставил, приказал строго-настрого с глаз не спускать. Автономов — не у них, конечно, жил… На селе у просвирни… Ну, в гости захаживал. Каждодневно… На бережку сиживали… И бабушка тут… Да где же, конечно, уследить… Молодежь… Только раз, видит мой Автономов, едут из города двое в телеге… и пьяные притом. Подъехали, глядь, а это дьячок да с братом с Автономовым-старшим, с письмоводителем. Не успел он и оглянуться — уж они на него навалились, давай тузить. Понятное дело: брат обижается за побег из семинарии, дьячок — за обманутие и бесчестие…

Иван Иванович вздохнул.

— Еле жив тогда остался, говорит… Потому что

ожесточившись и притом пьяные… Бросился к просвирне, схватил котомку да в лес… С тех пор, говорит, и пошел странствовать… Ну, другой раз действительно… иначе рассказывает…

Он подошел ко мне и, приподнявшись на цыпочки, хотел сказать что-то особенно конфиденциальное… Но вдруг около нас, прямо из темноты, вынырнула фигура Андрея Ивановича. Он подошел быстро с нарочито зловещим видом.

— Подите-ка сюда. — Он отвел меня в сторону и сказал тихо: — Попали мы с вами в дело!

— Что такое?

— Автономов-то этот… Монах… На воровство, кажется, пошел… Будет нам в чужом пиру похмелье…

— Полноте, Андрей Иванович.

— Вот вам и полно. Слыхали вы, как он в селе допрашивал? У солдатки-то? Про дьячка-то? Дескать, дьячок дома ли, или уехал?

— Ну, помню.

— А где этот дьячок-то живет, помните?

— На погосте, кажется.

— Самый погост! — сказал Андрей Иванович злорадно, махнув рукой вперед, в темноту.

— Ну, так что же?

— А то, что… Старуха, слыхали вы, одна оста-

лась… А он уж тут как тут… Ходит кругом двора, высматривает. Сами увидите… Вот вы на кого товарища давнего променять согласны… Кабы на мостике да не доска под ним скрипнула — мы бы тогда и пошли дальше дорогой… А уж это я своротил… Пойдем, пойдем тихонько…

Сзади кто-то жалобно кашлянул. Андрей Иванович оглянулся и сказал:

— Ну, иди и ты с нами, настоятельский послушник… Что с тобой делать. Полюбуйся на товарища…

Пройдя через мостик, мы поднялись круто по дорожке и подошли к погосту. На пригорке из-за листвы ровно светил огонек… Я разглядел чуть белевшие стены небольшого домика, выдвинувшегося на край обрыва, и из-за его крыши грузно вырезались темные очертания колокольни. Вправо, внизу, скорее можно было угадать, чем увидеть речку.

— Вот он, — сказал Андрей Иванович. — Видите?

Невдалеке от нас, между палисадником и обрывом, около беседки, обвитой зеленью, мелькнула фигура. Человек точно прилипал и жался к забору, заглядывая через кусты. На фоне светлого окна, в глубине садика, я увидел острую мур-

молку, вытянутую шею и характерный профиль Автономова. Свет рассыпался по листьям кустов и по цветам сирени. Подойдя несколько ближе, я разглядел в окне голову старухи, в чепце и роговых очках. Голова покачивалась, как у человека, работающего от бессонницы, и спицы проворно бегали в руках. Старуха, вероятно, ждала возвращения хозяина.

Вдруг она насторожилась… Из темноты послышался нерешительный оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Старушка наклонилась к окну, но никого не было видно.

Прошла минута в молчании, и опять из темноты раздался тот же оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Я не узнавал теперь голоса Автономова. Он звучал мягко и робко.

— Кто тут? — встрепенулась вдруг старуха. — Кто меня зовет?..

— Я это… Автономова не припомните ли?.. Когда-то были знакомы…

— Какого тебе, батюшка, Автономова… Нет у нас такого… Не знаю я… Я, батюшка, сейчас людей позову. Федосья, а Федосья!.. Беги сюда…

— Не зовите, матушка… я вас не побеспокою…

Неужто Автономова забыли?.. Генашей звали когда-то…

Старуха поднялась с места и, взяв свечу, высунулась с нею из окна. Ветра не было. Пламя стояло ровно, освещая кусты, стены дома и морщинистое лицо старухи с очками, поднятыми на лоб…

— Голос-то будто знакомый… Да где ж ты это?.. Покажись, когда добрый человек…

Она подняла свечу над головой, и луч света упал на Автономова. Старуха сначала отшатнулась, но… В это время дверь открылась, и в комнату вошла другая женщина. Старуха ободрилась и опять осветила Автономова…

— Хорош, — сказала она безжалостно… — Женишок, нечего сказать… Зачем же это ты тут под окнами шатаешься?..

— Мимоходом, Олимпиада Николаевна…

— Мимоходом, так и шел бы мимо… Смотри, хозяин вернется, собак спустит.

Она захлопнула окно и спустила занавеску… Кусты сразу погасли… Фигура Автономова исчезла в темноте.

Нам тоже не мешало подумать об отступлении, и мы быстро спустились с пригорка… Через несколько минут с колокольни послышались удары… Кто-то, по-видимому, хотел показать, что

на погосте есть люди…

Андрей Иванович шел молча и в раздумье. Иван Иванович бежал, задыхаясь, вприпрыжку и сдерживая приступы кашля… Когда мы удалились на порядочное расстояние, он остановился и опять произнес с невыразимой тоской:

— Автономова-то потеряли…

В его голосе слышалось такое отчаяние, что мы с Андреем Ивановичем приняли в нем невольное участие и, остановившись на дороге, стали тоже вглядываться в темноту.

— Идет, — сказал Андрей Иванович, обладавший чисто рысьими глазами…

И действительно, вскоре сзади на нас стала надвигаться странная фигура, точно движущийся куст. За поясом, на плечах и в руках у Автономова были целые пучки сирени, и даже мурмолка вся была утыкана цветами. Поравнявшись с нами, он не задержался и не выразил ни радости, ни удивления. Он шел дальше по дороге, и ветки странно качались кругом него на ходу.

— Хорошо идти ночью, синьор, — заговорил он напыщенно, точно актер. — Поля одеты мраком… А вот в сторонке и роща… Смотрите, что за покой за такой! И соловей заводит песню…

Он говорил, точно декламируя, но в его голосе

все-таки слышались ноты растроганности…

— Не угодно ли, синьор, ветку из моего садика?..

И театральным жестом он протянул мне ветку сирени…

В стороне от дороги робко и нерешительно щелкнул соловей. Откуда-то издалека, в ответ на звон с погоста, медленно понесся ответный звон и звуки трещотки… Где-то на темной равнине лаяли собаки… Ночь сгущалась, начинало пахнуть дождем…

— Жаль, — развязно заговорил вдруг Автономов. — Я вот тут отлучался, к погосту… Знакомый у меня на этом погосте живет, приятель… Был бы дома — всем нам был бы ночлег и угощение… Старуха звала ночевать… да что… без хозяина…

Иван Иванович поперхнулся. Сапожник иронически фыркнул…

Автономов, вероятно, догадался, что мы видели несколько больше, чем он думает, и, обратясь ко мне, сказал:

— Не судите, синьор, да не судимы будете… Чужая душа, синьор, потемки… Когда-нибудь, — прибавил он решительно, — поверьте, я все-таки побываю в этом месте… И буду принят… И тогда…

— Что же тогда?

— Ах… было бы только чем угостить… Напьемся мы тут до потери образа… И учиню я тогда над ним безобразие…

— А это зачем?

— Так! Сравнялось бы для меня это место с другими. А то все еще, синьор, за душу тянет… Прошлое-с…

И он пошел вперед быстрее…

Мы миновали стороной небольшую деревнюшку и поравнялись с последней избой. Маленькие окна слепо глядели в темное поле… В избе все спали…

Автономов вдруг направился к окну и резко постучал в раму… За стеклом неясно мелькнуло чье-то лицо.

— Кто там? — послышался глухой голос, и испуганное лицо прилипло изнутри к оконнице… — Кого по ночам носит?

— Ши-ши-и-и-га, — крикнул Автономов протяжно, резко и зловеще и наклонил к окну голову, убранную ветками… Лицо за окном испуганно исчезло… На деревне залаяли собаки, сторож застучал в трещотку, темный простор, казалось, робко насторожился… И опять где-то, невидимые во мгле, заговорили протяжными звонами

спящие церкви, как будто защищая мирный простор от чего-то неведомого и зловещего. Точно зачуяв, что где-то над ними проносятся с угрозой чьи-то темные, чьи-то безнадежно испорченные жизни…

VI

Более часу мы шли опять темными полями. Усталость брала свое; не хотелось ни говорить, ни слушать. Вначале я еще думал и старался представить себе в этой тьме физиономии моих спутников. Это удавалось относительно Андрея Ивановича, которого я знал хорошо, и относительно маленького странника, но физиономию Автономова я забыл и, глядя теперь на его темную фигуру, не мог восстановить его лица… Автономов у дьячковой избы и вчерашний проповедник казались мне двумя различными людьми.

Потом мысли мои все более путались; несколько дней уже на ногах… глухая ночь, тишина, тяжелая перепаханная дорога, или, вернее, бездорожье, — все это сказалось сильной усталостью, и я стал забываться на ходу. Это было какое-то полусознание, допускавшее фантастические грезы, которые витали в бесформенной тьме, странно переплетаясь с действительностью. А действи-

тельность для меня вся была темная муть и три туманные фигуры, то остававшиеся позади, то обгонявшие меня на дороге… Я следовал за ними совершенно почти бессознательно.

Когда я как-то очнулся — они стояли на дороге и о чем-то спорили.

— Разуй глаза-то, — говорил сапожник сердито, но вяло.

— Спасибо, что вразумили, — я бы и не догадался, — ответил странник. — Не знаете ли уж кстати, синьор, как отсюда выйти на дорогу?..

Я лениво вгляделся в темноту. Громадный черный ветряк поднял над нами крылья, терявшиеся где-то высоко в облаках; за ним по бокам, назади, виднелись другие. Казалось, все поле усеяно мельничными крыльями, поднятыми кверху с безмолвной угрозой…

— Всю ночь теперь проплутал из-за этого дьявола, — со злостью сказал Андрей Иванович.

— Ну-ко, помолчите маленько, долговязый синьор, — сказал Автономов. — Слышите?

— Толчея, что ли? — сказал Андрей Иванович вопросительно…

— Верно, — ответил Автономов весело. — Колеса это работают. Эх, и речушка же резвая!

— Далеко это?..

— По дороге далеко. А мы прямиком.

— В болото, смотри, заведешь, дьявол…

Ноги опять несли меня куда-то в темноту за тремя темными фигурами. Я спотыкался на пашне или по кочкам, меня кидало то вперед, то в сторону… Если бы на пути встретился овраг или река — я, вероятно, очнулся бы только на дне… По временам странные обрывки сновидений вспархивали и улетали из головы в неопределенную мглу…

Наконец меня перестало кидать по кочкам. Под ногами чувствовалась ровная дорога, а в ушах ровный, приятный шум. Вода струилась, звенела, бежала куда-то, плескалась и бурлила, рассказывая о чем-то очень занимательном, но слишком смутном… потом шум остался позади, но вдруг он стал сильнее, как будто вода прорвала плотину… Я совсем очнулся и оглянулся с удивлением… Сзади меня догнал Андрей Иванович и, взяв за руку, потащил вперед…

— Проснитесь… будет вам спать-то на ходу… Вот связались мы с дьяволом, прости господи!.. Выскочат мужики, шеи нам наломают… Скорее, скорее… Вишь, Иван-то Иваныч дерет, ряску подобрал…

Действительно, маленький странник пробежал

мимо нас с удивившей меня быстротой…

— Сюда… сюда…

Не отдавая себе еще полного отчета в происходящем, я очутился под прикрытием густых ветл на берегу речки. Рядом Иван Иванович тяжело переводил дух… Автономова не было. Невдалеке мельница точно взбесилась. Вода ревела и бурлила в открытые шлюзы. Одно колесо тяжело ворочалось по-прежнему, другое, вероятно удержанное запором, трещало и стонало под ударами воды. Цепная собака рвалась на цепи и выла от злости.

В мельнице вспыхнуло оконце, точно она проснулась и открыла глаз. Скрипнула дверь, и старый мельник, в белой рубахе и портах, вышел с фонарем на помост. За ним, почесываясь и зевая, показался другой.

— Плотину, что ли, прорвало? — сказал он.

— Где прорвало — слышь, в шлюзах шумит, не сломало ли затворы… Неладно, гляди… Ах, батюшки…

— Гляди-ка: ведь поднято.

— Что ты! Кому подымать?

Мужики подошли к шлюзам. Вскоре шум затих: они опустили оба затвора, и мельница смолкла. Огонь фонаря тихо прополз назад по плотине и

опять исчез. И вдруг резко загремела трещотка. Один мужик, очевидно, остался караулить…

Необычный шум на мельнице, разносясь по полям, опять будил спящие деревни. Казалось даже удивительным, сколько их засело в этой темноте. С разных сторон, спереди, сзади, даже откуда-то снизу, они отвечали на тревогу стуком досок и трещоток. Из дальнего села или с погоста опять несся медленный звон. Невдалеке крикнула какая-то ночная птица.

— Пойдем, — сказал Андрей Иванович, когда около мельницы все стихло… — Вот из-за одного подлеца сколько тревоги народу.

— Что это случилось? — спросил я.

— Спросите вот у него, — со злостью сказал сапожник, указывая на Ивана Ивановича.

— Что же-с, — грустно ответил странник. — Конечно, озорство… Я этого не похвалю…

— Да в чем дело? Где Автономов?

— Вот он — по-птичьи кричит, признак нам подает… Сюда, дескать, идите, милые мои товарищи… И как он, подлец, шлюзу успел открыть — я и не заметил. А вы тоже!.. Идете за ним да спите. Поспали бы еще… Выскочили бы мужики раньше — были бы у праздника. Н-ну! Догоню подлеца, уж вы и не заступайтесь. Наизнанку каналью

выверну, ноги через глотку продену!..

И он решительно двинулся вперед.

VII

Однако Андрей Иванович не привел в исполнение своих свирепых намерений, и через полчаса мы опять молча шагали по дороге… Солнце еще не всходило, но белые молочные тоны все больше просачивались сверху, сквозь облака, а внизу под нашими ногами на далекое расстояние волновался беловатый туман, покрывший обширную равнину. Из этого тумана вынырнула лошадиная морда, потом обозначилась телега с мешками, на которых спал мужик, и за ней другая, порожняя.

— Дядя, а дядя… — сказал Андрей Иванович заднему мужику, — не подвезешь ли нас?

Мужик протер заспанные глаза и с удивлением оглядывал обступившую его компанию.

— Откеда бог несет?

— С богомолья.

— Ну, ну. Садитесь — да ведь недалече подвезу я, мы ближние.

— Не с мельницы ли?

— Они вот были на мельнице, а я, вишь, порожнем. Садитесь, что ли.

Мы уселись по сторонам телеги, свесив ноги.

— А дозвольте спросить, — сказал наш возница, нахлестав лошаденку, — вы всю ночь, что ли, идете?

— Всю ночь.

— Ничего не слыхали ночью?

— Собаки что-то лаяли, да только далеко. А что?

— Так! На мельнице, слышь, затворы ночью подняло. Колеса чуть не поломало вовсе.

— Кто поднял?

— Понимай! Кто ночью-то у омутов озорует?.. У нас в деревнюшке по суседству, сказывают, на ночлег просился. Мужик выглянул, а *он* и говорит: шишига я, пусти.

— Бывает, — сказал Автономов, давно сбросивший свои украшения…

— Никогда этого не бывает… Не поверю ни в жизнь… И тебе не приказываю верить, — горячо и решительно сказал мужику Андрей Иванович, — обманывают вас, деревенских, прохвосты разные… Простота ваша…

— Бывают, которые и в бога и во святых не верют, — сказал Автономов в высшей степени поучительно и хладнокровно.

Андрей Иванович скрипнул зубами и незаметно для мужика показал Автономову кулак.

VIII

Около полудня на такой же случайно встреченной под самым городом мужицкой телеге мы подъехали к моей квартире. Телега остановилась у ворот. Наша живописная компания обратила внимание нескольких прохожих, что, видимо, стесняло Андрея Ивановича… Я пригласил своих товарищей отдохнуть у меня и напиться чаю.

— Спасибо, до дому недалече, — холодно ответил сапожник, вскидывая за плечо котомку, и потом спросил бесцеремонно, ткнув пальцем по направлению Автономова: — И этого тоже зовете?

— Да, прошу и Геннадия Сергеевича, — ответил я.

Андрей Иванович круто повернулся и, не прощаясь, зашагал по улице.

Иван Иванович имел отчаянно-испуганный вид, точно мое приглашение захлопнуло его, как западня птицу. Он смотрел умоляющим взглядом на Автономова, и стыд собственного существования мучительно сказывался во всей фигуре. Автономов спросил просто:

— Куда идти-то?..

Пока ставили самовар, я попросил домашних

собрать сколько было лишней одежды и белья и предложил моим спутникам переодеться. Автономов легко согласился, свернул все в один узел и сказал:

— Потому надо в баню…

Я, разумеется, не возражал. Из бани оба странника вернулись преображенными. Иван Иванович в слишком широком пиджаке и слишком длинных брюках, со своими жидкими косицами, удивительно походил на переодетую женщину. Что касается Автономова, то он не удовольствовался необходимым количеством одежды, а надел все, что было предложено для выбора. Таким образом на нем оказалась синяя косоворотка, блуза, два жилета и пиджак. Косоворотка виднелась над воротом блузы и внизу, так как она была длиннее. Над нею выступали края блузы, а пиджак составлял как бы третий ярус… За чайным столом Иван Иванович страдал до такой степени, что из жалости мы разрешили ему удалиться со своей чашкой в кухню, где он уселся в уголку и немедленно приобрел жалостные симпатии нашей кухарки. Автономов держался развязно, называл мою мать синьорой и схватывался с места при всяком случае, чтобы чем-нибудь услужить…

После чаю он самодовольно огляделся с ног до

головы в зеркало и сказал:

— В эдаком костюме зять мною не пренебрежет… Пойду навестить сестру… Она тут живет недалечко. Котомочку позвольте, синьора, оставить у вас в передней.

Когда он шел через двор к воротам, за ним испуганно выбежал Иван Иванович. После короткого разговора Автономов позволил бедняге следовать за ним на некотором расстоянии.

Через короткое время Иван Иванович вернулся один… Птичье лицо его сияло изумлением и восторгом.

— Приняли-с, — сказал он, радостно захлебываясь. — Истинная правда-с. Действительно-с… сестра, настоящая. И зять… Может, угодно вам самим пройти, будто ненарочно… Сами увидите-с… Истинный бог: в палисадничке сидят… Угощают… по-родственному. Сестра плачет от радости…

И из груди маленького странника понеслись странные звуки, похожие и на истерический смех, и на плач.

Через час явился и Автономов, преображенный и торжественный. Подойдя ко мне, он горячо схватил мою руку и до боли сжал ее…

— Через вас я приобрел опять родных… Кажет-

ся… то есть вот! До гроба…

Он еще крепче сжал мою руку, потом судорожно отбросил ее и отвернулся. Оказалось, что, поверив преображению Автономова, зять, человек не без влияния в консистории, решил похлопотать о нем. Оставалось только добыть из Углича какие-то бумаги и…

— И сюда, обратно! Кончено странствие, синьор… И тебя, Ваня, не оставлю… Получишь у меня угол и пищу… Живи… Я в должность… Ты уберешь квартиру, то… другое…

Я слушал эти разговоры, и невольное сомнение закрадывалось в душу, тем более что Автономов опять вернулся к высокопарному стилю и все чаще употреблял слово синьор…

Перед вечером оба ушли «в Углич, за бумагами». Автономов дал торжественное обещание явиться через неделю «для начатия новой жизни»…

«Неужто для этого «чуда» нужно было так немного?» — с большим сомнением думал я…

IX

Погода круто изменилась… Чудесная ранняя весна, казалось, сменилась вдруг поздней холодной осенью… Дождь лил целые дни, и ветер метался среди ливня и туманов.

В одно такое холодное утро, проснувшись довольно поздно и стараясь сообразить время, я услышал легкую возню и странный писк в сенях у дверей. Открыв их, я увидел в темном углу что-то живое. Увы! это был Иван Иванович. Он весь издрог, посинел и смотрел на меня умоляющими, робкими глазами. Так смотрит только запуганное и близкое к гибели животное.

— Слабость опять? — спросил я кратко.

— Слабость, — ответил он покорно и кротко, стараясь запахнуться. На нем была опять невозможная хламида, голова была не покрыта, а на ногах лапти на босу ногу…

Вскоре явился и Автономов. Он был пьян и неприятно развязен. Говорил изысканными высокопарными оборотами, держался как давний приятель, и по временам в воспоминания о наших похождениях вставлял пикантные намеки относительно некоей солдатки… В глазах проступало злое страдание, по которому я опять узнавал оратора монастырского двора и готовность на злые дерзости. О визите к сестре не было и речи…

— Послушай… Любезная… — обратился он к прислуге. — Тот раз я тут у вас оставил хламидку… Хламидка еще годится… Несчастлив ваш

подарок, — прибавил он, нагло глядя на меня… — Под Угличем ограбили нас… все как есть сняли. А валенками вас, видно, надул торговец… Кислый товар, кислый… все развалились…

И он снисходительно потрепал меня по плечу…

Иван Иванович с жалобной укоризной смотрел на своего покровителя. Расстались мы довольно холодно, и только на Ивана Ивановича все у нас смотрели с искренним сочувствием и жалостью…

После этого от времени до времени я получал известия о своих случайных спутниках. Приносили их по большей части люди в хламидах и подрясниках и с более или менее явственными признаками «слабости» передавали поклоны или записки и, получив малую мзду, выражали разочарование. Однажды во время ярмарки ввалился субъект, совершенно пьяный, очень зловещего вида, который подал записку с такой таинственной фамильярностью, точно она была от нашего общего друга и сообщника.

В записке было нацарапано очень нетвердым и неровным почерком:

«Милый друг. Прими сего подателя, яко меня лично. Он наш и может тебе все рассказать, а меж-

ду прочим помоги деньгами и одежой. Наипаче бедствует брюками… Геннадий Автономов».

Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что посланный действительно брюками бедствовал очень сильно… Но, несмотря на опьянение, глаза его быстро и пытливо, очевидно, по профессиональной привычке, изучали обстановку моей квартиры…

При удалении его произошел некоторый неприятный шум, и пришлось прибегнуть к помощи добрых соседей…

X

Года через два я опять встретил моих бывших спутников.

В жаркий летний день я переехал на пароме через Волгу, и пара лошадей потащила нас береговыми песками к въезду на гору. Солнце садилось, но было еще невыносимо жарко. Казалось, даже от сверкающей реки неслись целые волны зноя. Оводы тучей носились над лошадьми, колокольчик бился неровно, колеса шуршали в глубоком песке… Сверху, в полугоре, окруженный зеленью монастырь глядел на реку из-за реющего тумана и казался парящим в воздухе.

Вдруг ямщик остановил у самого подъема

усталую тройку и побежал по берегу. В четверти версты от нас, на обрезе, усеянном галькой и камнями, грузно чернела, прямо на солнцепеке, группа людей.

— Происшествие какое-нибудь, — сказал мой товарищ.

Я вышел из телеги и пошел туда же.

На пустом берегу, в который лениво плескалась река, оказалось мертвое тело. Подойдя ближе, я узнал в нем моего знакомого: маленький странник лежал в своей ряске, грудью на песке, с раскинутыми руками и неестественно повернутой головой. Он был смертельно бледен, черные косицы слиплись на лбу и на висках, а рот полуоткрылся. Мне невольно вспомнилось это лицо, оживленное детским восторгом от пения пташки на холмике. Сам он, с своим длинным, заострившимся носом и раскрытым ртом, удивительно напоминал теперь замученную и раздавленную птицу.

Автономов сидел над ним, покачиваясь, и в его взгляде виднелся испуг. Явственный винный запах стоял в воздухе…

Окинув взглядом подошедших людей и не узнав меня, он вдруг затормошил лежащее тело.

— Вставай, товарищ, пора в путь… Участь

странника — вечное странствование.

Он говорил опять напыщенным тоном и нетвердо поднялся…

— Не хочешь?.. Смотри, Ваня, брошу! Уйду один…

Староста, с медалью на груди, спешно подошедший к группе, положил ему руку на плечо.

— Погоди уходить… Протокол надо составить… Что за люди…

Автономов с иронической покорностью снял свою мурмолку и отвесил поклон.

— Сделайте одолжение, ваше сельское превосходительство…

Сверху послышался удар колокола. В монастыре призывали к вечерней молитве. Удар прозвенел, всколыхнул жаркий воздух, пронесся поверх кудрявых верхушек дубов и осокорей, лепившихся по склонам, и, замирая уже, коснулся сонной реки. На мгновение звук опять окреп, ложась на воду, и казалось, чуткое ухо ловит его полет к другому берегу, к синеющим и подернутым мглою лугам.

Все сняли шапки. Только Автономов повернул голову на звон и погрозил кверху кулаком.

— Слышишь, Ваня, — сказал он, — зовет тебя отец-настоятель… Благодетель твой… Теперь,

чай, примет…

Удар за ударом, густо и часто, звеня и колыхаясь, падал сверху на реку торжественно и спокойно…

1889

Река играет
Эскизы из дорожного альбома

I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

> Пожертвуйте проходящии на колоколо господне.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре

для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется…

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизованных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых споривше разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня, с раскрытыми

дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, — поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града… Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народною мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на

своем песчаном ложе.

II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старою лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем: теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса — будь мой сон еще несколько крепче, — и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-ма-

чеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо… Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели клади досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков… И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых клочьев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного цвету.

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами, и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на «колоколе господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба…

Все это было когда-то,

Но только не помню когда... —

невольно вспомнились мне слова поэта.

III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Этто домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делат, гляди-кося, чего только делат Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды` ведь это, право беды`...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понурив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубахе и синих пестрядинных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская склад-

ка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека…

— Унесет у меня лодку-те… — говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела. — Беспременно утащит.

— А тебе бы, — говорю я, разминаясь, — вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делат, вишь, вишь… Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой: — Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечор еще, гликося, дальше мостков была вода-те… Погляди, за ночь чего еще наделат. Беды` озорная речушка! Этто учнет играть и учнет играть, братец ты мой…

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-а-ай! — звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного цвету.

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут, — отвечает он невозмутимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки. — Иванко, а Иванко! Иванко-о-о`!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

— Баба идет, — говорит он мне, глядя в другую сторону.

— Ну? — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и

сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё еще нукашь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Чё-ино`, спрашиват еще… Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять…

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик. — Что ты кака` сильна пришла. Разговаривать…

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те… Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, не´годя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвон парень тебя перемахнет… Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-о`!.. А вот я сейчас вицей его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, харрошую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватает весла.

— Две копейки с нее. Девку так! — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне: — Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег. — Перево-о-о`з!..

— Тятька, а тятька! Паром кричат, вить, — говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват, — спокойно подтверждает Тюлин. — Сговорись там. Может, еще и не надо ему… Может, еще и не поедет… Отчего бы такое голову ломит? — обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину нетрудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажен, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я, — говорит Тюлин в раздумье, — а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я… Положим, вчера выпил…

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много… Положим, довольно я выпил

вчера… Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья, — пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишенною основания.

— Разве-либо от этого. Нонче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю… — чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю…

IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые,

выцветшие, как и у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирическою.

— Голову, братец, всеё разломило. И отчего бы?

— Винища поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же бает.

— А лодку у тебя, гляди, унесет.

— Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

— Давай паром, што ли, — ехать надо.

— Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж накрасился…

— Выпито. Голову всеё разломило, беды! А ты, может, лучше не ездий.

— Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали, к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, так, стало быть, не миновать ехать, видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

— Сходил бы сам, — говорит Тюлин, — тяжелы вить.

— Ты сходи — твое дело!

— Не мне ехать — тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну… — опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья. — Проходящий, да-ко ты мне вицю…

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесет, — говорит мужик.

— Тяжелы вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те, — советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-кось.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!.. — слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

— Баба кричит, — говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет… — говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Беды`.

— Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово… назад бы. Что тебе ехать-то, кака надобность?

— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает наконец шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно. — Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий дощатый паром; Тюлин — последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать, — протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несет вить.

— Несет, — ответил мужик, с натугой налегая на чеге́нь правым плечом.

— Пылко несет.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду — его чегень тоже не достал

до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завел?

— Заведены.

— Да што нету их?

— Дома. Нешто мальчонка приволокет… двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем, аль уж как?..

V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья цвету. Перед глазами мелькает мысок с под-

мытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды`, право, беды`, — безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну.

Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в гре´би, Евстигней!

— Да у тебя еще есть ли греби-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилажива-

ется к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты… в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать… Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вали-и`сь на перевал! — быстро, сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рискнуло», но через секунду Иванко, со

страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепи`! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром ходом подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень, — говорит он, мотая головой, — кабы на тебя да не винище — цены бы не было. Винище тебя обманыват…

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

— Греби, греби… Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался по-

следним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно — мостки давно затопило, — то Тюлин пристает к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостылели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «не́годям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду, — советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин. — А думал я: беспременно бы ей надо сломаться.

— И то… вишь, кака крутоярина.

— Чё ино! Самая така круча, что ей бы сломаться надо… Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки. — Ну загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи» — мы наконец подходим к шалашу. С меня пот льет от непривычки градом.

— Проси с Тюлина косушку, — говорит полушутя Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи.

Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим — поднесу… И не одну, слышь, поднесу, — добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то, во всяком случае, мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут… — скорбно говорит перевозчик.

— Да еще, может быть, не поедут, — утешаю я, — может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшею рекой, с деревянною церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой…

Как бы то ни было, но на мое насмешливое за-

мечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:

— Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? Голову всеё разломило…

VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще кричать где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую согласно предсказанию знатока-перевозчика унесло-таки течением.

— Что, Тюлин, здоров ли?

— Слава богу. Некрепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты ивахински река разметывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься…

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посудина с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплескиват?

— Беды`! — ответил Тюлин. — Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла уж?

— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула — в силу, в силу бегом догнал за перелеском…

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. — Не оглянешься — плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лаял православных, — заступился за своих Тюлин. — Чай, у вас ряда была…

— Была.

— На песок возить?

— То-то, на песок.

— Ну-к на песке и есть, не в другим месте.

— Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть — покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток…

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и взыграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

— Ни за сто рублев! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим…

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтобы артель не попомнила на нем своей

обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти, — говорили артельщики. — Не заманишь!

— Ни за сто рублев не полезем в реку.

— Пущай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

— Пущай покидат бревнушки, пущай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли недодал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

— Хошь бы плоты-те повыволокли, — сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут, — успокоил Тюлин.

— Поговори им, — заискивающе сказал торговец. — Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь?

— Другую.

— Споишь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиной на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой «Дубинушки» бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинский лес высился в клади на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Не, что его бить…

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно новейшего происхождения.

— Тюлин, голубчик!

— Ну что?

— Отчего у тебя синяк?

— Синяк… Да отчего ему быть, синяку?

— Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

— Кто меня бил?

— Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве-либо от этого… Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?

— Пожалуй что и Парфен, — опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспременно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко — завсегда норовит как бы нибудь человека испортить…

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять послышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй…

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит…

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки — нос к корме, — он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с

удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон… — указал я на светлую полоску, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он вгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз:

— И подлый же мужичок здешний перевозчик живет, — сказал он, впрочем довольно спокойно. — Гляди, ведь и лодки все уволок… Всю ночь его теперь оттеда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут… Эх, как река-то пылит, беды`! Ежели теперь нам с вами на паром… Да нет, не управиться… Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам. — Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торопливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее — так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа… Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма и кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитате-

лей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слывут «воришканами». Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи идти. Как бы опять к пролуби не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

— Хошь в пролубь?

Ну разумеется, не хочет. Они и не неволят — отдай только им «катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

— Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что

ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне, говорит, на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили — надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особливо когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте» в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам — «ветлугай», уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками»[25] — ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги и уходите на сутки — никто не тронет.

— Как же все-таки соловьихинцы?

---

[25] Примечания: 25

Красноярками называют фальшивые «бумажки».

— Такой у них, позвольте сказать, обычай…

Ну где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: нигде, нигде…

— Вот и у Тюлина, — сказал я, улыбаясь, — тоже обычай.

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет… Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим…

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

— Этого мы человека видели.

— Немудрено, — ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

— Там и видели. По усердию или обет был даден владычице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к сред-

никам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз — до дому недалече. К утру и дошел бы я.

— Да, на перевоз!.. — вмешался мой знакомый. — Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?..

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!

Отклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно — так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.

— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать, — сказал первый из моих знакомых, — и всего-то версты

четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавой усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы, — я вот рассказывал, — любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те свое беречь мастера. Этто годов, может, пять назад, пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. «А что, братцы вы мои, — говорит один, — как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить». — «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано — не потерялось. Так вместе с железом хозяева ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и при свете огонька на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А все-таки, родом с Ветлуги?

— С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с перекатцем, выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может, и от винища. Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористическою ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку

старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся», — когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики, — этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение…

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие, — сказал мне с неудовольствием один из начетчиков. — Нешто это от Писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал… — и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям, или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке… Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уреневцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда каждая свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уреневские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся — около уреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый… Они читали и пели по очереди, од-

нообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры — уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат, — говорил Ефим. — Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее, — ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно`!

— А что?

— Да так. Этто нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволокчи. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде´ ночью. Наутро проснулся я, а темно еще — дело зимнее. Гля-

жу: старуха светец засвечает, потому молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашо`ные. Ну, думаю, и мне пора: помолюсь, дай-ка, и я да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьця. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, говорит, что это делаешь?» — «А что, мол, — молитьця было похотел». — «Погоди, говорит». — «Чего годить? Самая пора». — «Погоди, мол, после». Ну, после дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погодя, старче с печки лезет, свою икону тащит на божницю, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот!.. да я, мол, было молитьця целился». — «Погоди, говорит, не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодица слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету — одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

— Ну, до`пустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рас-

сказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? И тут не до`пустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятьё-то уволокли… Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнушко господне помолюсь.

— Три веры в одным дому! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодця, честь-честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицю, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, говорю, такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете». — «А потому, — старуха бает, — и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом нахлебается…» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Д-да, — подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову. — Видишь ты, каке´ грозны живут… А сами-те, бесстыдники! Тепериче у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще

чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тятькой не приходится. Так вот этим не брезгуют. Охо-хо-хо-о`… Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

— Смешиця по Русе´ пошла, — раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это, — сказал, укладываясь, солдат, — не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молока`на опять…

— Ну, эти иная статья, другого роду. Спи ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит… Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитьця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баять не надо…

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже цвету, только кой-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека…

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся

за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военною хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

.....

— Перево-о`з!

— Перевоз, перевоз, перрево-о`-оз!

— Эй, перевоз-чик, живей — э-эй!

— Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадью, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уреневцев… Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

— Эй вы, ветлугаи-водохлебы! Где перевозчик?

— Перевоз, перевоз, перре-во-о`з!..

Можно было подумать, что целая армия вторг-

лась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уреневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от цвету. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка, — думалось мне, — устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на средине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших возов вели за челки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы

закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю, — ответил он, раскуривая. — Мне не к спеху — пойду себе по росе… А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода, и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с

этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения — с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от *тех* веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда…

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

1891

Парадокс
Очерк

I

Для чего, собственно, создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.

Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе под тенью густого серебристого тополя и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни в то время мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине вот уже около недели любимым нашим занятием было — сидеть на заборе, над бадьей, с

опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас настоящая, живая рыба.

Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.

Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптанный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность, — нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами… На вершине мусорной ку-

чи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку, с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высовывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.

Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов — и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут

постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат по большей части предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели… Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла, — и тогда брат говорил с досадой:

— Что ты это, ей-богу!.. Ведь это гостиница…

Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен — выражаясь по-нынешнему — какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, которых мы с неопределенным

замиранием души спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем…

И все это вмещалось в тихом уголке, между садом и сараями, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего… Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцвечивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шепот листьев, сонное чирикание какой-то птицы в кустах и… странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте, — потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии… Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю, — мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.

Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, сто-

явшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше… Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей…

В то время как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем как хвостики извивались под ними, точно крошечные змейки. Это был целый особый мирок, под этою зеленою

тенью, и, если сказать правду, в нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдет ко дну и что после этого который-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не прийти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьей, под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки…

Вдобавок мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни…

II

Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавков, с глазами, прикованными к зеленой глубине бадьи, — из действительного мира, то есть со стороны нашего дома, проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:

— Панычи, панычи, э-эй! Идить бо до покою!

«Идти до покою» — значило идти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто «до покою», а не к обеду, который в этот день действительно должен был происходить ранее обыкновенного, так как отец не уезжал на службу. Во-вторых, почему зовет именно Павел, которого посылал только отец в экстренных случаях, — тогда как обыкновенно от имени матери звала нас служанка Килимка. В-третьих, все это было нам очень неприятно, как будто именно этот несвоевременный призыв должен вспугнуть волшебную рыбу, которая как раз в эту минуту, казалось, уже плывет в невидимой глубине к нашим удочкам. Наконец, Павел и вообще был человек слишком трезвый, отчасти даже насмешливый, и его излишне серьезные замечания разрушили не одну нашу иллюзию.

Через полминуты этот Павел стоял, несколько даже удивленный, на нашем дворике и смотрел на нас, сильно сконфуженных, своими серьезно выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались в прежних позах, но это только потому, что нам было слишком совестно, да и некогда уже скрывать от него свой образ действий. В сущности же, с первой минуты появления этой фигуры в нашем мире мы оба

почувствовали с особенной ясностью, что наше занятие кажется Павлу очень глупым, что рыбу в бадьях никто не ловит, что в руках у нас даже и не удочки, а простые ветки тополя с медными булавками и что перед нами только старая бадья с загнившей водой.

— Э? — протянул Павел, приходя в себя от первоначального удивления. — А що се вы робите?

— Так… — ответил брат угрюмо.

Павел взял из моих рук удочку, осмотрел ее и сказал:

— Разве ж это удилище? Удилища надо делать из орешника.

Потом пощупал нитку и сообщил, что нужен тут конский волос, да его еще нужно заплести умеючи; потом обратил внимание на булавочные крючки и объяснил, что над таким крючком, без зазубрины, даже и в пруду рыба только смеется. Стащит червяка и уйдет. Наконец, подойдя к бадье, он тряхнул ее слегка своей сильной рукой. Неизмеримая глубина нашего зеленого омута колыхнулась, помутнела, фантастические существа жалобно заметались и исчезли, как бы сознавая, что их мир колеблется в самых устоях. Обнажилась часть дна — простые доски, облипшие какой-то зеленой мутью, — а снизу поднялись

пузыри и сильный запах, который на этот раз и нам показался уже не особенно приятным.

— Воняет, — сказал Павел презрительно. — От, идить до покою, пан кличе.

— Зачем?

— Идить, то и побачите.

Я и до сих пор очень ясно помню эту минуту столкновения наших иллюзий с трезвою действительностью в лице Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками, и нам было совестно оставаться на верхушке забора в позах рыбаков, но совестно также и слезать под серьезным взглядом Павла. Однако делать было нечего. Мы спустились с забора, бросив удочки как попало, и тихо побрели к дому. Павел еще раз посмотрел удочки, пощупал пальцами размокшие нитки, повел носом около бадьи, в которой вода все еще продолжала бродить и пускать пузыри, и, в довершение всего, толкнул ногой старый кузов. Кузов как-то жалко и беспомощно крякнул, шевельнулся, и еще одна доска вывалилась из него в мусорную кучу…

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте, когда нашему юному вниманию предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек…

III

У крыльца нашей квартиры, на мощеном дворе, толпилась куча народа. На нашем дворе было целых три дома, один большой и два флигеля. В каждом жила особая семья, с соответствующим количеством дворни и прислуги, не считая еще одиноких жильцов, вроде старого холостяка пана Уляницкого, нанимавшего две комнаты в подвальном этаже большого дома. Теперь почти все это население высыпало на двор и стояло на солнопеке у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись с братом, разыскивая в своем прошлом какой-нибудь проступок, который подлежал бы такому громкому и публичному разбирательству. Однако отец, сидевший на верхних ступеньках, среди привилегированной публики, по-видимому, находился в самом благодушном настроении. Рядом с отцом вилась струйка синего дыма, что означало, что тут же находится полковник Дударев, военный доктор. Немолодой, расположенный к полноте, очень молчаливый, он пользовался во дворе репутацией человека необыкновенно ученого, а его молчаливость и бескорыстие снискали ему общее уважение, к которому примешивалась доля

страха как к явлению, для среднего обывателя не вполне понятному… Иногда, среди других фантазий, мы любили воображать себя доктором Дударевым, и если я замечал, что брат сидит на крыльце или на скамейке, с вишневой палочкой в зубах, медленно раздувает щеки и тихо выпускает воображаемый дым, — я знал, что его не следует тревожить. Кроме вишневой палочки, требовалось еще особенным образом наморщить лоб, отчего глаза сами собой немного тускнели, становились задумчивы и как будто печальны. А затем уже можно было сидеть на солнце, затягиваться воображаемым дымом из вишневой ветки и думать что-то такое особенное, что, вероятно, думал про себя добрый и умный доктор, молча подававший помощь больным и молча сидевший с трубкой в свободное время. Какие это, собственно, были мысли, сказать трудно; прежде всего они были важны и печальны, а затем, вероятно, все-таки довольно приятны, судя по тому, что им можно было предаваться подолгу…

Кроме отца и доктора, среди других лиц мне бросилось в глаза красивое и выразительное лицо моей матери. Она стояла в белом переднике, с навернутыми рукавами, очевидно только что оторванная от вечных забот по хозяйству. Нас у

нее было шестеро, и на ее лице ясно виднелось сомнение: стоило ли выходить сюда в самый разгар хлопотливого дня. Однако скептическая улыбка видимо сплывала с ее красивого лица, и в синих глазах уже мелькало какое-то испуганное сожаление, обращенное к предмету, стоявшему среди толпы, у крыльца…

Это была небольшая, почти игрушечная телега, в которой как-то странно — странно почти до болезненного ощущения от этого зрелища — помещался человек. Голова его была большая, лицо бледно, с подвижными, острыми чертами и большими, проницательными бегающими глазами. Туловище было совсем маленькое, плечи узкие, груди и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью бороды, а руки я напрасно разыскивал испуганными глазами, которые, вероятно, были открыты так же широко, как и у моего брата. Ноги странного существа, длинные и тонкие, как будто не умещались в тележке и стояли на земле, точно длинные лапки паука. Казалось, они принадлежали одинаково этому человеку, как и тележке, и все вместе каким-то беспокойным, раздражающим пятном рисовалось под ярким солнцем, точно в самом деле какое-то паукообразное чудовище, готовое

внезапно кинуться на окружившую его толпу.

— Идите, идите, молодые люди, скорее… Вы имеете случай увидеть интересную игру природы, — фальшиво ласкающим голосом сказал нам пан Уляницкий, проталкиваясь за нами через толпу.

Пан Уляницкий был старый холостяк, появившийся на нашем дворе бог весть откуда. Каждое утро, в известный час и даже в известную минуту, его окно открывалось, и из него появлялась сначала красная ермолка с кисточкой, потом вся фигура в халате… Кинув беспокойный взгляд на соседние окна (нет ли где барышень) — он быстро выходил из окна, прикрывая что-то полой халата, и исчезал за углом. В это время мы стремглав кидались к окну, чтобы заглянуть в его таинственную квартирку. Но это почти никогда не удавалось, так как Уляницкий быстро, как-то крадучись, появлялся из-за угла, мы кидались врассыпную, а он швырял в нас камнем, палкой, что попадало под руку. В полдень он появлялся одетым с иголочки и очень любезно, как ни в чем не бывало, заговаривал с нами, стараясь навести разговор на живших во дворе невест. В это время в голосе его звучала фальшивая ласковость, которая всегда как-то резала нам уши…

— Уважаемые господа, обыватели и добрые люди! — заговорил вдруг каким-то носовым голосом высокий субъект с длинными усами и беспокойными впалыми глазами, стоявший рядом с тележкой. — Так как, по-видимому, с прибытием этих двух молодых людей, дай им бог здоровья на радость почтенным родителям… все теперь в сборе, то я могу объяснить уважаемой публике, что перед нею находится феномен, или, другими словами, чудо натуры, шляхтич из Заславского повета, Ян Криштоф Залуский. Как видите, у него совершенно нет рук и не было от рождения.

Он скинул с феномена курточку, в которую легко было бы одеть ребенка, потом расстегнул ворот рубахи. Я зажмурился — так резко и болезненно ударило мне в глаза обнаженное уродство этих узких плеч, совершенно лишенных даже признаков рук.

— Видели? — повернулся долгоусый к толпе, отступая от тележки, с курткой в руках. — Без обману… — добавил он, — без всякого ощуканьства… — И его беспокойные глаза обежали публику с таким видом, как будто он не особенно привык к доверию со стороны своих ближних.

— И, однако, уважаемые господа, сказанный феномен, родственник мой, Ян Залуский — чело-

век очень просвещенный. Голова у него лучше, чем у многих людей с руками. Кроме того, он может исполнять все, что обыкновенные люди делают с помощью рук. Ян, прошу тебя покорно: поклонись уважаемым господам.

Ноги феномена пришли в движение, причем толпа шарахнулась от неожиданности. Не прошло и нескольких секунд, как с правой ноги, при помощи левой, был снят сапог. Затем нога поднялась, захватила с головы феномена большой порыжелый картуз, и он с насмешливой галантностью приподнял картуз над головой. Два черных внимательных глаза остро и насмешливо впились в уважаемую публику.

— Господи боже!.. Иисус-Мария… Да будет похвалено имя господне, — пронеслось на разных языках в толпе, охваченной брезгливым испугом, и только один лакей Павел загоготал в заднем ряду так нелепо и громко, что кто-то из дворни счел нужным толкнуть его локтем в бок. После этого все стихло. Черные глаза опять внимательно и медленно прошли по нашим лицам, и феномен произнес среди тишины ясным, хотя слегка дребезжавшим голосом:

— Обойди!

Долгоусый субъект как-то замялся, точно счи-

тал приказ преждевременным. Он кинул на феномена нерешительный взгляд, но тот, уже раздраженно, повторил:

— Ты глуп… обойди!..

Полковник Дударев пустил клуб дыма и сказал:

— Однако, почтенный феномен, вы, кажется, начинаете с того, чем надо кончать.

Феномен быстро взглянул на него, как будто с удивлением, и затем еще настойчивее повторил долгоусому:

— Обойди, обойди!

Мне казалось, что феномен посылает долгоусого на какие-то враждебные действия. Но тот только снял с себя шляпу и подошел к лестнице, низко кланяясь и глядя как-то вопросительно, как бы сомневаясь. На лестнице более всего подавали женщины; на лице матери я увидел при этом такое выражение, как будто она все еще испытывает нервную дрожь; доктор тоже бросил монету. Уляницкий смерил долгоусого негодующим взглядом и затем стал беспечно смотреть по сторонам. Среди дворни и прислуги не подал почти никто. Феномен внимательно следил за сбором, потом тщательно пересчитал ногами монеты и поднял одну из них кверху, иронически

поклонившись Дудареву.

— Пан доктор… Очень хорошо… благодарю вас.

Дударев равнодушно выпустил очень длинную струйку дыма, которая распустилась султаном на некотором расстоянии, но мне почему-то показалось, что ему досадно или он чего-то слегка застыдился.

— А! то есть удивительное дело, — сказал своим фальшивым голосом пан Уляницкий, — удивительно, как он узнал, что вы — доктор (Дударев был в штатском пиджаке и белом жилете с медными пуговицами).

— О! Он знает прошедшее, настоящее и будущее, а человека видит насквозь, — сказал с убеждением долгоусый, почерпнувший, по-видимому, значительную долю этой уверенности в удачном первом сборе.

— Да, я знаю прошедшее, настоящее и будущее, — сказал феномен, поглядев на Уляницкого, и затем сказал долгоусому: — Подойди к этому пану… Он хочет положить монету бедному феномену, который знает прошедшее каждого человека лучше, чем пять пальцев своей правой руки…

И все мы с удивлением увидели, как пан Уляницкий с замешательством стал шарить у себя

в боковом кармане. Он вынул медную монету, подержал ее в тонких, слегка дрожавших пальцах с огромными ногтями и… все-таки опустил ее в шляпу.

— Теперь продолжай, — сказал феномен своему провожатому. Долгоусый занял свое место и продолжал:

— Я вожу моего бедного родственника в тележке потому, что ходить ему очень трудно. Бедный Ян, дай я тебя подыму…

Он помог феномену подняться. Калека стоял с трудом — огромная голова подавляла это тело карлика. На лице виднелось страдание, тонкие ноги дрожали. Он быстро опустился опять в свою тележку.

— Однако он может передвигаться и сам.

Колеса тележки вдруг пришли в движение, дворня с криком расступилась; странное существо, перебирая по земле ногами и еще более походя на паука, сделало большой круг и опять остановилось против крыльца. Феномен побледнел от усилия, и я видел теперь только два огромных глаза, глядевших на меня с тележки…

— Ногами он чешет у себя за спиной и даже совершает свой туалет.

Он подал феномену гребенку. Тот взял ее ногой,

проворно расчесал широкую бороду и, опять поискавши глазами в толпе, послал ногой воздушный поцелуй экономке домовладелицы, сидевшей у окна большого дома с несколькими «комнатными барышнями». Из окна послышался визг, Павел фыркнул и опять получил тумака.

— Наконец, господа, ногою он крестится.

Он сам скинул с феномена фуражку. Толпа затихла. Калека поднял глаза к небу, на мгновение лицо его застыло в странном выражении. Напряженная тишина еще усилилась, пока феномен с видимым трудом поднимал ногу ко лбу, потом к плечам и груди. В задних рядах послышался почти истерический женский плач. Между тем феномен кончил, глаза его еще злее прежнего обежали по лицам публики, и в тишине резко прозвучал усталый голос:

— Обойди!

На этот раз долгоусый обратился прямо к рядам простой публики. Вздыхая, порой крестясь, кой-где со слезами, простые люди подавали свои крохи, кучера заворачивали полы кафтанов, кухарки наскоро сбегали по кухням и, проталкиваясь к тележке, совали туда свои подаяния. На лестнице преобладало тяжелое, не совсем одобрительное молчание. Впоследствии я заме-

чал много раз, что простые сердца менее чутки к кощунству, хотя бы только слегка прикрытому обрядом.

— Пан доктор?.. — вопросительно протянул феномен, но, видя, что Дударев только насупился, он направил долгоусого к Уляницкому и напряженно, с какой-то злостью следил за тем, как Уляницкий, видимо, против воли, — положил еще монету.

— Извините, — повернулся вдруг феномен к моей матери… — Человек кормится, как может.

В его голосе была какая-то особенная, жалкая нота. Доктор вдруг выпустил бесконечную струйку синего дыма и, вынув серебряную монету, кинул ее на мостовую. Феномен поднял ее, поднес ко рту и сказал:

— Пан доктор, я отдам это первому бедняку, которого встречу… Поверьте слову Яна Залуского. Ну что же ты стал, продолжай, — накинулся он вдруг на своего долгоусого провожатого.

Впечатление этой сцены еще некоторое время держалось в толпе, пока феномен принимал ногами пищу, снимал с себя куртку и вдевал нитку в иглу.

— Наконец, уважаемые господа, — провозгласил долгоусый торжественно, — ногами он

подписывает свое имя и фамилию.

— И пишу поучительные афоризмы, — живо подхватил феномен. — Пишу поучительные афоризмы всем вообще или каждому желающему порознь, ногами, за особую плату, для душевной пользы и утешения. Если угодно, уважаемые господа. Ну, Матвей, доставай канцелярию.

Долгоусый достал из сумки небольшую папку, феномен взял ногой перо и легко написал на бумаге свою фамилию: «Ян Криштоф Залуский, шляхтич-феномен из Заславского повета».

— А теперь, — сказал он, насмешливо поворачивая голову, — кому угодно получить афоризм?.. Поучительный афоризм, уважаемые господа, от человека, знающего настоящее, прошедшее и будущее.

Острый взгляд феномена пробежал по всем лицам, останавливаясь то на одном, то на другом, точно гвоздь, который он собирался забить глубоко в того, на ком остановится его выбор. Я никогда не забуду этой немой сцены. Урод сидел в своей тележке, держа гусиное перо в приподнятой правой ноге, как человек, ожидающий вдохновения. Было что-то цинически карикатурное во всей его фигуре и позе, в саркастическом взгляде, как будто искавшем в толпе свою жертву. Среди простой

публики взгляд этот вызывал тупое смятение, женщины прятались друг за друга, то смеясь, то как будто плача. Пан Уляницкий, когда очередь дошла до него, растерянно улыбнулся и выразил готовность достать из кармана еще монету. Долгоусый проворно подставил шляпу… Феномен обменялся взглядом с моим отцом, скользнул мимо Дударева, почтительно поклонился матери, и внезапно я почувствовал этот взгляд на себе…

— Подойди сюда, малец, — сказал он, — и ты тоже, — позвал он также брата.

Все взгляды обратились на нас с любопытством или сожалением. Мы рады были бы провалиться сквозь землю, но уйти было некуда; феномен пронизывал нас черными глазами, а отец смеялся.

— Ну что ж, ступайте, — сказал он таким тоном, каким порой приказывал идти в темную комнату, чтобы отучить от суеверного страха.

И мы оба вышли с тем же чувством содрогания, с каким, исполняя приказ, входили в темную комнату… Маленькие и смущенные, мы остановились против тележки, под взглядом странного существа, смеявшимся нам навстречу. Мне казалось, что он сделает над нами что-то такое, от чего нам будет после стыдно всю жизнь, стыдно в гораздо большей степени, чем в ту минуту, когда

мы слезали с забора под насмешливым взглядом Павла… Может быть, он расскажет… но что же? Что-нибудь такое, что я сделаю в будущем, и все будут смотреть на меня с таким же содроганием, как несколько минут назад при виде его уродливой наготы… Глаза мои застилались слезами, и, точно сквозь туман, мне казалось, что лицо странного человека в тележке меняется, что он смотрит на меня умным, задумчивым и смягченным взглядом, который становится все мягче и все страннее. Потом он быстро заскрипел пером, и его нога протянулась ко мне с белым листком, на котором чернела ровная, красивая строчка. Я взял листок и беспомощно оглянулся кругом.

— Прочитай, — сказал, улыбаясь, отец.

Я взглянул на отца, потом на мать, на лице которой виднелось несколько тревожное участие, и механически произнес следующую фразу:

— «Человек создан для счастья, как птица для полета…»

Я не сразу понял значение афоризма и только по благодарному взгляду, который мать кинула на феномена, понял, что все кончилось для нас благополучно. И тотчас же опять раздался еще более прежнего резкий голос феномена:

— Обойди!

Долгоусый грациозно кланялся и подставлял шляпу. На этот раз, я уверен, больше всех дала моя мать. Уляницкий эмансипировался и только величественно повел рукой, показывая, что он и без того был слишком великодушен. Последним кинул монету в шляпу мой отец.

— Хорошо сказано, — засмеялся он при этом, — только кажется, это скорее парадокс, чем поучительный афоризм, который вы нам обещали.

— Счастливая мысль, — насмешливо подхватил феномен. — Это афоризм, но и парадокс вместе. Афоризм сам по себе, парадокс в устах феномена… Ха-ха! Это правда… Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полета…

Он остановился, в глазах его мелькнуло что-то странное — они как будто затуманились…

— И для счастья тоже… — прибавил он тише, как будто про себя. Но тотчас же взгляд его сверкнул опять холодным открытым цинизмом. — Га! — сказал он громко, обращаясь к долгоусому. — Делать нечего, Матвей, обойди почтенную публику еще раз.

Долгоусый, успевший надеть свою шляпу и считавший, по-видимому, представление законченным, опять замялся. По-видимому, несмотря на сильно помятую фигуру и физиономию, не

внушавшую ни симпатии, ни уважения, в этом человеке сохранялась доля застенчивости. Он нерешительно смотрел на феномена.

— Ты глуп! — сказал тот жестко. — Мы получили с уважаемых господ за афоризм, а тут оказался еще парадокс… Надо получить и за парадокс… За парадокс, почтенные господа!.. За парадокс бедному шляхтичу-феномену, который кормит ногами многочисленное семейство…

Шляпа обошла еще раз по крыльцу и по двору, который к тому времени наполнился публикой чуть не со всего переулка.

IV

После обеда я стоял на крыльце, когда ко мне подошел брат.

— Знаешь что, — сказал он, — этот… феномен… еще здесь.

— Где?

— В людской. Мама позвала их обоих обедать… И долгоусый тоже. Он его кормит с ложки…

В эту самую минуту из-за угла нашего дома показалась худощавая и длинная фигура долгоусого. Он шел, наклонясь, с руками назади, и тащил за собой тележку, в которой сидел феномен, подобравши ноги. Проезжая мимо флигелька, где

жил военный доктор, он серьезно поклонился по направлению к окну, из которого попыхивал по временам синий дымок докторской трубки, и сказал долгоусому: «Ну, ну, скорее!» Около низких окон Уляницкого, занавешенных и уставленных геранью, он вдруг зашевелился и крикнул:

— До свиданья, благодетель… Я знаю прошедшее, настоящее и будущее, как пять пальцев моей правой руки… которой у меня, впрочем, нет… ха-ха! Которой у меня нет, милостивый мой благодетель… Но это не мешает мне знать прошедшее, настоящее и будущее!

Затем тележка выкатилась за ворота…

Как будто сговорившись, мы с братом бегом обогнули флигель и вышли на небольшой задний дворик за домами. Переулок, обогнув большой дом, подходил к этому месту, и мы могли здесь еще раз увидеть феномена. Действительно, через полминуты в переулке показалась долговязая фигура, тащившая тележку. Феномен сидел, опустившись. Лицо у него казалось усталым, но было теперь проще, будничнее и приятнее.

С другой стороны, навстречу, в переулок вошел старый нищий с девочкой лет восьми. Долгоусый кинул на нищего взгляд, в котором на мгновение отразилось беспокойство, но тотчас же он

принял беззаботный вид, стал беспечно глядеть по верхам и даже как-то некстати и фальшиво затянул вполголоса песню. Феномен наблюдал все эти наивные эволюции товарища, и глаза его искрились саркастической усмешкой.

— Матвей! — окликнул он, но так тихо, что долгоусый только прибавил шагу.

— Матвей!

Долгоусый остановился, посмотрел на феномена и как-то просительно произнес:

— А! Ей-богу, глупство!..

— Доставай, — кратко сказал феномен.

— Ну!

— Доставай.

— Ну-у? — совсем жалобно протянул долгоусый, однако полез в карман.

— Не там, — сказал холодно феномен. — Сороковец доктора у тебя в правом кармане… Дедушка, постой на минуту.

Нищий остановился, снял шляпу и уставился в него своими выцветшими глазами. Долгоусый, с видом человека, смертельно оскорбленного, достал серебряную монету и кинул в шляпу старика.

— Дьявол вас тут носит, дармоедов, — пробормотал он, принимаясь опять за дышло. Нищий

кланялся, держа шляпу в обеих руках. Феномен захохотал, откинув голову назад… Тележка двинулась по переулку, приближаясь к нам.

— А ты сегодня в добром гумо`ре, — угрюмо и язвительно сказал долгоусый.

— А что? — с любопытством сказал феномен.

— Так… пишешь приятные афоризмы и раздаешь голодранцам по сороковцу… Какой, подумают люди, счастливец!

Феномен захохотал своим резким смехом, от которого у меня что-то прошло по спине, и потом сказал:

— Ха! Надо себе позволить иногда… притом же ничего не потеряли… Ты видишь, и приятные афоризмы иногда делают сбор. У тебя две руки, но твоя голова ничего не стоит, бедный Матвей!.. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понял? У людей бывают и головы, и руки. Только мне забыли приклеить руки, а тебе по ошибке поставили на плечи пустую тыкву… Ха! Это неприятно для нас, однако не изменяет общего правила…

Под конец этой речи неприятные ноты в голосе феномена исчезли, и в лице появилось то самое выражение, с каким он писал для меня афоризм. Но в эту минуту тележка поравнялась с тем ме-

стом, где мы стояли с братом, держась руками за балясины палисадника и уткнув лица в просветы. Заметив нас, феномен опять захохотал неприятным смехом.

— А! лоботрясы! Пришли еще раз взглянуть на феномена бесплатно? Вот я вас тут! У меня есть такие же племянники, я кормлю и секу их ногами… Не хотите ли попробовать?.. Это очень интересно. Ха-ха-ха! Ну, бог с вами, не трону… Человек создан для счастья. Афоризм и парадокс вместе, за двойную плату… Кланяйтесь доктору от феномена и скажите, что человеку надо кормиться не тем, так другим, а это трудно, когда природа забыла приклеить руки к плечам… А у меня есть племянники, настоящие, с руками… Ну, прощайте и помните: человек создан для счастья…

Тележка покатилась, но уже в конце переулка феномен еще раз повернулся к нам, кивнул головой кверху, на птицу, кружившуюся высоко в небе, и крикнул еще раз:

— Создан для счастья. Да, создан для счастья, как птица для полета.

Затем он исчез за углом, а мы с братом долго еще стояли, с лицами между балясин, и смотрели то на пустой переулок, то на небо, где, широко

раскинув крылья, в высокой синеве, в небесном просторе, вся залитая солнцем, продолжала кружиться и парить большая птица…

А потом мы пошли опять в свой угол, добыли удочки и принялись было в молчании поджидать серебристую рыбу в загнившей бадье…

Но теперь это почему-то не доставляло нам прежнего удовольствия. От бадьи несло вонью, ее глубина потеряла свою заманчивую таинственность, куча мусора, как-то скучно освещенная солнцем, как бы распалась на свои составные части, а кузов казался дрянной старой рухлядью…

Ночью оба мы спали плохо, вскрикивали и плакали без причины. Впрочем, причина была: в дремоте обоим нам являлось лицо феномена и его глаза, то холодные и циничные, то подернутые внутренней болью…

Мать вставала и крестила нас, стараясь этим защитить своих детей от первого противоречия жизни, острой занозой вонзившегося в детские сердца и умы…

1894

Без языка
Рассказ

I

На моей родине, в Волынской губернии, в той ее части, где холмистые отроги Карпатских гор переходят постепенно в болотистые равнины Полесья, есть небольшое местечко, которое я назову Хлебно. С северо-запада оно прикрыто небольшой возвышенностью. На юго-восток от него раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на горизонте переходящими в синие полосы еще уцелевших лесов. Там и сям, особенно под лучами заходящего солнца, сверкают широкие озера, между которыми змеятся узенькие, пересыхающие на лето речушки.

Сторона спокойная, тихая, немного даже сонная. Местечко похоже более на село, чем на город, но когда-то оно знало если не лучшие, то во всяком случае менее дремотные дни. На возвышенности сохранились еще следы земляных окопов, на которых теперь колышется трава, и пастух старается передать ее шепот на своей

нехитрой дудке, пока общественное стадо мирно пасется в тени полузасыпанных рвов…

Невдалеке от этого местечка, над извилистой речушкой, стоял, а может и теперь еще стоит, небольшой поселок. Речка от лозы, обильно растущей на ее берегах, получила название Лозовой; от речки поселок назван Лозищами, а уже от поселка жители все сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем…

Трудно сказать, когда этот поселок засел под самым боком у города. Было это еще в те времена, когда на валах виднелись пушки, а пушкари у них постоянно сменялись: то стояли с фитилями поляки, в своих пестрых кунтушах, а казаки и голота подымали кругом пыль, облегая город… то, наоборот, из пушек палили казаки, а польские отряды кидались на окопы. Говорили, будто Лозинские были когда-то реестровыми казаками и получили разные привилегии от польских королей. Ходили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством.

Все это, однако, давно забылось. В шестидесятых

годах умер столетний старик Лозинский-Шуляк. В последние годы он уже ни с кем не разговаривал, а только громко молился или читал старую славянскую Библию. Но люди еще помнили, как он рассказывал о прежних годах, о Запорожье, о гайдамаках, о том, как и он уходил на Днепр и потом с ватажками нападал на Хлебно и на Клевань, и как осажденные в горящей избе гайдамаки стреляли из окон, пока от жара не лопались у них глаза и не взрывались сами собой пороховницы. И старик сверкал дикими потухающими глазами и говорил: «Гей-гей! Было когда-то наше время… Была у нас свобода!..» А лозищане — уже третье или четвертое поколение, — слушая эти странные рассказы, крестились и говорили: «А то ж не дай господи боже!»

Сами они давно уже запахали в землю все привилегии и жили под самым местечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волынском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедовали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковка была закрыта и постепенно развалилась… Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с

синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки бараньи. И хотя, может быть, были беднее своих соседей, но все же смутная память о каком-то лучшем прошлом держалась под соломенными стрехами лозищанских хат. Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по-церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо. Правда, это очень трудно было бы заметить постороннему, потому что при встрече с господами или начальством они так же торопливо сворачивали с дороги, так же низко кланялись и так же иной раз целовали смиренно господские руки. Но все-таки было *что-то,* и опытные люди *что-то* замечали. О лозищанах говорили, что они *что-то* вспоминают, о *чем-то* воображают и *чем-то* недовольны. Действительно, на обычные вопросы при встречах: «Как себе живете?» или: «Как вам бог помогает?» — лозищане, вместо «слава богу», только махали рукой и говорили: «А, какая там жизнь!» или: «Живем, как горох при дороге!». А иные, посмелее, принимались рассказывать иной раз такое, что не всякий соглашался слушать. К тому же у них тянулась долгая тяжба с соседним помещиком из-за чинша, которую лозищане сначала проиграли, а потом вышло

как-то так, что наследник помещика уступил… Говорили, что после этого Лозинские стали «еще гордее», хотя не стали довольнее.

И нигде так радушно не встречали заезжих людей, которые могли порассказать кое-что о широком белом свете.

II

Так же вот жилось в родных Лозищах и некоему Осипу Лозинскому, то есть жилось, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Был он уже женат, но детей у него еще не было, и не раз он думал о том, что когда будут дети, то им придется так же плохо, а то и похуже. «Пока человек еще молод, — говаривал он, — а за спиной еще не пищит детвора, тут-то и поискать человеку, где это затерялась его доля».

Не первый он был и не последний из тех, кто, попрощавшись с родными и соседями, взяли, как говорится, ноги за пояс и пошли искать долю, работать, биться с лихой нуждой и есть горький хлеб из чужих печей на чужбине. Немало уходило таких неспокойных людей и из Лозищей, уходили и в одиночку, и парами, а раз даже целым гуртом пошли за хитрым агентом-немцем, пробравшись ночью через границу. Только все

это дело кончалось или ничем, или еще хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, кого немцы гнали на веревке до границы, а кто пропадал без вести, затерявшись где-то в огромном божьем свете, как маленькая булавка в омете соломы.

Лозинский Осип был, кажется, еще первый, который не пропал и отыскался. Человек, видно, был с головой, не из тех, что пропадают, а из тех, что еще других выводят на дорогу. Как бы то ни было — через год или два, а может и больше, пришло в Лозищи письмо с большою рыжею маркой, какой до того времени еще и не видывали в той стороне. Немало дивились письму, читали его и перечитывали в волости и писарь, и учитель, и священник, и много людей позначительнее, кому было любопытно, а, наконец, все-таки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо в разорванном конверте, на котором совершенно ясно было написано ее имя: Катерине Лозинской, жене Лозинского Иосифа Оглобли, в Лозищах.

Письмо было от ее мужа, из Америки, из губернии Миннесота, а какого уезда и села, теперь сказать очень трудно, потому что… Впрочем, это будет видно дальше.

В письме было написано, что Лозинский, слава богу, жив и здоров, работает на «фарме» и, если

бог поможет ему так же, как помогал до сих пор, то надеется скоро и сам стать хозяином. А впрочем, и работником там ему лучше, чем иному хозяину в Лозищах. Свобода в этой стороне большая. Земли довольно, коровы дают молока по ведру на удой, а лошади — чистые быки. Человека с головой и руками уважают и ценят, и вот даже его, Лозинского Осипа, спрашивали недавно, кого он желает выбрать в главные президенты над всею страной. И он, Лозинский, подавал свой голос не хуже людей, и хоть, правду сказать, сделалось не так, как они хотели со своим хозяином, а все-таки ему понравилось и то, что человека, как бы то ни было, спросили. Одним словом, свобода и все остальное очень хорошо. Только Лозинскому очень скучно без жены, и потому он старался работать как только можно, и первые деньги отдал за *тикет,* который и посылает ей в этом письме. А что такое *тикет,* так это вот эта самая синяя бумажка, которую надо беречь как зеницу ока. На ней нарисован паровоз с вагонами и пароход. Это значит, что по этому билету Лозинскую повезут теперь даром и по земле, и по воде — стоит ей только доехать до немецкого города Гамбурга. А на другие расходы пусть продаст избу, корову и имущество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на нее и говорили между собой, что вот и в какой пустой бумажке какая может быть великая сила, что человека повезут на край света и нигде уже не спросят плату. Ну, разумеется, все понимали при этом, что такая бумажка должна была стоить Осипу Лозинскому немало денег. А это, конечно, значит, что Лозинский ушел в свет не напрасно и что в свете можно-таки разыскать свою долю…

И всякий подумал про себя: а хорошо бы и мне… Писарь (тоже лозищанин родом), и тот не сразу отдал Лозинской письмо и билет, а держал у себя целую неделю и думал: баба глупая, а с такой бумагой и кто-нибудь поумнее мог бы побывать в Америке и поискать там своего счастья… Но на билете было совершенно ясно, хоть и не по-нашему, написано: mississ Katharina Ioseph Losinsky-Oglobla. Иосиф Лозинский и Оглобля — это бы, конечно, еще ничего, но Катерина — это уже было ясно, что женщина, да и mississ тоже, пожалуй, обозначает бабу. Одним словом, хотя и в последнюю минуту писарь все еще как-то вздыхал и неприятно косился, вынимая из стола билет, который у него был припрятан особо, но все-таки отдал. Лозинская взяла его, села на лавку и горько заплакала.

Разумеется, она была рада письму, да ведь и от радости тоже плачут. Притом все-таки приходилось покинуть и родную деревню, и родных, и соседей. Затем нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, как говорится, гладкая. Без мужа мало ли беды — не видела проходу хотя бы и от этого самого писаря, а на духу приходилось признаваться, что и враг не оставлял ее в покое. Нет-нет да и зашепчет кто-то на ухо, что Осип Лозинский далеко, что еще никто из таких далеких стран в Лозищи не возвращался, что, может, вороны растаскали уже и мужнины косточки в далекой пустыне, а она тут тратит напрасно молодые лета — ни девкой, ни вдовой, ни мужниной женой. Правда, что Лозинская была женщина разумная и соблазнить ее было нелегко, но что у нее было тяжело на душе, это оказалось при получении письма: сразу подкатили под сердце и настоящая радость, и прежнее горе, и все грешные молодые мысли, и все бессонные ночи с горячими думами. Одним словом, упала Лозинская в обморок, и пришлось тут ее родному брату Матвею Лозинскому, по прозванию Дышло, нести ее на руках в ее хату.

И пошел по деревне говор. Осип Лозинский разбогател в Америке и стал таким важным чело-

веком, что с ним уже советуются, кого назначить в президенты… Стали молодые люди почасту гостить в корчме, пьют пиво и мед, курят трубки, засиживаются за полночь, шумят, спорят и хвастают. Кто бы послушал эти толки, то подумал бы, что не останется в Лозищах ни одного молодого человека к филипповкам… Если уже Осипа спрашивали, кого он хочет в президенты, то что там наделают другие, получше Осипа!.. Потому что там — свобода!

Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлемы, спокойно слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из лозищан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего человек будто прибавлялся в росте и что-то будто вспоминалось неясное, но приятное… Что-то такое, о чем как будто бы знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и они тоже знают…

Ну да ведь мало ли кто о чем говорит! Поговорили, пошумели и бросили. И, может, уже забыли и тянут лямку, как вол в борозде, а может, говорят и до сих пор, все на том же месте. А все-таки отыскались тут два человека из таких, что не любят

много говорить, пока не сделают… Подумали, потолковали на стороне друг с другом и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то было, пожалуй, немного, и, когда все это дело покончили, тогда и объявили: едем и мы с Осиповой Лозихою, чтобы ей одной не пропасть в дороге.

Один приходился ей близким человеком: это был ее брат, Матвей Дышло, родной правнук Лозинского-Шуляка, бывшего гайдамака, — человек огромного роста, в плечах сажень, руки как грабли, голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котел — настоящий медведь из пущи. Говорили, что он наружностью походил на деда. Только глаза и сердце — как у ребенка. Женат он еще не был, изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь такому огромному человеку поперек полосы, то ноги уже окажутся на чужой земле. Говорил мало, смеялся редко. У него была старая дедовская Библия, которую он любил читать, и часто думал что-то про себя стыдливо и печально. Никогда его в Лозищах умным не считали, и парни нередко издевались над ним, может быть потому, что он, несмотря на свою необычайную силу, драться не любил.

Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский Дыма, человек уже совсем другого рода:

небольшого роста, не сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Дыма был сухощав, говорлив, подвижен, волосы у него торчали щетиной, глаза бегали и блестели, язык имел быстрый, находчивый, усы носил длинные, по-казачьи — книзу. Никто его дураком не считал, и он никому не давал спуску. Но если кого заденет своим колючим словом, то уже, бывало, все старается держаться поближе к Матвею, потому что на руку был не силен и в драке ни с кем устоять не мог.

Когда узнали в Лозищах, что и эти двое собрались в Америку, то как-то всем это стало неприятно.

— Да где же тебе, Матвей, — говорили приятели, — в такую даль забираться? Ты глуп, а Иван слаб. Да вас там в Америке гуси затопчут.

Но Матвей отвечал:

— Будет что бог даст. А я от сестры да от Дымы не отстану.

Так и поехали втроем в дальнюю дорогу… Не стоит описывать, как они переехали через границу и проехали через немецкую землю; все это не так уж трудно. К тому же в Пруссии немало встречалось и своих людей, которые могли указать, как и что надо делать дорогой. Довольно будет сказать, что приехали они в Гамбург и, взявши

свои пожитки, отправились, недолго думая, к реке, на пристань, чтобы там узнать, когда следует ехать дальше.

А Гамбург немецкий город, стоит на большой реке, не очень далеко от моря, и оттуда ходят корабли во все стороны. Вот видят наши лозищане в одном месте, на берегу, народу видимо-невидимо, бегут со всех сторон, торопятся и толкаются так, как будто человек — какое-нибудь бревно на проезжей дороге. А с берега, от пристани, два пароходика все возят народ на корабль, потому что корабли, которые ходят по океану, стоят на середине поодаль, на самом глубоком месте. Видят лозищане, что один корабль дымится, а к нему то и дело пристают пароходы. Выкинут в него народ, сундуки, узлы и чемоданы — и тотчас же опять к пристани, и опять нагружаются, и везут снова.

Вот Иван Дыма, рассмотревши все хорошенько, догадался первый.

— А знаете, говорит, что я вам скажу: это, должно быть, корабль в Америку, потому что очень велик. Вот мы и попали как раз. Давай, Матвей, пробираться вперед.

Поставили они женщину с билетом впереди и пошли проталкивать ее между народом. Дошли до самого края пристани, а там уж, видно, послед-

нюю партию принимают. Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачут, и кричат, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машут платками. И редкое лицо не взволновано, и на редких глазах не сверкают прощальные слезы… И все кругом — чужой язык звучит, незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как волна, что брызжет пеной под ногами. Закружились у наших лозищан головы, забились сердца, глаза так и впились вперед, чтобы как-нибудь не отстать от других, чтобы как-нибудь их не оставили в этой старой Европе, где они родились и прожили полжизни…

Матвею Лозинскому нетрудно было пробить всем дорогу, и через две минуты Лозинская стояла уже со своим сундуком у самого мостика и в руках держала билет. А пароходик уже свистнул два раза жалобно и тонко, и черный дым пыхнул из его трубы в сырой воздух — видно, что сейчас уходить хочет; а пока лозищане оглядывались — раздался и третий свисток, и что-то заклокотало под ногами так сильно, что наши даже вздрогнули и невольно подались назад. А в это время какой-то огромный немец, с выпученными глазами и весь в поту, суетившийся всех больше на пристани, увидел Лозинскую, выхватил у нее

билет, посмотрел, сунул ей в руку, и не успели лозищане оглянуться, как уже и женщина, и ее небольшой узел очутились на пароходике. А в это время два других матроса сразу двинули мостки, сшибли с ног Дыму, отодвинули Матвея и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши лозищане к высокому немцу.

— А побойся ты бога, человече! — закричал ему Дыма. — Да это же наша родная сестра, мы хотим ехать вместе.

Дыма, конечно, схитрил, называя себя родным братом Лозинской, да какая уж там, к черту, хитрость, когда немец ни слова не понимает. А тут пароходик отваливает, а с парохода Катерина так разливается, что даже изо всех немецких голосов ее голос слышен. Завернули лозищане полы, вытащили что было денег, положили на руки, и пошел Матвей опять локтями работать. Стали опять впереди, откуда еще можно было вскочить на пароход, и показывают немцу деньги, чтобы он не думал, что они намерены втроем ехать по одному бабьему билету. Дыма так даже отобрал небольшую монетку и тихонько сунул ее в руку немцу. Сунул и сам же зажал ему руку, чтобы монета не вывалилась, и показывает ему на пароходик и на женщину, которая в это время

уже начала терять голос от испуга и плача…

Ничего не вышло! Немец, положим, монету не бросил и даже сказал что-то довольно приветливо, но когда наши друзья отступили на шаг, чтобы получше разбежаться и вскочить на пароходик, немец мигнул двум матросам, а те, видно, были люди привычные: сразу так принялись за обоих лозищан, что нечего было думать о скачке.

— Матвей, Матвей, — закричал было Дыма, — а ну-ка, попробуй с ними по-своему. Как раз теперь это и нужно! — Но в это время оба отлетели, и Дыма упал, задравши ноги кверху.

Когда он поднялся — пароходик уже скользил, поворачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворочались колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвост дыма задел по лицам густо столпившуюся публику, потом мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и еще через минуту — между пристанью и пароходом залегла бурливая и мутная полоса воды в две-три сажени. Колеса ударили дружнее, и полоса растянулась в десять-двадцать сажен, а пароходик стал уменьшаться, убегая среди мглистого воздуха, под мутным небом, по мутной реке…

Лозищане глядели, разинувши рты, как он пристал к одному кораблю, как что-то протянулось с

него на корабль, точно тонкая жердочка, по которой, как муравьи, поползли люди и вещи. А там и самый корабль дохнул черным дымом, загудел глубоким и гулким голосом, как огромный бугай в стаде коров, — и тихо двинулся по реке, между мелкими судами, стоявшими по сторонам или быстро уступавшими дорогу.

Лозищане чуть не заплакали, провожая глазами эту громаду, увезшую у них из-под носа бедную женщину в далекую Америку.

Народ стал расходиться, а высокий немец снял свою круглую шляпу, вытер платком потное лицо, подошел к лозищанам и ухмыльнулся, протягивая Матвею Дышлу свою лапу. Человек, очевидно, был не из злопамятных; как не стало на пристани толкотни и давки, он оставил свои манеры и, видно, захотел поблагодарить лозищан за подарок.

— Вот видишь, — говорит ему Дыма. — Теперь вот кланяешься, как добрый, а сам подумай, что ты с нами наделал; родная сестра уехала одна. Поди ты к черту! — Он плюнул и сердито отвернулся от немца.

А в это время корабль уже выбрался далеко, подымил еще, все меньше, все дальше, а там не то что Лозинскую, и его уже трудно стало различать

меж другими судами, да еще в тумане. Защекотало что-то у обоих в горле.

— Собака ты собака! — говорит немцу Матвей Дышло.

— Да! говори ты ему, когда он не понимает, — с досадой перебил Дыма. — Вот если бы ты его в свое время двинул в ухо, как я тебе говорил, то, может, так или иначе, мы бы теперь были на пароходе. А уж оттуда все равно в воду бы не бросили! Тем более у нас сестра с билетом!

— Кто знает, — ответил Матвей, почесывая в затылке. — Правду тебе сказать — хоть оно двинуть человека в ухо и недолго, а только не видал я в своей жизни, чтобы от этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тут не так сделали, верь моему слову. Твое было дело — догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.

Как это бывает часто, приятели старались свалить вину друг на друга. Дыма говорит: надо было помочь кулаком, Матвей винит голову Дымы. А немец стоит и дружелюбно кивает обоим…

Потом немец вынул монету, которую ему Дыма сунул в руку, и показывает лозищанам. Видно, что у этого человека все-таки была совесть; не захотел напрасно денег взять, щелкнул себя

пальцем по галстуку и говорит: «Шнапс», — а сам рукой на кабачок показал. Шнапс — это на всех языках понятно, что значит. Дыма посмотрел на Матвея, Матвей посмотрел на Дыму и говорит:

— А что ж теперь делать. Конечно, надо идти. Пешком по воде не побежишь, а от этого немецкого черта все-таки, может, хоть что-нибудь доберемся…

Пошли. А в кабаке стоит старый человек, с седыми, как щетина, волосами, да и лицо тоже все в щетине. Видно сразу: как ни бреется, а борода все-таки из-под кожи лезет, как отава после хорошего дождя. Как увидели наши приятели такого шероховатого человека посреди гладких и аккуратных немцев, и показалось им в нем что-то знакомое. Дыма говорит тихонько:

— Это, должно быть, минский или могилевский, а то из Пущи.

Так и вышло. Поговоривши с немцами, кабатчик принес четыре кружки с пивом (четвертую для себя) и стал разговаривать. Обругал лозищан дураками и объяснил, что они сами виноваты.

— Надо было зайти за угол, где над дверью написано: «Billetenkasse». Billeten — это и дураку понятно, что значит билет, а Kasse так касса и есть. А вы лезете, как стадо в городьбу, не умея

отворить калитки.

Матвей опустил голову и подумал про себя: «Правду говорит — без языка человек как слепой или малый ребенок». А Дыма хоть, может быть, думал то же самое, но так как был человек с амбицией, то стукнул кружкой по столу и говорит:

— Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше принеси еще по кружке и скажи, как нам теперь быть.

Всем это понравилось — увидели, что человек с самолюбием и находчивый. Немец потрепал Дыму по плечу, а хозяин принес опять четыре кружки на подносе.

— Ну как же нам ее догонять? — спрашивает Дыма.

— Беги за ней, может, догонишь, — ответил кабатчик. — Ты думаешь, на море, как в поле, на телеге. Теперь, говорит, вам надо ждать еще неделю, когда пойдет другой эмигрантский корабль, а если хотите, то заплатите подороже: скоро идет большой пароход, и в третьем классе отправляется немало народу из Швеции и Дании наниматься в Америке в прислуги. Потому что, говорят, американцы — народ свободный и гордый, и прислуги из них найти трудно. Молодые датчанки и шведки в год-два зарабатывают там

хорошее приданое.

— Пожалуй, дорого, — сказал Дыма, но Матвей возразил:

— Побойся ты бога! Ведь женщину нельзя заставлять ждать целую неделю. Ведь она там изойдет слезами. — Матвею представлялось, что в Америке, на пристани, вот так же, как в селе у перевоза, сестра будет сидеть на берегу с узелочком, смотреть на море и плакать…

Переночевали у земляка, наутро он сдал лозищан молодому шведу, тот свел их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши Лозинские — Дыма и Дышло — догонять Лозинскую Оглоблю…

III

Проходит день, проходит другой. Солнце садится в море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. Плещет волна, ходят туманные облака, летают за кораблем чайки, садятся на мачты, потом как будто отрываются от них ветром и, колыхаясь с боку на бок, как клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают назади, улетая обратно, к европейской земле, которую наши лозищане покинули навеки. Матвей Лозинский провожает их глазами и вздыхает. Вот, думает

он: и чайка боится лететь дальше, а мы полетели. И рисуется перед ним сосновый лес, под лесом речка с бледною лозой, над речкой — бедные соломенные хаты. И кажется — вернулся бы назад к прежней беде, родной и знакомой.

А море глухо бьет в борты корабля, и волны, как горы, подымаются и падают с рокотом, с плеском, с глухим стоном, как будто кто грозит и жалуется вместе. Корабль клонит-клонит, вот, кажется, совсем перевернется, а там опять начнет подниматься с кряхтением и скрипом. Гнутся и скрипят мачты, сухо свистит ветер в снастях, а корабль все идет и идет; над кораблем светит солнце, над кораблем стоит темная ночь, над кораблем задумчиво висят тучи или гроза бушует и ревет на океане, и молнии падают в колыхающуюся воду. А корабль все идет и идет…

Матвей Дышло говорил всегда мало, но часто думал про себя такое, что никак не мог бы рассказать словами. И никогда еще в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных, как эти облака и эти волны, — и таких же глубоких и непонятных, как это море. Мысли эти рождались и падали в его голове, и он не мог бы, да и не старался их вспомнить, но чувствовал ясно, что от этих мыслей что-то колышется и волнуется в

самой глубине его души, и он не мог бы сказать, что это такое…

К вечеру океан подергивался темнотой, небо угасало, а верхушки волны загорались каким-то особенным светом… Матвей Дышло заметил прежде всего, что волна, отбегавшая от острого корабельного носа, что-то слишком бела в темноте, павшей давно на небо и на море. Он нагнулся книзу, поглядел в глубину и замер…

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, выплывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь… И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный… От века веков море идет своим ходом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля… И песня моря дрог-

нула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в безвестную пучину — ничего не понимая… А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели…

И много в эти часы думал Матвей Лозинский — жаль только, что все эти мысли подымались и падали, как волны, не оставляя заметного следа, не застывая в готовом слове, вспыхивали и гасли, как морские огни в глубине… А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного, — сказал он мне, — разное думает о себе и о боге, о земле и о небе… Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти…» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет

выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и темной души… Значит, что-то все-таки осталось в этой душе от моря.

Да, наверное, оставалось… Душа у него колыхалась, как море, и в сердце ходили чувства, как волны. И порой слеза подступала к глазам, и порой — смешно сказать — ему, здоровенному и тяжелому человеку, хотелось кинуться и лететь, лететь, как эти чайки, что опять стали уже появляться от американской стороны… Лететь куда-то вдаль, где угасает заря, где живут добрые и счастливые люди…

После Лозинский сам признавался мне, что у него в то время были такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви. Там все были обыкновенные мысли, какие и должны быть в своем месте и в свое время. А в океане мысли были все особенные и необычные. Они подымались откуда-то, как эти морские огни, и он старался присмотреться к ним поближе, как к этим огням… Но это не удавалось. Пока он не следил за ними, они плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, лаская душу и сердце. А как только он начинал их ловить и хотел их рассказать себе словами — они убегали,

а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, все оттого, что было много досуга, а перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность…

На третий день пути, выйдя на палубу, он увидел впереди корабль. Сначала ему показалось, что это маленький игрушечный кораблик запутался между снастями того парохода, на котором они сами плыли. Но это оттого, что прозрачный и ясный воздух приближал все, а кругом, кроме воды, ничего не было. Парусный корабль качался и рос, и когда поравнялся с ними, то Лозинский увидел на нем веселых людей, которые смеялись и кланялись, и плыли себе дальше, как будто им не о чем думать и заботиться, и жизнь их будто всегда идет так же весело, как их корабль при попутном ветре… А в другой раз в сильную качку, когда на носу их парохода стояла целая туча брызгов, он опять смотрел, как такой же кораблик, весь наклонившись набок, летел, как птица. Волны вставали и падали, как горы, и порой с замиранием сердца Лозинский и другие пассажиры смотрели и не видели больше смелого суденышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять его парус касался пены, будто крыло чай-

ки, — и он колыхался и шел, шел и колыхался… А Лозинский думал про себя, что это, должно быть, уже американцы. Смелые, видно, люди! И вот он едет к ним, простой и робкий лозищанин… Как-то они его встретят и зачем он им нужен?.. И какой-то он будет сам через десяток лет?..

И ему казалось, что и теперь он уже другой, не тот, что ходил за сохой в Лозищах или в праздник глазел на базар в соседнем городе. Уже одно то, что он видел это колыхающееся без конца море, эти корабли, этих странных, чужих людей… То, что его глаз смотрел в тайну морской глубины и что он чувствовал ее в душе и думал о ней и об этих чужих людях, и о себе, когда он приедет к ним, — все это делало его как будто другим человеком. И он вглядывался вперед, в яркую синеву неба или в пелену морских туманов, как будто искал там свое место и свое будущее…

В одну из таких минут, когда неведомые до тех пор мысли и чувства всплывали из глубины его темной души, как искорки из глубины темного моря, — он разыскал на палубе Дыму и спросил:

— Послушай, Дыма. Как ты думаешь все-таки: что это у них там за свобода?

Но Дыма ответил сердито:

— Убирайся ты… Поищи себе трясцу (лихорад-

ку) или паралича, чтобы тебя разбило вдребезги ясным громом.

Это оттого, что бедному Дыме в эту минуту был не мил белый свет. Потому что, когда корабль раскачивало направо и налево, то от кормы к носу, то опять от носа к корме, — тогда небо, казалось, вот-вот опрокинется на море, а потом опять море все разом лезло высоко к небу. От этого у бедного Дымы страшно кружилась голова, что-то тосковало под ложечкой, и он все подходил к борту корабля и висел книзу головой, точно тряпка, повешенная на плетне для просушки. Бедного Дыму сильно тошнило, и он кричал, что это проклятое море вывернет его наизнанку, и заклинал христом-богом, чтобы корабль пристал к какому-нибудь острову и чтоб его, Дыму, высадили хоть к дикарям, если не хотят загубить христианскую душу. Сначала Матвей очень дивился тому, что у Дымы оказался такой непостоянный характер, и даже пробовал всячески стыдить его. Но потом увидел, что это не с одним Дымой; многие почтенные люди и даже шведские и датские барышни, которые плыли в Америку наниматься в горничные и кухарки, так же висели на бортах, и с ними было все то же, что и с Дымой. Тогда Матвей понял, что это на океане дело обыкновен-

ное. Самому ему становилось иногда неприятно и только; Дыма — человек нервный — проклинал и себя, и Осипа, и Катерину, и корабль, и того, кто его выдумал, и всех американцев, даже еще не рожденных на свет… Порой, кажется, он готов был даже кощунствовать, но все-таки сдерживался… Потому что на море оно как-то не так легко, как иной раз на земле…

А все-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. И еще на берегу, в Европе, когда они разговорились с могилевцем-кабатчиком, тогда сам Дыма спросил у него первый:

— А что, скажите на милость… Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А! рвут друг другу горла — вот и свобода… — сердито ответил тот. — А впрочем, — добавил он, допивая из кружки свое пиво, — и у нас это делают как не надо лучше. Поэтому я, признаться, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома…

— Это вы, кажется, кинули камень в наш огород, — сказал тогда догадливый Дыма.

— Мне до чужих огородов нет дела, — ответил могилевец уклончиво, — я говорю только, что на этом свете, кто перервал друг другу горло, тот и

прав… А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами… Не думаю, однако, чтобы было много лучше.

Кабатчик, видимо, видал в жизни много неприятностей. Ответ его не понравился лозищанам и даже немного их обидел. Что люди всюду рвут друг друга — это, конечно, может быть, и правда, но свободой, — думали они, — наверное, называется что-нибудь другое. Дыма счел нужным ответить на обидный намек.

— А это, я вам скажу, всюду так: как ты кому, так и тебе люди: мягкому и на доске мягко, а костистому жестко и на перине. А такого шероховатого человека, как вы, я еще, признаться, и не видывал…

Таким образом, разговор тогда кончился немного кисло…

Теперь с лозищанами на корабле плыл еще чех, человек уже старый и невеселый, но приятный. Его выписал сын, который хорошо устроился в Америке. Старик ехал, но, по его словам, лучше было бы, если бы сын хорошо устроился на родине. Тогда бы и ехать незачем. Чешская речь все-таки — славянская. Поляку могло показаться, что это он говорит по-русски, а русскому — что по-польски. Наши же лозищане говорили на

волынском наречии: не по-русски и не по-польски, да не совсем и по-украински, а всех трех языков намешано понемногу. Поэтому им было легче. Дыма к тому же — человек, битый не в темя, — разговорился скоро. Где не хватало языка, он помогал себе и руками, и головой, и ногами. Где щелкнет, где причмокнет, где хлопнет рукой — одним словом, как-то скоро стали они с чехом приятели. А чех говорит по-немецки, значит, можно было кое-что узнать через него и от немцев. А уже через немцев — и от англичан…

Вот когда ветер стихал и погода становилась яснее, Дыму и других отпускала болезнь, и становилось на пароходе веселее. Тогда пассажиры третьего класса выползали на носовую палубу, долговязый венгерец начинал играть на дудке, молодой немец на скрипке, а молодежь брала шведских барышень за талью и кружилась, обходя осторожно канаты и цепи. И над океаном неслись далеко звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху белую пену и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. А на душе становилось и весело, и грустно.

В это время Дыма с чехом усаживались где-нибудь в уголке, брали к себе еще англичанина или знающего немца, и Дыма учился разговаривать.

Англичанин говорил немцу, немец — чеху, а уж чех передавал Дыме. Прежде всего, разумеется, он выучился американскому счету и затверживал его, загибая пальцы. Потом узнал, как называть хлеб и воду, потом плуг и лошадь, дом, колодезь, церковь. И все списывал на бумажке и твердил про себя. Он старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно. Только и выучил по-английски «три» — потому что у них три называется по-нашему.

А потом у старого чеха Дыма тоже спросил, что такое свобода. Это, говорит, сделана у них на острове такая медная фигура. Стоит выше самых высоких домов и церквей, подняла руку кверху. А в руке — факел, такой огромный, что светит далеко в море. Внутри лестница — и можно войти в голову, и в руку, и даже на верхушку факела. Вечером зажигают огонь во лбу и около факела, и тогда выходит сияние, точно от месяца и даже много ярче. И называется эта медная женщина — свобода.

Дыма передал этот разговор Матвею, но обоим казалось, что это опять не то: один говорит: «рвут горло», другой говорит: «фигура, которая светится»… А Матвею почему-то вспоминался все старый дед Лозинский-Шуляк, который подарил

ему Библию. Старик умер, когда Матвей еще был ребенком; но ему вспоминались какие-то смутные рассказы деда о старине, о войнах, о Запорожье, где-то в степях на Днепре… И теперь, как память о странном сне, рассказанном старым дедом, рисовалась эта старина, и какой-то простор, и какая-то дикая воля… «А если встретишь, бывало, татарина или хоть кого другого… Ну, тут уже кому бог поможет», — вспоминались слова деда… «Что же, — думал он, — тоже, выходит, «рвали горло»…» Потом он вспоминал, что была над народом панская «неволя». Потом пришла «воля»… Но свободы все как будто не было. У него кружилась голова, мысли туманились, а в душе оставался все-таки нерешенный вопрос.

IV

На седьмой день пал на море страшный туман. Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую стену и едва было видно, как колышется во мгле притихшее море. Раза два-три, прямо у самого парохода, проплыли какие-то водоросли, и Лозинский подумал, что это уже близко Америка. Но Дыма узнал через своего чеха, что это как раз середина океана. Только не очень далеко на полдень — мелкое место. И здесь теплая

струя ударяется в мель и идет на полночь, а тут же встречается и холодная струя с полночных морей. И оттого над морем в этом месте все гнездится туман. Пароход шел тихо, и необыкновенно громкий свисток ревел гулко и жалобно, а стена тумана отдавала этот крик, как эхо в густом лесу. И становилось всем жутко и страшно.

И в это время на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной; на третий день ему сделалось совсем плохо, и его поместили в отдельную каюту. Туда к нему ходила дочь, молодая девушка, которую Матвей видел несколько раз с заплаканными глазами, и каждый раз в его широкой груди поворачивалось сердце. А наконец, в то время, когда корабль тихо шел в густом тумане, среди пассажиров пронесся слух, что этот больной человек умер.

И действительно, на корабле все почувствовали смерть… Пассажиры притихли, доктор ходил серьезный и угрюмый, капитан с помощником совещались, и потом, через день, его похоронили в море. Завернули в белый саван, привязали к ногам тяжесть, какой-то человек, в длинном черном сюртуке и широком белом воротнике, как казалось Матвею, совсем не похожий на священника, — прочитал молитвы, потом тело

положили на доску, доску положили на борт и через несколько секунд, среди захватывающей тишины, раздался плеск… Вместе с этим кто-то громко крикнул, молодая девушка рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное слово: «Отец, отец!» Между тем корабль, тихо работавший винтами, уже отодвинулся от этого места, и самые волны на том месте смешались с белым туманом. От человека не осталось и следа… Туман сомкнулся позади плотной стеной, и туман был впереди, а пароходный ревун стонал и будто бы надрывался над печальной человеческой судьбой…

Скоро, однако, другие события закрыли собой эту смерть… В этот же день небольшая парусная барка только-только успела вывернуться из-под носа у парохода. Но это еще ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на расстоянии каких-нибудь пяти саженей. Они были в клеенчатых куртках и странных шляпах… Другой раз чуть не вышло еще хуже. Среди белого дня, в молочной мгле что-то, видно, почудилось капитану. Пароход остановили, потом отошли назад, как будто убегали от кого-то, кто двигался в тумане. Потом стали в ожидании. И вдруг Лозинский увидел вверху, как будто во мгле, встало облако с

сверкающими краями, а в воздухе стало холоднее и повеяло острым ветром. Пароход повернулся и тихо, будто украдкой, стал уползать в глубь тумана налево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинский не верил своим глазам, чтобы можно было видеть разом такую огромную гору чистого льда. Но это видели все. На пароходе все притихло, даже винт работал осторожнее и тише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдруг исчезла совсем, будто растаяла…

Наши двое лозищан и чех тотчас же сняли шапки и перекрестились. Немцы и англичане не имеют обычая креститься, кроме молитвы. Но и они также верят в бога и также молятся, и когда пароход пошел дальше, то молодой господин в черном сюртуке с белым воротником на шее (ни за что не сказал бы, что это священник) встал посреди людей, на носу, и громким голосом стал молиться. И люди молились с ним и пели какие-то канты, и священное пение смешивалось с гулким и жалобным криком корабельного ревуна, опять посылавшего вперед свои предостережения, а стена тумана опять отвечала, только еще жалобнее и еще глуше…

А море тоже все более стихало и лизало бока корабля, точно ласкалось и просило у людей

прощения…

Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую сироту, которая сидела в стороне и плакала, как ребенок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Он уже и сам не знал, как это случилось, но только он подошел к ней, положил ей на плечо свою тяжелую руку и сказал:

— Будет уже тебе плакать, малютка, бог милостив.

Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозинского и ответила:

— А! Как мне не плакать… Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец, а в Америке где-то есть братья, да где они — я и не знаю… Подумайте сами, какая моя доля!

Лозинский постоял, посмотрел и не сказал ей ничего. Он не любил говорить на ветер, да и его доля была тоже темна. А только с этих пор, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, что бы ни делал, а все думал об этой девушке и следил за нею глазами.

И тогда же Лозинский сказал себе самому: «А вот же, если я найду там в широком и неведомом свете свою долю, то это будет также и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется

кого-нибудь жалеть и любить, а особенно когда человек на чужбине».

V

На двенадцатый день народ начал все набираться на носу, как муравьи на плавучей щепке, когда ее прибивает ветром к берегу ручья. Из этого наши лозищане поняли, что, должно быть, недалеко уже американская земля. И действительно, Матвей, у которого глаза были острые, увидел первый, что над синим морем направо встала будто белая игла. Потом она поднялась выше, и уже ясно было видно, что это белый маяк. По волнам то и дело неслись лодки с косым парусом, белые пароходы, с окнами, точно в домах, маленькие пароходики, с коромыслами наверху, каких никогда еще не приходилось видеть лозищанам. А там в синеватой мгле стало проступать что-то, что-то заискрилось, что-то забелело, что-то вытягивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе что-то громыхало и стучало, и черный дым валил из высокой трубы.

Дыма толкнул Лозинского локтем.

— Видишь? Чех говорил правду.

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь

над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всем божьем свете… Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины — и во лбу ее, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и венок огоньков светился в высоко поднятой

руке…

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой, — думал Матвей. — Да здесь человек как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море…» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город все развертывал над заливом новые ряды улиц, домов и огней… И с берега, сквозь шум машины, неслось рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит, огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет… и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами…

Лозинский отыскал Анну — молодую девушку, с которой он познакомился, — и сказал:

— Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тут деется в этой Америке. Не дай боже!

Девушка схватила его за руку, и не успел сконфуженный Матвей оглянуться, как уж она поцеловала у него руку. Потому что бедняжка, видно, испугалась Америки еще хуже, чем Лозинский.

Пароход остановился на ночь в заливе, и нико-

го не спускали до следующего утра. Пассажиры долго сидели на палубах, потом большая часть разошлась и заснула. Не спали только те, кого, как и наших лозищан, пугала неведомая доля в незнакомой стране. Дыма, впрочем, первый заснул себе на лавке. Анна долго сидела рядом с Матвеем, и порой слышался ее тихий и робкий голос. Лозинский молчал. Потом и Анна заснула, склонясь усталой головой на свой узел.

И только Матвей просидел всю теплую ночь, пока свет на лбу статуи не померк, и заиграли отблески зари на волнах, оставляемых бороздами возвращавшихся с долгой ночной работы пароходов…

На следующее утро пришли на пароход американские таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, а между тем корабль потихоньку стали подтягивать к пристани. И было как-то даже грустно смотреть, как этот морской великан лежит теперь на воде, без собственного движения, точно мертвый, а какой-то маленький пароходишко хлопочет около него, как живой муравей около мертвого жука. То потянет его за хвост, то забежит с носу, и свистит, и шипит, и вертится… А пристань оказалась — огромный сарай, каких много было на берегу.

Они стояли рядами, некрасивые, огромные и мрачные. Только на одной толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали «ура». Матвей посмотрел туда с остатком надежды увидеть сестру — и махнул рукой. Где уж!..

Наконец пароход подтянули. Какой-то матрос, ловкий, как дьявол, взобрался кверху, под самую крышу сарая, и потом закачался в воздухе вместе с мостками, которые спустились на корабль. И пошел народ выходить на американскую землю…

Скучно было нашим… Пошли и они — не оставаться же на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвею приходило в голову, что на корабле было лучше. Плывешь себе и плывешь… Небо, облака, да море, да вольный ветер, а впереди, за гранью этого моря, — что бог даст… А тут вот тебе и земля, а что в ней… Всех кто-нибудь встречает, целуют, обнимаются, плачут. Только наших лозищан не встречает никто, и приходится идти самим искать неведомую долю. А где она?.. Куда ступить, куда податься, куда поставить ногу и в какую сторону повернуться — неизвестно. Стали наши, в белых свитках, в больших сапогах, в высоких бараньих шапках и с большими палками в руках — с палками, вырезанными из родной лозы, над родною речкою, и стоят, как потерянные,

и девушка со своим узелком жмется меж ними.

VI

— Жид! А ей же богу, пусть меня разобьет ясным громом, если это не жид, — сказал вдруг первый Дыма, указывая на какого-то господина, одетого в круглую шляпу и в кургузый, потертый пиджак. Хотя рядом с ним стоял молодой барчук, одетый с иголочки и уже вовсе не похожий на жиденка, — однако, когда господин повернулся, то уже и Матвей убедился с первого взгляда, что это непременно жид, да еще свой, из-под Могилева или Житомира, Минска или Смоленска, вот будто сейчас с базара, только переоделся в немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и жид, заметив белые свитки и барашковые шапки, тотчас подошел и поклонился.

— Ну, поздравляю с приездом. Как ваше здоровье, господа? Я сразу вижу, что это приехали земляки.

— А что, — сказал Дыма с торжествующим видом. — Не говорил я? Вот ведь какой это народ хороший! Где нужно его, тут он и есть. Здравствуйте, господин еврей, не знаю, как вас назвать.

— А! Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борк,

мистер Борк, — к вашим услугам, — сказал еврей и как-то гордо погладил бородку.

— А! Чтоб тебя! Ну, слушай же ты, Берко…

— Мистер Борк, — поправил еврей с еще большею гордостью.

— Ну, пускай так, мистер так и мистер, чтоб тебя схватило за бока… А где же тут хорошая заезжая станция, чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо. Потому что, видишь ты… Мы хоть в простых свитках, а не совсем уже мужики… однодворцы… Притом еще с нами, видишь сам, девушка…

— Ну разве я уж сам не могу различить, с кем имею дело, — ответил мистер Борк с большою политикой. — Что вы обо мне думаете?.. Пхе! Мистер Борк дурак, мистер Борк не знает людей… Ну, только и я вам скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борка. Я ведь не каждый день хожу на пристань, зачем я стал бы каждый день ходить на пристань?.. А у меня вы сразу имеете себе хорошее помещение, и для барышни найдем комнатку особо, вместе с моею дочкой.

— А, вот видите вы, как оно хорошо, — сказал Дыма и оглянулся, как будто это он сам выдумал этого мистера Борка. — Ну, веди же нас, когда так,

на свою заезжую станцию.

— Может, вам нужно взять еще ваш багаж?

— Э! Какой там багаж! Правду тебе сказать, так и все вот тут с нами.

— Гэ, это не очень много! Джон!.. — крикнул он на молодого человека, который таки оказался его сыном. — Ну, чего ты стоишь, как какой-нибудь болван. Таке ту бэгедж оф мисс (возьми у барышни багаж).

Молодой человек оказался не гордый. Он вежливо приподнял шляпу, схватил из рук Анны узелок, и они пошли с пристани.

Прошли через улицу и вошли в другую, которая показалась приезжим какой-то пещерой. Дома темные, высокие, выходы из них узкие, да еще в половину домов поверх улицы сделана на столбах настилка, загородившая небо…

— А, господи! матерь божья! — взвизгнула вдруг в испуге Анна и схватила за руку Матвея.

— Всякое дыхание да хвалит господа, — сказал про себя Матвей, — а что же это еще такое?

— Ай-ай, чего вы это испугались, — сказал жид. — Да это только поезд. Ну, ну, идите, что такое за важность… Пускай себе он идет своей дорогой, а мы пойдем своей. Он нас не тронет, и мы его не тронем. Здесь, я вам скажу, такая

сторона, что зевать некогда…

И мистер Борк пошел дальше. Пошли и наши скрепя сердце, потому что столбы кругом дрожали, улица гудела, вверху лязгало железо о железо, а прямо над головами лозищан, по настилке, на всех парах летел поезд. Они посмотрели с разинутыми ртами, как поезд изогнулся в воздухе змеей, повернул за угол, чуть не задевая за окна домов, — и полетел опять по воздуху дальше, то прямо, то извиваясь…

И показалось нашим, привыкшим только к шуму родного бора, да к шепоту тростников над тихою речкой Лозовою, да к скрипу колес в степи, что они теперь попали в самое пекло. Дома — шапка свалится, как посмотришь. Взглянешь назад — корабельные мачты, как горелый лес; поднимаешь глаза к небу — небо закопчено и еще закрыто этой настилкой воздушной дороги, от которой в улице вечные сумерки. А впереди человек видит опять, как в воздухе, наперерез, с улицы в улицу летит уже другой поезд, а воздух весь изрезан храпом, стоном, лязганием и свистом машин.

— Господи Иисусе, — шептала Анна бледными губами. Матвей только закусил ус, а Дыма мрачно понурил голову и шагал, согнувшись под

своим узлом. А за ними бежали кучи каких-то уличных дьяволят, даже иной раз совсем черных, как хорошо вычищенный сапог, и заглядывали им прямо в лица, и подпрыгивали, и смеялись, а один большой негодяй кинул в Дыму огрызок какого-то плода.

— А ну, это человек, наконец, может потерять всякое терпение, — сказал Дыма, ставя свой узел на землю. — Послушай, Берко…

— Мистер Борк, — поправил еврей.

— А что же, мистер Борк, у вас тут делает полиция?

— А что вам за дело до полиции? — ответил еврей с неудовольствием. — Зачем вам беспокоить полицию такими пустяками? Здесь не такая сторона, чтобы, чуть что не так, и сейчас звать полицию…

— Это, верно, называется свобода, — сказал Дыма очень язвительно. — Человеку кинули в лицо огрызок — это свобода… Ну, когда здесь уже такая свобода, то послушай, Матвей, дай этому висельнику хорошего пинка, может, тогда они нас оставят в покое.

— Ну, пожалуйста, не надо этого делать, — взмолился Берко, к имени которого теперь все приходилось прибавлять слово «мистер». — Мы

уже скоро дойдем, уже совсем близко. А это они потому, что… как бы вам сказать… Им неприятно видеть таких очень лохматых, таких шорстких, таких небритых людей, как ваши милости. У меня есть тут поблизости цирюльник… Ну, он вас приведет в порядок за самую дешевую цену. Самый дешевый цирюльник в Нью-Йорке.

— А это, я вам скажу, хорошая свобода — чтоб ее взяли черти, — сказал Дыма, сердито взваливая себе мешок на спину.

А в это время в Дыму опять полетела корка банана. Пришлось терпеть и идти дальше. Впрочем, прошли немного, как мистер Борк остановился.

— Ну, а теперь, пожалуйста, пойдем на эту лестницу…

— Да куда же это мы пойдем, хотел бы я знать? — сказал Дыма. И действительно, лестница вела с улицы наверх, на ту самую настилку, что была у них над головами.

— Ну, нам надо сесть в вагон.

— Не пойду, — сказал Дыма решительно. — Бог создал человека для того, чтобы он ходил и ездил по земле. Довольно и того, что человек проехал по этому проклятому морю, которое чуть не вытянуло душу. А тут еще лети, как какая-нибудь сорока, по воздуху. Веди нас пешком.

— Ай-ай! — сказал мистер Борк нетерпеливо, — что же мне с вами делать? Идите, пожалуйста!

— Не пойду! — решительно сказал Дыма и, обращаясь к Матвею и Анне, сказал: — И вы тоже не ходите!

Еврей что-то живо заговорил с сыном, который только улыбался, — и потом, повернувшись к Дыме, мистер Борк сказал очень решительно:

— Ну, когда вы такой упрямый человек, что все хотите по-своему… то идите куда знаете. Я себе пойду в вагон, а вы как хотите… Джон! Отдай барышне багаж. Каждый человек может идти своей дорогой.

Джон усмехнулся, но не торопился отдавать Анне багаж. Матвей взял Дыму за руку и сказал:

— А! Что там! Пойдем уже.

— Пойдем, пожалуйста, — робко сказала и Анна.

— Га! Что делать! В этой стороне, видно, надо ко всему привыкать, — ответил Дыма и, взвалив мешок на плечи, сердито пошел на лестницу.

На первом повороте за конторкой сидел равнодушный американец, которому еврей дал монету, а тот выдал ему пять билетов. Эти билеты Борк кинул в стеклянную коробку, и все поднялись еще выше и вышли на платформу.

Поезда еще не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем как наши. «Вот, — думал Матвей, — полетит это облако над землей, над морем, пронесется над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище… Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине». «Господи, — думала в это время и Анна, — а ну как это провалится, а ну как полетим мы все с этой машиной вниз, на каменную мостовую! Господи Иисусе, дева Мария, святой Иосиф! Всякая душа хвалит господа». Дыма смотрел и кусал длинный ус…

На рельсах вдали показался какой-то круг, и покатился, и стал вырастать, приближаться, железо зазвенело и заговорило под ногами, и скоро перед платформой пролетел целый поезд…

Завизжал, остановился, открылись затворки — и несколько десятков людей торопливо прошли мимо наших лозищан. Потом они вошли в вагон, заняли пустые места, и поезд сразу опять кинулся со всех ног и полетел так, что только мелькали окна домов…

Матвей закрыл глаза. Анна крестилась под платком и шептала молитвы. Дыма оглядывался кругом вызывающим взглядом. Он думал, что американцы, сидевшие в вагонах, тоже станут глазеть на их шапки и свитки и, пожалуй, кидать огрызками бананов. Но, видно, эти американцы были люди серьезные: никто не пялил глаз, никто не усмехался. Дыме это понравилось, и он немного успокоился…

А там поезд опять остановился, и наши вышли благополучно и опять спустились по лестнице на улицу…

VII

Заезжий двор мистера Борка совсем не походил на наши. Наши, то есть те, что на Волыни, или под Могилевом, или в Полесье, гораздо лучше: длинный, невысокий дом, на белой стене чернеют широкие ворота так приветливо и приятно, что лошади приворачивают к ним сами собой. За

въездом — прямо крытый двор, с высокою соломенной стрехой; между стропилами летают тучи воробьев, и голуби воркуют где-то так сладко, а где — и не увидишь… А там — колодезь с воротом, ясли с драбинами для лошадей, куры, коза, корова, запах лошадиного пота, запах дегтя и душистого сена… Вспомнить, так и то приятно…

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались в своих местах людьми степенными, знающими, как обращаться в свете. Случалось им не раз, на ярмарке, или в праздник, проездом в местечках, или в какой-нибудь корчме на шляху — заставать полным-полно народу, — и это их нисколько не смущало. Известное дело — всякий сам себя знает. Поставил человек лошадь к месту, кинул ей сена с воза или подвязал торбу с овсом, потом сунул кнут себе за пояс, с таким расчетом, чтобы люди видели, что это не бродяга или нищий волочится на ногах по свету, а настоящий хозяин, со своей скотиной и телегой; потом вошел в избу и сел на лавку ожидать, когда освободится за столом место. А пока — оглядел всех, и сразу видно, что за народ послал бог навстречу, и сразу же можно начать подходящий разговор: один разговор с простым мужиком, другой — со своим братом, однодворцем или мещанином, третий

— с управляющим или подпанком. Разумеется, знали и свое место: если уже за столом расселся проезжий барин — то, конечно, приходилось и пообождать, хотя бы места было и достаточно. Одним словом, ходили всегда по свету с открытыми глазами — знали себя, знали людей, а потому от равных видели радушие и уважение, от гордых сторонились, и если встречали от господ иногда какие-нибудь неприятности, то все-таки нечасто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда пешком, как бывало на богомолье, и не приехали, а прилетели по воздуху. И двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно темный и неприятный. Борк открыл своим ключом дверь, и они взошли наверх по лестнице. Здесь был небольшой коридорчик, на который выходило несколько дверей. Войдя в одну из них, по указанию Борка, наши лозищане остановились у порога, положили узлы на пол, сняли шапки и огляделись.

Комната была просторная. В ней было несколько кроватей, очень широких, с белыми подушками. В одном только месте стоял небольшой столик у кровати, и в разных местах — несколько стульев. На одной стене висела большая кар-

тина, на которой фигура «Свободы» подымала свой факел, а рядом — литографии, на которых были изображены пятисвечники и еврейские скрижали. Такие картины Матвей видел у себя на Волыни и подумал, что это Борк привез в Америку с собою.

В открытое окно виднелась линия воздушной дороги, вдоль улицы, по которой приехали и они. И опять вдали показался круглый щит локомотива и стал все вырастать. Лозищане смотрели на него с некоторым страхом. Лязг и грохот все приближался, и им казалось, что поезд вкатится в комнату. Но в это время что-то вдруг хлестнуло в окно резкой струей воздуха, и мимо, совсем близко, с противоположной стороны, пронеслась какая-то стена с окнами. Это был другой, встречный поезд; в окнах мелькнули головы, шляпы, лица, в том числе некоторые черные, как сажа. И через несколько секунд все исчезло, повернуло, и поезд понесся вдаль, все уменьшаясь, между тем как прежний вырастал и через минуту тоже пронесся мимо окон. Клуб пара и дыма, точно развевающаяся лента, махнул по окну, и несколько клочьев ворвалось в самую комнату…

— Всякое дыхание да хвалит господа! — сказал Матвей, крестясь с испугом. И только когда оба

поезда исчезли, он решился оглядеться хорошенько на новом месте.

Кроватей в комнате стояло около десятка, но из жильцов в ней находился только один господин, звание которого лозищане определить не могли. На нем было городское платье, как и на Борке, светлые клетчатые короткие панталоны, большие и тяжелые шнуровые ботинки, крахмальная сорочка и светлый жилет. Он лежал на постели, полуприкрывшись огромным листом газеты, и, отслонив ее угол, с любопытством смотрел на новоприбывших. По виду это был настоящий барин, и, если бы так у себя, дома, то Дыма непременно отвесил бы ему низкий поклон и сказал бы:

— Прошу прощения… Может, это жид Берко завел нас сюда по ошибке.

Во всяком случае лозищане подумали, что видят перед собой американского дворянина или начальника. Но мистер Борк скоро сошел по витой лесенке сверху, куда он успел отвести Анну, и подвел лозищан к кровати совсем рядом с этим важным барином.

— Вот эта кровать, — сказал он, — стоит вам два доллара в неделю.

— А что я тебе скажу, мистер Борк, — зашептал ему осторожно Дыма. — Хорошо ли, смотри, это

у нас выйдет?

— Ну, — обиженно ответил Борк, — что же еще нужно за два доллара в неделю? Вы, может, думаете — это с одного? Нет, это с обоих. За обед особо…

— Бог с тобой, — ответил Дыма все-таки шепотом, — если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господину не покажется ли неприятно? Все-таки мы люди простого звания…

Борк в ответ только свистнул и сказал, с нескрываемым пренебрежением посмотрев на американского дворянина:

— Фю-ю! На этот счет вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история, что вы думаете. Здесь свобода: все равные, кто за себя платит деньги. И знаете, что я вам еще скажу? Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю… потому что я вижу: вы в вашем месте были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, может быть, и держать не стал бы, если бы за него не платили от Тамани-холла. Ну, что мне за дело! У босса денег много, каждую неделю я свое получаю аккуратно.

Дыма ловил на лету все, что замечал в новом месте, и потому, обдумав не совсем понятные

слова Борка, покосился на лежавшего господина и сказал:

— Я, мистер Борк, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник, вроде того, какие и у нас бывают на ярмарках. И шляпа на нем, и белая рубашка, и галстук… а глядишь, уже кто-нибудь кошелька и недосчитался…

Борк усмехнулся.

— Ну, вы-таки умеете попадать пальцем в небо, — сказал он, поглаживая свою бородку. — Нет, насчет кошелька, так вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что всякий человек должен искать солидного и честного дела. А кто продает свой голос… пусть это будет даже настоящий голос… Но кто продает его Тамани-холлу за деньги, того я не считаю солидным человеком.

И, вздохнув, он прибавил:

— У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока. Приходится как-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совсем понимал, как можно продать свой голос, хотя бы и настоящий, и кому он нужен, но так как ему было обидно, что раз он уже попал пальцем в небо, — то он сделал вид, будто

все понял, и сказал уже громко:

— А когда так, то и хорошо. Клади, Матвей, узел сюда. Что, в самом деле! Ведь и наши деньги не щербаты. А здесь, притом же, черт их бей, свобода!

И он сел на свою кровать против американского господина, вдобавок еще расставивши ноги. Матвей боялся, что американец все-таки обидится. Но он оказался парень простой и покладливый. Услыхав, что разговор идет о Тамани-холле, — он отложил газету, сел на своей постели, приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели с Дымой и пялили друг на друга глаза.

— Good day (здравствуйте)! — первый сказал американец и хлопнул Дыму по колену.

Дыма хлопнул его, с своей стороны, и, очень мало подумавши, ответил:

— Yes (да).

— Tammany-holl, — сказал опять американец, любезно улыбаясь, — вэри-уэлл!

— Вэри-уэлл, — кивнул головой Дыма. — Это значит: очень хорошо… Эх ты, барин! Ты вот научи меня, как это продать этому черту Тамани-холлу свой голос, чтобы за это человека кормили и поили даром.

— Well! — ответил американец, захохотав.

— Yes, — засмеялся и Дыма.

Ирландец опять подмигнул, похлопал Дыму по колену, и они, видно, сразу стали приятели.

VIII

А Матвей подивился на Дыму («Вот ведь какой дар у этого человека», — подумал он), но сам сел на постели, грустно понурив голову, и думал:

«Вот человек и в Америке… что же теперь будем делать?»

Правду сказать — все не понравилось Матвею в этой Америке. Дыме тоже не понравилось, и он был очень сердит, когда они шли с пристани по улицам. Но Матвей знал, что Дыма — человек легкого характера: сегодня ему кто-нибудь не по душе, а завтра первый приятель. Вот и теперь он уже крутит ус, придумывает слова и посматривает на американца веселым оком. А Матвею было очень грустно.

Да, вот и Америка! Еще вчера ночью она лежала перед ним, как какое-нибудь облако, и он не знал, что-то явится, когда это облако расступится… Но все ждал чего-то чудесного и хорошего… «Правду сказать, — думал он, — на этом свете человек думает так, а выходит иначе, и если бы человек знал, как выйдет, то, может, век бы свековал в

Лозищах, с родной бедою». Вот и облако расступилось, вот и Америка, а сестры нет, и той Америки нет, о которой думалось так много над тихою Лозовою речкой и на море, пока корабль плыл, колыхаясь на волнах, и океан пел свою смутную песню, и облака неслись по ветру в высоком небе то из Америки в Европу, то из Европы в Америку… А на душе пробегали такие же смутные мысли о том, что было там, на далекой родине, и что будет впереди за океаном, где придется искать нового счастья…

Ищи его теперь, этого счастья, в этом пекле, где люди летят куда-то, как бешеные, по земле и под землей и даже — прости им, господи, — по воздуху… где все кажется не таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещеным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бегали бы разве за турком…

— Вот что, Дыма, — сказал Матвей, отрываясь от своих горьких мыслей. — Надо поскорее писать письмо Осипу. Он здесь уже свой человек — пусть же советует, как сыскать сестру, если она еще не приехала к нему, и что нам теперь делать с собою.

— Да уж не иначе! — ответил Дыма.

Попросили у Борка перо и чернил, устроились у окна и написали. Писал письмо Дыма, а так как и у него руки не очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо, — то прописали очень долго.

Кончили писать, Дыма стал отирать пот со лба и вдруг остановился с разинутым ртом. Матвей тоже оглянулся — и у него как-то приятно замерло сердце.

В комнате стояла старая барыня, в поношенной, но видно, что когда-то шелковой мантилье, в старой шляпке с желтыми цветами и с сумочкой на руке. Кроме того, на ленточке она держала небольшую белую собачку, которая поворачивалась во все стороны и нюхала воздух.

— Наша, — шепнул Дыма Матвею.

И действительно, барыня села у двери на стул, отдышалась немного и сказала с первого слова:

— Проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди. Ну скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?

Наши очень обрадовались родной речи, кинулись к барыне и чуть не столкнулись головами, целуя у нее руку.

Барыне, видно, это понравилось. Она сидела на

стуле, не отнимала руки и глядела на лозищан, жалостно кивая головой.

— Подольские или из Волыни?

— Из Лозищей, милостивая госпожа.

— Из Лозищей! Прекрасно! А куда же это бог несет?

— В Миннесоте есть наши.

— Миннесота! Знаю, знаю. Болото, лес, мошка, лесные пожары и, кажется, индейцы… Ай, люди, люди! И что вам только понадобилось в этой Америке? Жили бы в своих Лозищах…

«Оно, может, и правда», — подумал Матвей. А Дыма ответил:

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Так… от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку… Это очень глупо. А впрочем — это не мое дело. А где же тут сам хозяин?.. Да, вот и Берко.

— Мистер Борк, — поправил еврей, входя в комнату.

— А, мистер Берко, — сказала барыня, и лозищане заметили, что она немного рассердилась. — Скажите пожалуйста, я и забыла! А впрочем, ваша правда, ясновельможный мистер Борк! В этой проклятой стороне все мистеры, и уже не

отличишь ни жида, ни хлопа, ни барина… Вот и эти (она указала на лозищан) снимут завтра свои свитки, забудут бога и тоже потребуют, чтобы их звать господами…

— Это их дело, всякий здесь устраивает себя, как хочет, — сказал Борк хладнокровно и прибавил, поглаживая бородку: — Чем могу вам служить?

— Твоя правда, — сказала барыня. — В этой Америке никто не должен думать о своем ближнем… Всякий знает только себя, а другие — хоть пропади в этой жизни и в будущей… Ну так вот я зачем пришла: мне сказали, что у тебя тут есть наша девушка. Или, простите, мистер Борк… Не угодно ли вам позвать сюда молодую приезжую леди из наших крестьянок.

— Ну а зачем вам мисс Эни?..

— Ты, кажется, сам начинаешь вмешиваться в чужие дела, мистер Берко.

Борк пожал плечами, и через минуту сверху спустилась Анна. Старая барыня надела стеклышки на нос и оглядела девушку с ног до головы. Лозищане тоже взглянули на нее, и им показалось, что барыня должна быть довольна и испуганным лицом Анны, и глазами, в которых дрожали слезы, и крепкой фигурой, и тем, как она мяла рукой конец передника.

— Умеешь ты убирать комнаты? — спросила барыня.

— Умею, — ответила Анна…

— И готовить кушанье?

— Готовила.

— И вымыть белье, и выгладить рубашку, и заправить лампу, потому что я терпеть не могу здешнего газа, и поставить самовар или сварить кофе…

— Так, ваша милость. Умею.

— Ты приехала сюда работать?

— Как же иначе? — ответила девушка совсем тихо.

— Почем я знаю, как иначе?.. Может быть, ты рассчитывала выйти замуж за президента… Только он, моя милая, уже женат…

Две крупные слезы скатились с длинных ресниц Анны и упали на белый передник, который она все переминала в руках. Матвею стало очень жаль девушку, и он сказал:

— Она, ваша милость, сирота…

А Дыма прибавил:

— У нее на корабле умер отец.

— Умнее ничего не мог придумать! — сказала барыня спокойно. — Много здесь дураков прилетало, как мухи на мед… Ну вот что. Мне некогда.

Если ты приехала, чтобы работать, то я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борк укажет тебе мой дом… А эти — тебе родня?

— Нет, милостивая пани, но…

И Матвей видел, как испуганный глаз девушки остановился на нем, будто со страхом и вопросом.

— Никаких «но». Я не позволю тебе водить ни любовников, ни там двоюродных братьев. Вперед тебе говорю: я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки тоже уже испорчены… Слышишь? Ну, а пока до свидания. А паспорт есть?

— Есть…

— То-то.

Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла из помещения.

— Наша! — сказал Матвей и глубоко вздохнул.

— А это, видно, и здесь так же, как и всюду на свете, — прибавил к этому Дыма.

Анна тихонько вытерла слезу концом передника.

Еврей посмотрел на девушку с сожалением и сказал:

— Ну что вы плачете, мисс Эни! Я вам прямо скажу: это дело не пойдет, и плакать нечего…

— А почему же не пойдет? — возразил Матвей задумчиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило ехать в Америку, чтобы попасть к такой строгой барыне. Можно бы, кажется, и пожалеть сироту… А впрочем, в сердце лозищанина примешивалось к этому чувству другое. «*Наша* барыня, наша, — говорил он себе, — даром что строгая, зато своя и не даст девушке ни пропасть, ни избаловаться…»

— Ну почему же не идет? — повторил он свой вопрос.

— Га! Если мисс Эни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать в другом месте. Я эту барыню знаю: она любит очень дешево платить и чтобы ей очень много работали.

— Эх, мистер Борк, а кто же этого не любит на свете? — сказал Матвей со вздохом.

— Ну, это правда, а только здесь всякий любит также получить больше, а работать меньше. А может быть, вы думаете иначе, тогда мистер Борк будет молчать… это уже не мое дело…

Борк поднялся с своего места и вскоре ушел, одевшись, на улицу.

Он был еврей серьезный, но неудачливый, и дела его шли неважно. Помещение было занято

редко, и буфет в соседней комнате работал мало. Дочь его прежде ходила на фабрику, а сын учился в коллегии; но фабрика стала, сам мистер Борк менял уже третье занятие и теперь подумывал о четвертом. Кроме того, в Америке действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела, поэтому и мистер Борк не сказал лозищанам ничего больше, кроме того, что покамест мисс Эни может помогать его дочери по хозяйству и он ничего не возьмет с нее за помещение.

— Подождем еще, малютка, — сказал Матвей. — Может быть, придет скоро ответ от Лозинского, тогда, пожалуй, и тебе найдется работа в деревне.

— Дай-то боже, — ответили в один голос девушка и Дыма.

— А теперь, — прибавил Матвей, — напиши, Дыма, адрес.

Но тут открылось вдруг такое обстоятельство, что у лозищан кровь застыла в жилах. Дело в том, что бумажка с адресом хранилась у Матвея в кисете с табаком. Да как-то, видно, терлась и терлась, пока карандаш на ней совсем не истерся. Первое слово видно, что губерния Миннесота, а дальше ни шагу. Осмотрели этот клочок сперва Матвей, потом Дыма, потом позвали девушку,

дочь Борка, не догадается ли она, потом вмешался новый знакомый Дымы — ирландец, но ничего и он не вычитал на этой бумажке.

— Что же это теперь будет? — сказал Матвей печально.

Дыма посмотрел на него с великою укоризной и постучал себя пальцем по лбу. Матвей понял, что Дыма не хочет ругать его при людях, а только показывает знаком, что он думает о голове Матвея. В другое время Матвей бы, может, и сам ответил, но теперь чувствовал, что все они трое по его вине идут на дно — и смолчал.

— Эх! — сказал Дыма и заскреб в голове. Заскреб в голове и Матвей, но ирландец, человек, видно, решительный, схватил конверт, написал на нем: «Миннесота, фермерскому работнику из России, Иосифу Лозинскому», и сказал:

— All right.

— Он говорит: олл райт, — обрадовался Дыма, — значит, дойдет.

— Дай-то бог, — это будет чудо господне, — сказал Матвей.

А ирландец вдобавок предложил Дыме сходить вместе, отнести письмо. И когда они выходили — ирландец, надев свой котелок и взяв в руки тросточку, а Дыма в своей свитке и бараньей шап-

ке, — то Матвею показались они оба какими-то странными, точно он их видел во сне. Особенно когда, у порога, ирландец, как-то изогнувшись, предложил Дыме выйти первому. Дыма, изогнувшись совершенно так же, предлагал пройти вперед ирландцу. Потом они двинулись оба вместе, и тут уже Дыма постарался все-таки пройти первым. Ирландец крепко хлопнул его по плечу и захохотал… Дыма посмотрел на Матвея с гордым видом.

IX

Дело это было в пятницу, уже после обеда.

Матвей ждал Дыму, но Дыма с ирландцем долго не шел. Матвей сел у окна, глядя, как по улице снует народ, ползут огромные, как дома, фургоны, летят поезда. На небе, поднявшись над крышами, показалась звезда, Роза, девушка, дочь Борка, покрыла стол в соседней комнате белою скатертью и поставила на нем свечи в чистых подсвечниках и два хлеба прикрыла белыми полотенцами.

От этих приготовлений у Матвея что-то вдруг прилило к сердцу. Он вспомнил, что сегодня пятница и что таким образом на его родине евреи приготовляются всегда встречать субботу.

Действительно, скоро мистер Борк вернулся из

синагоги, важный, молчаливый и, как показалось Матвею, очень печальный. Он стоял над столом, покачивался и жужжал свои молитвы с закрытыми глазами, между тем как в окно рвался шум и грохот улицы, а из третьей комнаты доносился смех молодого Джона, вернувшегося из своей «коллегии» и рассказывавшего сестре и Аннушке что-то веселое. На зов отца девушка вбежала в комнату и подала ему на руки воду. Он мыл руки, потом концы пальцев, брызгал воду и бормотал слова молитвы, а девушка, видно, вспомнила что-то смешное и глядела на брата, который подошел к столу и ждал, покачиваясь на каблуках. Затем они уселись. Молодые люди продолжали весело разговаривать. Один Борк что-то порой шептал про себя, тихонько разрезывая луковицу или белый хлеб, и часто и глубоко вздыхал…

Лозищанин глядел на еврея и вспоминал родину. Вот и шабаш здесь не такой, думал он про себя, и родное местечко встало в памяти, как живое. Вот засияла вечерняя звезда над потемневшим лесом, и городок стихает, даже перестали дымиться трубы в еврейских домах. Вот засветилась огнями синагога, зажглись желтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое

окно можно видеть, как хозяин дома благословляет стол, окруженный семьей. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам, Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома. Знакомые евреи говорили Матвею, что в это время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу.

Разумеется, в своем месте Матвей смеялся над этими пустяками: очень нужно Аврааму, которого чтут также и христиане, заходить в грязные лачуги некрещеных жидов! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, что даже евреи, такой крепкий в своей вере народ, забыли здесь свой обычай… Молодые люди наскоро отужинали и убежали опять в другую комнату, а Борк остался один. И у Матвея защемило сердце при виде одинокой и грустной фигуры еврея.

Мистер Борк, как бы угадывая мысли Лозинского, вышел из-за стола и сел с ним рядом.

— Вижу я, господин Борк, — обратился к нему Матвей, — что твои дети не очень почитают праздник?

Борк задумчиво погладил бороду и сказал:

— А! хотите вы знать, что я вам скажу? Америка — такая сторона, такая сторона… Она перемалы-

вает людей, как хорошая мельница.

— Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру? — сказал Матвей наставительно.

— Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы захотели, я повел бы вас в нашу синагогу… Ну, вы увидели бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в таком почете, как и всякий священник. И когда его вызывали на суд, то он сидел с их епископом, и они говорили друг с другом… Ну, совсем так, как двоюродные братья.

— А вы бросаете все-таки свою веру? — сказал лозищанин. Ему не совсем-то верилось, чтобы и здесь можно было приравнять раввина к священнику.

— Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что: Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берет себе человека. Ну, а когда человек станет другой, то и вера у него станет уже другая. Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять еще иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идет на фабрику. Плата будет десять долларов в неделю, а когда выучится — тогда плата будет и двенадцать долларов в неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это двадцать четыре рубля

в неделю — хорошие деньги?

— Очень хорошие деньги, — подтвердил Матвей. — Такие деньги у нас платят работнику от покрова до пасхи… Правда, на хозяйских харчах.

— Ну вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер Бэркли говорит: «Хорошо. Еврейки работают не хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не платит. Ты должна ходить и в субботу…»

— Ну?

— Ну… Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес. Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум, как огонь, а язык, как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в Луисвилле и поехал в другие города. Собрались мы в синагогу слушать этого Мозеса, а он и говорит: «Слышал я, что многие из вас терпят нужду и умирают, а не хотят ломать субботу». Мы говорим: ну, это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет Израиля! А он говорит: «Вы похожи на человека, который собрался ехать, сел на осла задом наперед и держится за хвост. Вы смотрите

назад, а не вперед, и потому все попадете в яму. Но если бы вы хорошо смотрели назад, то и тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать. Потому что когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было это дело при Маккавеях, то ваши отцы погибали, как овцы, потому что не брали меча в субботу. Ну, что тогда сказал господь? Господь сказал: если так будет дальше, то из-за субботы всех моих людей перережут, как стадо, и некому будет праздновать самую субботу… пусть уж лучше берут меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди. Теперь подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не помирать с голоду в чужой стороне?» А! Я же вам говорю: это очень умный человек, этот Мозес.

Матвей посмотрел на еврея, у которого странно сверкали глаза, и сказал:

— Видно, и тебя начинает тянуть туда же. А я тебя считал почтенным человеком.

— Ну, — ответил Борк, вздохнув, — мы, старики, все-таки держимся, а молодежь… А! что тут толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: «Как хочешь, отец, незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в воскресенье».

Борк взял свою бороду обеими руками, посмотрел на Матвея долгим взглядом и сказал:

— Вы еще не знаете, какая это сторона Америка! Вот вы посмотрите сами, как это вам понравится. Мистер Мозес сделал из своей синагоги настоящую конгрегешен, как у американцев. И знаете, что он делает? Он венчает христиан с еврейками, а еврея с христианами!

— Послушай, Берко, — сказал Матвей, начиная сердиться. — Ты, кажется, шутишь со мной.

Но Борк смотрел на него все так же серьезно, и по его печальным глазам Матвей понял, что он не шутит.

— Да, — сказал он, вздохнув. — Вот вы увидите сами. Вы еще молодой человек, — прибавил он загадочно. — Ну, а наши молодые люди уже все реформаторы или, еще хуже — эпикурейцы… Джон, Джон! А поди сюда на минуту! — крикнул он сыну.

Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой. Роза с любопытством выглянула из-за дверей.

— Послушай, Джон, — сказал ему Борк. — Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не исполняете веру отцов.

Джон, которому, видно, не очень любопытно

было разговаривать об этом, — поиграл цепочкой и сказал:

— А разве господин тоже еврей?

Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, поучил этого молокососа за такое обидное слово, но теперь он только ответил:

— Я христианин, и деды, и отцы были христиане — греко-униаты…

— Олл райт! — сказал молодой Джон. — А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?

Матвей подумал и сказал, немного смутившись:

— По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю…

— Уэлл! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть…

И видя, что Матвей долго не соберется ответить, — он повернулся и опять ушел к сестре.

— А ну! Что вы скажете? — спросил Борк, глядя на лозищанина острым взглядом. — Вот как они тут умеют рассуждать. Поверите вы мне, на какое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что у вас язык присохнет. По-нашему, лучшая вера та, в которой человек родился, — вера отцов и дедов. Так мы думаем, глупые старики.

— Разумеется, — ответил Матвей, обрадовавшись.

— Ну, а знаете, что он вам скажет на это?

— Ну?

— Ну, он говорит так: значит, будет на свете много самых лучших вер, потому что ваши деды верили по-вашему… Так? Ага! А наши деды — по-нашему. Ну, что же дальше? А дальше будет вот что: лучшая вера такая, какую человек выберет по своей мысли… Вот как они говорят, молодые люди…

— А чтоб им провалиться, — сказал Матвей. — Да это значит, сколько голов, столько вер.

— А что вы думаете — тут их разве мало? Тут что ни улица, то своя конгрегешен. Вот нарочно подите в воскресенье в Бруклин, так даже можете немало посмеяться…

— Посмеяться? В церкви?

— Ну, они и молятся, и смеются, и говорят о своих делах, и опять молятся… Я вам говорю — Америка такая сторона… Вот увидите сами…

И долго еще эти два человека: старый еврей и молодой лозищанин, сидели вечером и говорили о том, как верят в Америке. А в соседней комнате молодые люди все болтали и смеялись, а за стеной глухо гремел огромный город…

X

Город гремел, а Лозинский, помолившись богу и рано ложась на ночь, закрывал уши, чтобы не слышать этого страшного, тяжелого грохота. Он старался забыть о нем и думать о том, что будет, когда они разыщут Осипа и устроятся с ним в деревне…

В той самой деревне, которая померещилась им еще в Лозищах, из-за которой Лозищи показались им бедны и скучны, из-за которой они проехали моря и земли, которая виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только гораздо лучше…

Такие же люди, только добрее. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики похожи на старых лозищан, еще не забывших о своих старых правах, а свитки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему; только лошади крепче и сытее, только плуги берут шире и глубже, только коровы дают по ведру на удой…

И такие же села, только побольше, да улицы шире и чище, да избы просторнее и светлее, и

крыты не соломою, а тесом… а может быть, и соломой — только новой и свежей… И должно быть, около каждого дома — садик, а на краю села у выезда корчма с приветливым американским жидом, где по вечерам гудит бас, тонко подпевает скрипка и слышен в весенние теплые вечера топот и песни до ранней зари — как было когда-то в старые годы в Лозищах. А посередине села школа, а недалеко от школы — церковка, может быть даже униатская.

А в селе такие же девушки и молодицы, как вот эта Анна, только одеты чище и лица у них не такие запуганные, как у Анны, и глаза смеются, а не плачут.

Все такое же, только лучше. И, конечно, такие же начальники в селе, и такой же писарь, только и писарь больше боится бога и высшего начальства. Потому что и господа в этих местах должны быть добрее и все только думают и смотрят, чтобы простому человеку жилось в деревне как можно лучше…

С этими мыслями лозищанин засыпал, стараясь не слышать, что кругом стоит шум, глухой, непрерывный, глубокий. Как ветер по лесу, пронесся опять под окнами ночной поезд, и окна тихо прозвенели и смолкли — а Лозинскому

казалось, что это опять гудит океан за бортом парохода… И когда он прижимался к подушке, то опять что-то стучало, ворочалось, громыхало под ухом… Это потому, что над землей и в земле стучали без отдыха машины, вертелись чугунные колеса, бежали канаты…

И вот ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним, огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит, совсем так, как еще недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром:

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле родится, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Оглобли, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны!.. Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас станет другое, и иная душа, и чужая молитва… И если бы встала твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищанским лесом, — то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков… Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов и прадедов… А будут американцы…

Матвей проснулся весь в поту и сел на своей

постели.

Он протирал глаза и не мог вспомнить, где он. В комнате было темно, но кто-то ходил, кто-то топал, кто-то сопел и кто-то стоял над самой его постелью.

Потом вдруг комната осветилась, потому что кто-то зажег газовый рожок спичкой. Комната осветилась, а Матвей все еще сидел и ничего не понимал, и говорил с испугом:

— Всякое дыхание да хвалит господа.

— Ну что еще?.. Чего ты это испугался? — сказал кто-то знакомым голосом. Голос был как будто Дымы, но что-то еще было в нем странное и чужое. И человек, стоявший над кроватью Матвея, был тоже Дыма, но как будто какой-то другой, на Дыму не похожий… Матвей думал, что это все еще сон, и стал протирать кулаками глаза… Когда он открыл их, в комнате было еще светлее, и по ней двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой… Странные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди с такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, нравятся ли они человеку или не нравятся… Они нахлынули в комнату, точно толпа странных привидений, которые человеку видятся порой

только во сне, — и тихо, без шума занимали свои места. И Матвей долго еще не мог сообразить — кто это, откуда, что здесь делают и что он сам делает среди них…

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в церквах, что женятся у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как захочет… Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера…

А тот, что стоял над самой постелью, — неужели это Дыма? Да, это и был Дыма, но только опять такой, как будто он приснился во сне. Он очень торопился раздеваться и отворачивал лицо. Однако от Матвея не ускользнуло, что этот Дыма скидает с себя совсем не свою одежду. На нем не было ни белой свитки, ни красного пояса, купленного перед самым отъездом в местечке, ни высоких смазных сапог, ни широких шаровар из коричневой коломянки. Вместо всего этого он теперь старался поскорее вылезти из какой-то немецкой кургузой куртки, не закрывавшей даже как следует того, что должно быть закрыто хорошей одеждой; шею его подпирал высокий воротник крахмальной рубашки, а ноги нельзя было освободить из узких штанов… Когда же он, наконец, разделся и полез к Матвею под одно

одеяло — то Матвей даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало чужое. Волосы его были коротко острижены и торчали вихром на лбу, усы подстрижены над губой, а от бороды осталась только узкая американская лопатка.

— Побойся ты бога, Дыма! — сказал Матвей, вглядевшись. — На кого ты похож и что это ты над собою сделал?

Дыма, по-видимому, чувствовал себя так, как человек, который вышел на базар, забывши надеть штаны… Он как-то все отворачивал лицо, закрывал рот рукою и говорил каким-то виноватым и слащавым голосом:

— Да вот, как меня видишь… Зашел с проклятым ирландцем в цирюльню, чтобы меня немного остригли. Поверь совести, Матвей, я хотел чуть-чуть… А вышло вот что. Посадили меня в кресло. Кресло, знаешь, такое хорошее, а только как сел в него — и кончено. Ноги сейчас схватило чем-то и кинуло кверху, голову отвалило назад: ей-богу, как баран на бойне… Вижу, делает немец не так, как надо, и двинуться не могу. Посмотрел потом на себя в зеркало — не я, да и только. «Что ты, говорю, собачий сын, над человеком сделал?» А они оба довольны, хлопают меня по плечу: «Уэлл, уэлл, вери уэлл!»

Дыма тихонько полез под одеяло, стараясь улечься на краю постели. Однако когда в комнате погасили огонь и последний из американцев улегся, он сначала все еще лицемерно вздохнул, потом поправился на своем месте и, наконец, сказал:

— Ну а все-таки, признайся, Матвей… Все-таки этак человек как-то больше похож на американца.

— А зачем тебе непременно походить на американца? — сказал Матвей холодно…

— И знаешь, — живо продолжал Дыма, не слушая, — когда я, вдобавок, выменял у еврея на базаре эту одежду… с небольшой, правда, придачей… то уже на улице подошел ко мне какой-то господин и заговорил по-английски…

— Ах, Иван, Иван, — сказал Матвей с такой горечью, что Дыму что-то как бы укололо и он заворочался на месте. — Правду, видно, говорит этот Берко: ты уже скоро забудешь и свою веру…

— Иные люди, — заворчал Дыма, отворачиваясь, — так упрямы, как лозищанский вол… Им лучше, чтобы в них кидали на улице корками…

— Вот ты уже ругаешься Лозищами, в которых родился, — сказал Матвей и замолчал. Дыма еще поворчал, поворочался, повздыхал и затем заго-

ворил тихо, немного заискивающим голосом:

— Охота тебе слушать Берка. Вот он облаял этого ирландца… И совсем напрасно… Знаешь, я таки разузнал, что это такое Тамани-холл и как продают свой голос… Дело совсем простое… Видишь ли… Они тут себе выбирают голову, судей и прочих там чиновников… Одни подают голоса за одних, другие за других… Ну, понимаешь, всякому хочется попасть повыше… Вот они и платят… Только, говорит, подай голос за меня… Кто соберет десять голосов, кто двадцать… Ты, Матвей, слушаешь меня?

И хотя Матвей ничего не ответил, он продолжал:

— И, по-моему, это таки справедливо: хочешь себе — дай же и людям… И знаешь еще что?..

Тут Дыма понизил голос до шепота и повернулся совсем к Матвею:

— Они говорят — этот ирландец и еврей, у которого я покупал одежду, — что и нам бы можно… Конечно, голоса не совсем настоящие, но тоже чего-нибудь стоят…

Матвей хотел ответить что-то очень внушительное, но в это время с одной из кроватей послышался сердитый окрик какого-то американца. Дыма разобрал только одно слово devil, но

и из него понял, что их обоих посылают к дьяволу за то, что они мешают спать… Он скорчился и юркнул под одеяло.

А наверху, в маленькой комнатке, спали вместе Роза и Анна. Когда им пришлось ложиться, Роза посмотрела на Аннушку и спросила:

— Вам, может быть, неприятно будет спать на одной постели с еврейкой?

Анна покраснела и сконфузилась.

Она собиралась молиться, вынула свой образок и только что хотела приладить его где-нибудь в уголку, как слова Розы напомнили ей, что она — в еврейском помещении. Она стояла в нерешительности, с образком в руках. Роза все смотрела на нее и потом сказала:

— Вы хотите молиться и… я вам мешаю… Я сейчас уйду.

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли молиться богу в присутствии еврейки, и позволит ли еврейка молиться по-христиански в своей комнате.

— Нет, — ответила она. — Только… я думала — не будет ли вам неприятно?

— Молитесь, — просто сказала Роза и стала оправлять постель.

Аннушка прочитала свои молитвы, и обе де-

вушки стали раздеваться. Потом Роза завернула газовый рожок, и свет погас. Через некоторое время в темноте обозначилось окно, а за окном высоко над продолжающим гудеть огромным городом стояла небольшая, бледная луна.

— О чем вы думаете? — спросила Роза лежащую с ней рядом Анну.

— Я думаю… видят ли теперь этот самый месяц в нашем городишке.

— Нет, не видят, — ответила Роза, — у вас теперь день… А какой ваш город?

— Наш город — Дубно…

— Дубно? — живо подхватила Роза. — Мы тоже жили в Дубне… А зачем вы оттуда уехали?

— Братья уехали раньше… Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата… услали.

— Что он сделал?

— Он… вы не думайте… Он не вор и не что-нибудь… только…

Она замялась. Она не хотела сказать, что, когда разбивали еврейские дома, он разбивал тоже, и после этого стали драться с войсками… Она думала, что лучше не говорить этого, и замолчала.

— Что ж, — сказала Роза, — со всяким может случиться несчастье. Мы жили спокойно и тоже не думали ехать так далеко. А потом… вы, может

быть, знаете… когда стали громить евреев… Ну что людям нужно? У нас все разбили, и… моя мать…

Голос Розы задрожал.

— Она была слабая… и они ее очень испугали… и она умерла…

Анна подумала, что она хорошо сделала, не сказав Розе всего о брате… У нее как-то странно сжалось сердце… И еще долго она лежала молча, и ей казались странными и этот глухо гудящий город, и люди, и то, что она лежит на одной постели с еврейкой, и то, что она молилась в еврейской комнате, и что эта еврейка кажется ей совсем не такой, какой представлялась бы там, на родине…

Начинало уже светать, когда наконец обе девушки заснули крепким молодым сном. А в это самое время Матвей, приподнявшись на своей постели после легкого забытья, все старался припомнить, где он и что с ним случилось. Ненадолго притихший было город начинал просыпаться за стеной. Быстрее ворочались колеса на какой-то близкой станции, и уже пронесся поезд, шумя, как ветер в бору перед дождливым утром. Рядом на другой подушке лежала голова Дымы, но Матвей с трудом узнавал своего приятеля. Лицо Дымы было красно, потому что его сильно подпирал

тугой воротник не снятой на ночь крахмальной сорочки. Прежние его казацкие длинные усы были подстрижены, и один еще держался кверху тонко нафабренным кончиком. Вообще, при виде этого почти чужого лица Матвею стало как-то обидно… Ему казалось, что Дыма становится чужим…

XI

И действительно, с следующего утра стало заметно, что у Ивана Дымы начал портиться характер…

Когда он проснулся, то прежде всего, наскоро одевшись, подошел к зеркалу и стал опять закручивать усы кверху, что делало его совсем не похожим на прежнего Дыму. Потом, едва поздоровавшись с Матвеем, подошел к ирландцу Падди и стал разговаривать с ним, видимо гордясь его знакомством и как будто даже щеголяя перед Матвеем своими развязными манерами. Матвею казалось, однако, что остальные американцы глядят на Дыму с улыбкой.

Компания жильцов мистера Борка была довольно разнообразна. Были тут и немцы, и итальянец, и два-три англичанина, и несколько ирландцев. Часть этих людей казалась Матвею солидными

и серьезными. Они вставали утром, умывались в ванной комнате, мало разговаривали, пили в соседней комнате кофе, которое подавали им Роза с Анной, и потом уходили на работу или на поиски работы. Но была тут и кучка людей, которые оставались на целые дни, курили, жевали табак и страшно плевались, стараясь попадать в камин, иной раз через головы соседей. У них не было определенных часов работы. Иной раз они уходили куда-то гурьбой и тогда звали с собой и Дыму… В разговорах часто слышалось слово «Тамани-холл»… Дела этой компании, по-видимому, шли в это время хорошо. Возвращаясь из своих похождений в помещение Борка, они часто громко хохотали… И Дыма хохотал с ними, что Матвею казалось очень противно.

Так прошло еще два-три дня.

Характер Дымы портился все больше. Правда, он сделал большие, даже удивительные успехи в языке. За две недели на море и за несколько дней у Борка он уже говорил целые фразы, мог спросить дорогу, мог поторговаться в лавке и при помощи рук и разных движений — разговаривал с Падди так, что тот его понимал и передавал другим его слова… Это, конечно, не заслуживало еще осуждения. Но Матвея огорчало и даже сердило,

что Дыма не просто говорит, а как будто гримасничает и передразнивает кого-то: вытягивает нижнюю губу, жует, шипит, картавит… «Взял бы хоть пример с жида, — думал про него Матвей. — Он тоже говорит с американцами на их языке, но — как степенный и серьезный человек». А Дыма уже и «мистер Борк» произносит как-то особенно картаво — мисте'т Бег'к. А иной раз, забывшись, он уже и Матвея начинал называть мистер Мэтью… В таких случаях Матвей смотрел на него долгим укоризненным взглядом — и он немного смущался.

В один день, после того как Падди долго говорил что-то Дыме, указывая глазами на Матвея, — они оба ушли куда-то, вероятно к еврею-лавочнику, который в трудных случаях служил им переводчиком. Вернувшись, Дыма подошел к Матвею и сказал:

— Послушай, Матвей, что я тебе скажу. Сидим мы здесь оба без дела и только тратим кровные деньги. А между тем можно бы действительно кое-что заработать.

Матвей поднял глаза и, ничего не говоря, ожидал, что Дыма скажет дальше.

— Вот видишь ли… Тут эти вот шестеро — агенты или, по-нашему, факторы Тамани-холла… Это,

видишь ли, такая, скажем, себе компания… Скоро выборы. И они хотят выбрать в мэры над городом своего человека. И всех тогда назначат тоже своих… Ну, и тогда уже делают в городе что хотят…

— Ну так что же? — спросил Матвей.

— Так вот они собирают голоса. Они говорят, что если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чем за один мой… А нам что это стоит? Нужно только тут в одном месте записаться и не говорить, что мы недавно приехали. А потом… Ну, они все сделают и укажут…

Матвей вспомнил, что раз уже Дыма заговаривал об этом; вспомнил также и серьезное лицо Борка, и презрительное выражение его печальных глаз, когда он говорил о занятиях Падди. Из всего этого в душе Матвея сложилось решение, а в своих решениях он был упрям, как бык. Поэтому он отказался наотрез.

— Но отчего же ты не хочешь? Скажи! — спросил Дыма с неудовольствием.

— Не хочу, — упрямо ответил Матвей. — Голос дан человеку не для того, чтобы его продавать.

— Э, глупости! — сказал Дыма. — Ведь не останешься же ты после этого без голоса. Даже не охрипнешь. Если люди покупают, так отчего не продать? Все-таки не убудет в кошеле, а прибу-

дет…

— А помнишь, как когда-то эконом уговаривал нас, чтобы мы подписали его бумагу… Что бы тогда вышло?

— Гм… да… — пробормотал Дыма, немного растерявшись. — Потеряли бы всю чиншевую землю! Так ведь там было что терять. А тут… что нам за дело? Дают, черт их бей, деньги, и кончено.

Матвей не нашел что ответить, но он был человек упрямый.

— Не пойду, — сказал он, — и если хочешь меня послушать, то и тебе не советую. Не связывайся ты с этим лодырем.

И Матвей без церемонии ткнул пальцем по направлению к Падди, который внимательно следил за разговором и, увидя, что Матвей указывает на него, весело закивал головой. Дыма, конечно, тоже не послушался.

— Ну что ж, — сказал он, — когда ты такой, то заработаю один. Все-таки хоть что-нибудь…

И в тот же день он сообщил, что его уже записали…

XII

Письма все не было, а дни шли за днями. Матвей больше сидел дома, ожидая, когда, наконец,

он попадет в американскую деревню, а Дыма часто уходил и, возвращаясь, рассказывал Матвею что-нибудь новое.

— Сегодня Падди сводил меня на кулачную драку, — сказал он однажды. — Ты, Матвей, и представить себе не можешь, как этот народ любит драться. Как только двое заспорят, то остальные станут в круг — кто с трубкой, кто с сигарой, кто с жвачкой, и смотрят. А те сейчас куртки долой, засучат рукава, завертят-завертят руками и — хлоп! Кто половчее, глядишь, и засветил другому фонарь... И притом больше всего любят бить по лицу, в нос, или, если уж не удастся — в ухо. А в темя или под сердце — боже упаси! Но дерутся, заметь, не сердито и, как только один полетит пятками кверху, так его сейчас поднимут, обмоют лицо и опять сядут вместе за игру или там за кружки, как будто бы ничего и не случилось. И начнут говорить, кто как ударил и как бы можно ударить еще лучше.

— Ну, это правда, — подтвердил Борк, слышавший рассказ Дымы. — Во всей Америке бокс очень любят! И если еще, вдобавок, выищутся какие-нибудь необыкновенные силачи, то ездят из города в город и тузят друг друга на людях за хорошие деньги. И знаете что: в это время за

ними ездят газетчики и все записывают. И даже посылают телеграммы: «В два часа 15 минут 4 секунды Джон подбил Джеку правый глаз вот таким способом, а через полминуты Джек свалил Джона с ног так-то». И тогда в разных городах люди сидят в ресторанах, а им читают известия. И они спорят: как бы можно ударить Джона или Джека еще лучше… И что вы думаете: проигрывают на этом большие деньги!

— Лодыри! — сказал на это Матвей.

В один день Дыма пришел под вечер и сказал, что сегодня они таки выбрали нового мэра, и именно того, кого хотелось Тамани-холлу.

— Жарко было, о вэлл! — сказал он хвастливо. — А все-таки наша взяла… И знаешь: Падди мне говорит, что много помогли наши ненастоящие голоса.

В этот день Падди и его компания были особенно веселы и шумны. Они ходили по кабачкам, много пили и угощали Дыму. Дыма вернулся с ними красный, говорил громко, держался особенно развязно. Матвей сидел на своей постели, около газового рожка, и, пристроив небольшой столик, читал Библию, стараясь не обращать внимания на поведение Дымы.

Однако через несколько минут Дыма подошел

к нему и, положив ему руку на плечо, наклонился к его лицу так близко, что от него запахло даже вином.

— Слушай, Матвей, — сказал он каким-то заискивающим голосом. — Вот видишь, что я тебе хочу сказать. Они… хотели бы угостить тебя.

— Спасибо, я не хочу, — ответил Матвей, не отрываясь от книги.

— И видишь, что еще… Пожалуйста, не прими там как-нибудь… того… в дурную сторону. У всякого народа свой обычай, и в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.

— К чему ты это ведешь? — спросил Матвей строго.

— А к тому, что этот Падди хочет с тобой драться…

Матвей даже разинул рот от удивления, и два приятеля с полминуты молча глядели друг на друга. Потом Дыма отвел глаза и сказал:

— Когда уже у них здесь такой обычай…

— Послушай, Дыма, — сказал Матвей серьезно. — Почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош? А по-моему, у них много таких обычаев, которых лучше не перенимать крещеному человеку. Это говорю тебе я, Матвей Лозинский, для твоей пользы. Вот ты уже пере-

менил себе лицо, а потом застыдишься и своей веры. И когда придешь на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозищанин.

— Э! — ответил Дыма с неудовольствием. — Где Крым, где Рим, а где панская корчма. С какой стати ты приплел сюда мою покойницу мать? Мне говорят: скажи, и я сказал. А ты как себе хочешь.

— Ну, так я и говорю: скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я стал с ними драться…

— Ну, вот видишь, — обрадовался Дыма. — Я им как раз говорил, что ты у нас самый сильный человек не только в Лозищах, но и во всем уезде. А они говорят: ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошел к ирландцам, а Матвей опять обратился к старой Библии и погрузился в чтение.

Он стал читать, шевеля губами, о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе. Потом он поднял голову и начал думать. Он думал о том, что вот они с Дымой как раз такие молодые люди в этом городе. Только у Дымы сразу стал портиться характер, и он сам пошел к жителям города…

Пока он размышлял таким образом, кто-то вдруг погасил рожок, около которого он сидел. Матвей оглянулся. За ним, недалеко, сидел ми-

стер Падди, ирландец, приятель Дымы, и невинно улыбался.

Матвей достал спичку, зажег рожок и опять принялся за книгу. Однако догадавшись, что Падди на этом не кончит, — он тотчас оглянулся. Падди стоял сзади и уже вытянул рот, чтобы дунуть на огонь из-за плеча Матвея.

Матвей не очень сильно двинул локтем, и Падди упал на постель.

— All right (хорошо), — сказал он, подымаясь и скидая куртку.

— Very well (отлично), — сказали его товарищи, отодвигая стулья и подходя к тому месту.

— Ал райт, — повторил за другими и Дыма как-то радостно. — Теперь выходи, Матвей, на середину и, главное, защищай лицо. Он будет бить по носу и в губы. Я знаю его манеру…

Но Матвей как ни в чем не бывало сел опять и раскрыл свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако, так как у них на все есть свои правила, то вскоре Падди стал подходить к Матвею, приседая и вертя кулаками, точно мельницей.

«Ну, делать нечего, — подумал Матвей, — если уж ты сам этого хочешь».

И не успел еще Падди изловчиться, как уже

сильный лозищанин встал во весь рост, как медведь на охотника, поднял над головой Падди обе руки, потом сгреб его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнул и, зажав голову коленями, несколько раз шлепнул очень громко по мягкому месту.

Все это случилось так быстро, что никто не успел и оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругом, точно новорожденный младенец, который не знает, что с ним было до этой минуты, — то все невольно покатились со смеху.

На несколько минут большая комната мистера Борка оглашалась только хохотом на разные лады и разными голосами. Даже длинный американец, с сухим лицом и рыжей бородой в виде лопатки, человек в очень потертом клетчатом костюме, на высохшем и морщинистом лице которого никогда не видно было даже подобия улыбки, теперь делал какие-то невероятные гримасы, как будто хватил нечаянно уксусу, и из его горла вылетало что-то такое, как будто он сильно заикался. А один безусый юноша, недавно занявший последнюю кровать у мистера Борка, кинулся на свою постель и хохотал звонко, неудержимо, лягая в воздухе ногами, как будто боялся, что иначе смех задушит его насмерть. На

этот шум из других комнат прибежали сначала Роза, а потом и Анна. Роза видела только, как Падди оглядывался по комнате, и все-таки упала на стул у двери, свесив руки и закинув голову от смеха. А Анна уже ничего не видела, но все-таки смеялась, зараженная общим хохотом и глядя на сухопарого американца, который все еще икал и как будто давился.

Дыма тоже смеялся и сначала очень гордился своим приятелем.

— А, что! Я говорил вам, — сказал он, поворачиваясь к смеющимся американцам и забывая даже перевести свои слова. — Га! Вот как дерутся у нас, в Лозищах.

Но после, когда смех постепенно утих и все принялись горячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и через некоторое время он сказал так, что Матвей расслышал ясно его слова:

— Хорошо, нечего сказать: драться, точно медведь у берлоги… Это стыд перед образованными людьми…

— Ничего, — ответил Матвей спокойно, опять как ни в чем не бывало принимаясь за Библию, — хоть по-медвежьи, а здорово. В другой раз твой Падди будет знать…

Ирландцы пошумели еще некоторое время, потом расступились, выпустив Падди, который опять вышел вперед и пошел на Матвея, сжав плечи, втянув в них голову, опустивши руки и изгибаясь, как змея. Матвей стоял, глядя с некоторым удивлением на его странные ужимки, и уже опять было приготовился повторить прежний урок, как вдруг ирландец присел; руки Матвея напрасно скользнули в воздухе, ноги как будто сами поднялись, и он полетел через постель на спину.

Кровать затрещала, и огромный лозищанин свалился на пол.

— All right, — одобрительно раздалось в куче ирландцев, а Падди, довольный, стал надевать свою куртку. Но в это время Матвей тяжело поднялся из-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кроткие глаза его теперь глядели дико, волосы торчали дыбом, зубы скрипели, и он озирался, что бы ему взять в руку.

Ирландцы взяли Падди в середину и сомкнулись тревожно, как стадо при виде медведя. Все они глядели на этого огромного человека, ожидая чего-то страшного, тем более что Дыма тоже стоял перепуганный и бледный…

Трудно сказать, что было бы дальше, но в эту

минуту Анна перебежала через комнату и схватила Матвея за руку.

— Для бога, — сказала она только. — О, для бога!..

Матвей поглядел на нее сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевел дух. Потом отвернулся и сел к окну.

Ирландцы успокоились. Падди хотел даже подойти к Матвею и протянул руку; но Дыма остановил его, и они оставили Матвея в покое.

А за окном весь мир представлялся сплошною тьмой, усеянной светлыми окнами. Окна большие и окна маленькие, окна светились внизу, и окна стояли где-то высоко в небе, окна яркие и веселые, окна чуть видные и будто прижмуренные. Окна вспыхивали и угасали, наконец, ряды окон пролетали мимо, и в них мелькали, проносились и исчезали чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видные лица…

XIII

Поздним вечером Дыма осторожно улегся в постель рядом с Матвеем, который лежал, заложив руки за голову, и о чем-то думал, уставивши глаза и сдвинувши брови. Все уже спали, когда Дыма,

собравшись с духом, сказал:

— И чего бы, кажется, сердиться на приятеля… Разве я тут виноват… Если уже какой-нибудь поджарый Падди может повалить самого сильного человека во всех Лозищах… Га! Это значит, такая уже в этой стороне во всем образованность… Тут сердиться нечего, ничего этим не поможешь, а видно, надо как-нибудь и самим ухитряться… Индейский удар! Это у них, видишь ли, называется индейским ударом…

Матвей поднялся на постели, повернул лицо к Дыме и спросил:

— А ты, Дыма Лозинский, знал вперед, что они мне приготовили эту индийскую штуку?..

— А… разве я уже все понимаю по-английски, — отвечал Дыма уклончиво. И затем, обрадовавшись, что Матвей говорит спокойно, он продолжал уже смелее: — Вот, знаешь что, — сходим завтра к этому цирюльнику. Приведи ты и себя, как это здесь говорится, в порядок, и кончено. Ей-богу, правда! — прибавил он сладким голосом и уже собираясь заснуть.

Но вдруг он с испугом привскочил на кровати. Матвей тоже сидел. При свете с улицы было видно, что лицо его бледно, волосы стоят дыбом, глаза горят, а рука приподнята кверху.

— Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьет твоих приятелей, вместе с этим мерзавцем Таманиголлом, или как там его зовут! Пусть гром разобьет этот проклятый город и выбранного вами какого-то мэра. Пусть гром разобьет и эту их медную свободу, там на острове… И пусть их возьмут все черти, вместе с теми, кто продает им свою душу…

— Тише, пожалуйста, Матвей, — пробовал остановить его Дыма. — Люди спят, и здесь не любят, когда кто кричит ночью…

Но Матвей не остановился, пока не кончил. А в это время, действительно, и ирландцы повскакали с кроватей, кто-то зажег огонь, и все, проснувшись, смотрели на рассвирепевшего лозищанина.

— Смотрите не смотрите, а это правда, — сказал он, повернувшись к ним и грозя кулаком, и затем опять повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и потом, потребовав Дыму, спрашивали у него, в своем ли разуме его приятель и не грозит ли им ночью от него какая-нибудь опасность. Но Дыма их успокоил: теперь Матвей будет спать и никому ничего не сделает. Он человек добрый, только не знает образованно-

сти, и теперь его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разошлись по своим постелям, оглядываясь на Матвея. Погасили огни, и в комнате мистера Борка водворилась тишина. Только огни с улицы светили смутно и неясно, так что нельзя было видеть, кто спит и кто не спит в помещении мистера Борка.

XIV

Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром, в тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен: он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. И как только он начинал засыпать — ему снилось, что он стоит, не способный двинуть ни рукой, ни ногой, а к нему, приседая, подгибая колени и извиваясь, как змея, подходит кто-то — не то Падди, не то какой-то курчавый негр, не то Джон. И он не может ничего сделать, и летит куда-то среди грохота и шума, и перед глазами его мелькает испуганное лицо Анны.

Потом вдруг все стихло, и он увидел еврейскую свадьбу: мистер Мозес из Луисвилля, еврей очень неприятного вида, венчает Анну с моло-

дым Джоном. Джон с торжествующим видом топчет ногой рюмку, как это делается на еврейской свадьбе, а кругом, надрываясь, все в поту, с вытаращенными глазами, ирландцы гудят и пищат на скрипицах, и на флейтах, и на пузатых контрабасах… А невдалеке, задумчивый и недоумевающий, стоит Берко и говорит:

— Ну что вы на это скажете?.. И как вы это можете допустить?..

Матвей заскрежетал во сне зубами, так что Дыма проснулся и отодвинулся от него со страхом… — Гей-гей! — закричал Матвей во сне… — А где же тут христиане? Разве не видите, что жиды захватили христианскую овечку!..

Дыма отодвинулся еще дальше, слушая бормотание Матвея, — но тот уже смолк, а сон шел своим чередом… Бегут христиане со всех сторон, с улиц и базаров, из шинков и от возов с хлебом. Бегут христиане с криком и шумом, с камнями и дреколием… Быстро запираются двери домов и лавочек, звякают стекла, слышны отчаянные крики женщин и детей, летят из окон еврейские бебехи и всякая рухлядь, пух из перин кроет улицы, точно снегом…

Потом и это затихло, и в глубоком сне к Матвею подошел кто-то и стал говорить голосом важным

и почтенным что-то такое, от чего у Матвея на лице даже сквозь сон проступило выражение крайнего удивления и даже растерянности.

И на этом он проснулся… Ирландцы спешно пили в соседней комнате утренний кофе и куда-то торопливо собирались. Дыма держался в стороне и не глядел на Матвея, а Матвей все старался вспомнить, что это ему говорил кто-то во сне, тер себе лоб и никак не мог припомнить ни одного слова. Потом, когда почти все разошлись и квартира Борка опустела, — он вдруг поднялся наверх, в комнату девушек.

Там он застал Джона. В последние дни молодой человек нередко заходил туда, просиживал по получасу и более и что-то оживленно рассказывал Анне. На этот раз, поднимаясь по лестнице, Матвей опять услышал голос молодого человека.

— Ну вот видите, — говорил он, — так-то здесь живут, в Новом Свете, что? Разве плохо?

Увидя Матвея, он скоро попрощался и выбежал, чтобы поспеть к поезду, а Матвей остался. Лицо его было немного бледно, глаза глядели печально, и Анна потупилась, ожидая, что он скажет. Обе девушки посмотрели на него как-то застенчиво, как будто невольно вспоминали об индейском ударе и боялись, что Лозинский догадается об

этом. Он тяжело присел на постель, посмотрел на Анну немного растерянным взглядом и сказал:

— Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?

— Говорите, пожалуйста. Я вас считаю за родного, — тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, что она не перестала уважать его после вчерашнего случая.

Матвей мучительно задумался и сказал:

— Мало хорошего в этой стороне, малютка. Поверь ты мне — мало хорошего… Содом и Гоморра.

Роза невольно улыбнулась, но он говорил так печально, что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, по рассказам Джона, в Америке не так уж плохо, если только человек сумеет устроиться. Но она не возражала и сказала тихо:

— Что же теперь делать?

— А! Что делать! Если бы можно, надел бы я котомку на плечи, взял бы в руки палку, и пошли бы мы с тобой назад, в свою сторону, хотя бы Христовым именем… Лучше бы я стал стучаться в окна на своей стороне, лучше стал бы водить слепых, лучше издох бы где-нибудь на своей дороге… На дороге или в поле… на своей стороне…

Но теперь этого нельзя, потому что…

Он потер себе лоб и сказал:

— Потому что море… А письма от Осипа не будет… И сидеть здесь сложа руки… ничего не высидим… Так вот что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к той барыне… к нашей… А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки… И если… если я здесь не пропаду, то жди меня… Я никогда еще не лгал в своей жизни и… если не пропаду, то приду за тобою…

— Нехорошо вы придумали! — горячо сказала на это молодая еврейка. — Мы эту барыню знаем… Она всегда старается нанимать приезжих.

— Бог наградит ее за это, — сказал Матвей сухо.

— Но это потому, — сбиваясь, сказала Роза, — что она платит очень мало…

— С голоду не уморит…

— И заставляет очень много работать.

— Бог любит труд…

Матвей посмотрел на Розу высокомерным и презрительным взглядом. Молодая еврейка хорошо знала этот взгляд христиан. Ей казалось, что она начала дружиться с Анной и даже питала симпатию к этому задумчивому волынцу с голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

— Делайте, как себе хотите… — И она вышла из комнаты…

— Наше худое лучше здешнего хорошего, — сказал Матвей поучительно, обращаясь к Анне. — Собери свои вещи. Мы пойдем сегодня.

Анна вздохнула, однако покорно стала собираться. Матвею не понравилось, что, уходя из помещения мистера Борка, она крепко поцеловалась с еврейкой, точно с сестрой.

XV

В этот день наши опять шли по улицам Нью-Йорка, с узлами, как и в день приезда. Только в этот раз с ними не было Дымы, который давно расстался с своей белой свитой, держался с ирландцами и даже плохо знал, что затевают земляки. Зато Матвей и Анна остались точь-в-точь как были: на нем была та же белая свита со шнурами, на ней — беленький платочек. Молодой Джон тоже считал очень глупым то, что надумал Матвей. Но, как американец, он не позволял себе мешаться в чужие дела и только посвистывал от досады, провожая Матвея и Анну.

Сначала шли пешком, потом пара лошадей потащила их в огромном вагоне, потом поднимались наверх и летели по воздуху. Из улицы в

улицу — ехали долго. Пошли дома поменьше, попроще, улицы пошли прямые, широкие и тихие.

На одном углу наши вышли и пошли прямо. Если бы поменьше камня, да если бы кое-где из-под камня пробилась мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята с задранными рубашонками, да если бы кое-где корова, да хоть один домишко, вросший окнами в землю и с провалившейся крышей, — то, думалось Матвею, улица походила бы, пожалуй, на нашу. Только здесь все дома были как один: все в три этажа, все с плоскими крышами, у всех одинаковые окна, одинаковые крылечки с одинаковым числом ступенек, одинаковые выступы и карнизы. Одним словом, вдоль улицы ряды домов стояли, как родные братья-близнецы, — и только черный номер на матовом стекле, над дверью, отличал их один от другого.

Джон посмотрел в свою записную книжку, потом разыскал номер и прижал пуговку у двери. В квартире что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли в переднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь. Она, как оказалось, мыла полы. Очки у нее были вздернуты на лоб, на лице виднелся пот от усталости, и была она в одной рубашке и грязной

юбке. Увидев пришедших, она оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

— Смотри, — шепнул Матвей Анне, — вот как здесь живется нашим господам, — что уж говорить о простых людях!

— Ну, — ответил Джон, — вы еще не знаете этой стороны, мистер Мэтью. — И с этими словами он прошел в первую комнату, сел развязно на стул, а другой подвинул Анне.

Матвей строго посмотрел на невежливого молодого человека, и оба с Анной остались на ногах у порога. Матвей невзлюбил молодого еврея еще с тех пор, как говорил с ним о религии. А затем он не мог не заметить, что Джон частенько остается дома с сестрой, помогает девушкам по хозяйству и поглядывает на Анну. Нужно сказать, что девушка была хороша: голубые глаза, большие и ясные, кроткий взгляд, приветливая улыбка и нежное лицо, немного, правда, побледневшее от дороги и от неизвестности. Никто из бездельников, живших у Борка, ни разу не позволил себе с девушкой ни одной вольности. Однако, не считая Дымы, который вывертывался перед нею в своих диковинных пиджаках, — еще и Падди тоже старался всячески услужить ей, когда встречался в коридоре или на лестнице. А тут еще Джон и

рассказы Борка о Мозесе… «Чего доброго, — думал Матвей, — ведь в этом Содоме никто не смотрит за такими делами. Вот Дыма — давний и испытанный приятель, но и у него характер совершенно изменился в какую-нибудь неделю. Что же может статься с молоденькой, неопытной девушкой, немного еще, может быть, и легкомысленной, как все дочери Евы… Дурного, положим, она не сделает… Но ведь здесь и хорошее тоже ни черта не стоит, а девушка молода, неопытна и испугана».

Вспомнив, вдобавок, свой сон, Матвей даже вздохнул и оглянулся. Слава богу — вот квартира старой барыни, которая возьмет к себе Анну. Все нравилось Матвею в этой квартире. В первой комнате стоял стол, покрытый скатертью, в соседней виднелась кровать, под пологом, в углу большой знакомый образ Почаевской божией матери, которую в нашем Западном крае чтут одинаково католики и православные. За образом была воткнута восковая свеча и пучок сухих веток. Верба не верба, а все-таки был виден наш обычай, и у Матвея стало теплее на сердце… Поэтому он сначала заложил руку за пояс и очень гордо посмотрел на молодого еврея… Но тотчас же ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому что в комнату вошла барыня,

одетая, с очками на носу, с вязанием в руках. Вид у нее был спокойный и даже величавый, так что Матвею было даже странно вспомнить, что он видел ее сейчас за мытьем полов. Она села на стул, досчитала, петли, передернула спицу и сказала почтительно ожидавшим Матвею и Анне, не кивнув даже Джону:

— Ну что скажете?

— К вашей милости, — ответили оба в один голос.

— Тебя, кажется, зовут Анной?..

— Анной, милостивая пани.

— А тебя… Матвеем?

Лицо Матвея расцвело приятной улыбкой.

— А что же тот… Третий?..

Матвей махнул рукой:

— А! Не знаю уж, что и сказать… Поступил на службу или уж как… к какому-то здешнему… Тамани-голлу…

Барыня жалостно посмотрела на Матвея и покачала головой.

— Хороший господин, нечего сказать! Шайка мошенников!

— О господи, — вздохнул Лозинский.

— В этой стороне все навыворот, — сказала опять барыня. — У нас таких молодцов сажают

в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские мэры, которые облагают честных людей налогами.

Матвей вспомнил, что и Дыма выбирал мэра, и вздохнул еще глубже. У барыни спицы забегали быстрее — было видно, что она начинает чего-то сердиться…

— Ну что же ты мне скажешь, моя милая? — спросила она как-то едко, обращаясь к Анне. — Ты пришла наниматься или, может быть, тоже поищешь себе какого-нибудь Тамани-голла?..

— Она — девушка честная, — вступился Матвей.

— А! Видела я за двадцать лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше пропадали в этой проклятой стране… Сначала человек как человек: тихая, скромная, послушная, боится бога, работает и уважает старших. А потом… Смотришь — начала задирать нос, потом обвешается лентами и тряпками, как ворона в павлиньих перьях, потом прибавляй ей жалованье, потом ей нужен отдых два раза в неделю… А потом уже барыня служи ей, а она хочет сидеть сложа руки…

— Господи упаси! Где же это видано!.. — сказал с ужасом Матвей.

Молодой Джон сидел на стуле, вытянув ноги

и заложив руки в карманы, с видом человека, скучающего от этих разговоров.

— Ну, черт еще не так страшен, как его малюют, — сказал он.

Барыня замолкла, даже перестала вязать и устремила внимательный взгляд на Джона, который поднял беспечно голову к потолку, как будто разглядывая там что-то интересное. Несколько секунд стояло молчание, барыня и Матвей укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна покраснела.

— А все отчего? — начала опять барыня спокойно. — Все оттого, что в этой стране нет никакого порядка. Здесь жид Берко — уже не Берко, а мистер Борк, а его сын Иоська превратился в ясновельможного Джона…

— Чистая правда, — сказал Матвей с убеждением. — Слышишь, Анна?

Девушка с некоторым удивлением посмотрела на Матвея и покраснела еще больше. Ей казалось, что хотя, конечно, Джон еврей и сидит немного дерзко, но что говорить так в глаза не следует…

— Да, все здесь перемешалось, как на Лысой горе, — продолжала барыня, — правду говорит один мой знакомый: этот Новый Свет как будто сорвался с петель и летит в преисподнюю…

— И это святая правда, — подтвердил Матвей.

— Я вижу, что ты человек разумный, — сказала барыня снисходительно, — и понимаешь это… То ли, сам скажи, у нас?.. Старый наш Свет стоит себе спокойно… люди знают свое место… жид так жид, мужик так мужик, а барин так барин. Всякий смиренно понимает, кому что назначено от господа… Люди живут и славят бога…

— Ну, эту историю надо когда-нибудь кончить, — сказал Джон, поднимаясь.

— Ах, извините, мистер Джон, — усмехнулась барыня. — Ну что ж, моя милая, надо и в самом деле кончать. Я возьму тебя, если сойдемся в цене… Только вперед предупреждаю, чтобы ты знала: я люблю все делать по-своему, как у нас, а не по-здешнему.

— Это и всего лучше, — вставил Матвей.

— Я за тебя отвечаю перед людьми и перед богом. По воскресеньям мы станем вместе ходить в храм божий, а на эти митинги и балы — ни ногой.

— Слушай барыню, Анна, — сказал Матвей. — Барыня тебя худому не научит… И уж она не обидит сироту.

— Пятнадцать долларов в месяц считается здесь совсем низкой платой, — сказал Джон, глядя на

часы, — пятнадцать долларов, отдельная комната и свободный день в неделю.

Барыня, все так же спокойно продолжая вязанье, кинула на Джона уничтожающий взгляд и сказала Анне:

— Знаешь ты, что значит доллар?

— А это два рубля, милостивая госпожа, — ответил за Анну Матвей.

— Ты служила уже где-нибудь?

— Служила… горничной у госпожи Залесской.

— Сколько получала?

— Шесть рублей.

— Много что-то для нашей стороны, — вздохнула барыня. — В мое время такой платы не знали… А здесь, если хочешь получить тридцать, — то поди вот к нему. Он тебе даст тридцать рублей, отдельную комнату и сколько хочешь свободного времени… днем…

Краска опять залила лицо Анны, а барыня, посмотрев на нее поверх очков, прибавила, обращаясь к Матвею:

— Недалеко ходить: на этой же улице живет христианская девушка у еврея. И уже бог благословил их ребеночком.

— Вы же знаете, что они обвенчаны, — сказал Джон сердито.

— Обвенчаны, конечно!.. Кто же их это обвенчал, скажи, пожалуйста?

— Их обвенчали в мэрии, вы знаете.

— Ну вот видите, — обратилась барыня к Матвею. — Они это называют венчанием…

Матвей с ненавистью взглянул на еврея и сказал:

— Девушка останется у вас.

И потом, посмотрев на Анну, он добавил мягким тоном:

— Она, сударыня, круглая сирота… Грех ее обидеть.

Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тем Джон, которому очень не понравилось все это, а также и обращение с ним Матвея, надел шляпу и пошел к двери, не говоря ни слова. Матвей увидел, что этот неприятный молодой человек готов уйти без него, и тоже заторопился. Наскоро попрощавшись с Анной и поцеловав у барыни руку, он кинулся к двери, но еще раз остановился.

— А что… извините… я спросил бы у вас?

— Что такое?

— Не найдется ли и мне у вас местечка? За дешевую плату… Может, по двору, в огороде или около лошади? Угла бы я у вас где-нибудь в сарае

не пролежал и цену бы взял пустую. А?.. Чтобы только не издохнуть…

— Нет, милый. Какие огороды! Какие лошади! Здесь сенаторы садятся за пять центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем…

— Ну, прошу прощения… А где же?..

И, не окончив, Матвей торопливо выбежал на крыльцо, чтобы не потерять из виду Джона.

XVI

На крыльце неприятного молодого человека уже не было, но кто-то мелькнул за углом. Матвей побежал туда, хотя ему и показалось, что это в другой стороне. Повернув еще за угол, он догнал шедшего человека, но в этой стороне люди, как и дома, похожи друг на друга. На незнакомце был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как и у Джона, но лицо человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивленное и незнакомое. Матвей остолбенел и провожал взглядом уходившего незнакомца; а на Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга, как две капли воды.

Матвей попробовал вернуться. Он еще не пони-

мал хорошенько, что такое с ним случилось, но сердце у него застучало в груди, а потом начало как будто падать. Улица, на которой он стоял, была точь-в-точь такая, как и та, где был дом старой барыни. Только занавески в окнах были опущены на правой стороне, а тени от домов тянулись на левой. Он прошел квартал, постоял у другого угла, оглянулся, вернулся опять и начал тихо удаляться, все оглядываясь, точно его тянуло к месту или на ногах у него были пудовые гири.

А в это время молодого Джона зазрила совесть, что он так невежливо бросил Матвея. Он быстро вернулся, позвонил и довольно сердито попросил выслать Лозинского, потому что ему некогда ждать: время — деньги.

Старая барыня посмотрела на него с удивлением, Анна, которая успела уже снести свой узел в кухню и, поддернув подол юбки, принималась за мытье пола, покинутого барыней, — наскоро оправившись, тоже выбежала к Джону. Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо, и налево. Никого не было видно, похожего на Матвея, на тихой улице.

— Ну, он, верно, пошел на станцию другой дорогой, — сказал Джон.

Анна недоверчиво покачала головой.

— Нет, — сказала она, — он не знает здесь никакой дороги.

Она посмотрела на улицу, на ряды однообразных домов, и на глазах у нее появились слезы.

— Ну, милая, — сказала барыня, — глядеть теперь нечего… Ничего не высмотришь… Да и не за тем я взяла тебя… Там пол стоит недомытый.

— Может быть… он вернется? — сказала Анна.

— Что же! Ты так и будешь стоять тут до вечера? — спросила барыня, уже немного раздражаясь.

— Он у меня один только близкий человек в этой стороне, — произнесла Анна тихо.

— Ну и слава богу, что только один, — ответила барыня. — Для молодой девушки и одного слишком много.

Анна кинула последний взгляд на улицу. За углом мелькнула фигура Джона, расспрашивавшего какого-то прохожего. Потом и он исчез. Улица опустела. Анна вспомнила, что она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она теперь так же потеряна здесь, как и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и дом старой барыни, недавно еще встревоженный, стоявший с открытою дверью и с людьми на крыльце, которые останавливали расспросами

прохожих, — опять стал в ряд других, ничем не отличаясь от соседей; та же дверь с матовым стеклом и черный номер: 1235.

Между тем недалеко в переулке один из прохожих, которого расспрашивал Джон, наткнулся на странного человека, который шел, точно тащил на плечах невидимую тяжесть, и все озирался. Американец ласково взял его за рукав, подвел к углу и указал вдоль улицы:

— Тэрти-файф, тэрти-файф (тридцать пятый), — сказал он ласково, и после этого, вполне уверенный, что с таким точным указанием нельзя уже сбиться, побежал по своему спешному делу, а Матвей подумал, оглянулся и, подойдя к ближайшему дому, позвонил. Дверь отворила незнакомая женщина с лицом в морщинах и с черными буклями по бокам головы. Она что-то сердито спросила — и захлопнула дверь.

То же случилось в следующем доме, то же в третьем. На углу он подумал, что надо повернуть, и он повернул, опять повернул и, увидя фонтан, мимо которого, как ему казалось, они проходили час назад, повернул еще раз. Перед ним вновь была такая же улица, только тени опять перебросились на правую сторону, а солнце прямо било в занавески на левой… Издали, точно где-то

за горой, храпел поезд… Матвей остановился на середине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несет куда-то по течению, и без надежды найти жилье старой барыни пошел туда, откуда слышался шум. А в это время по улице, через которую только что прошел лозищанин, опять пробежал молодой Джон, совсем встревоженный и огорченный. № 1235 опять отворился, и опять на крыльце стояли две женщины с молодым человеком, советуясь и озираясь кругом. У Анны на глазах стояли слезы, Джон сконфуженно пожимал плечами.

Поздно вечером, заплаканная и грустная, Анна кончила работу своего первого дня на службе. Работы было много, так как более двух недель уже барыня обходилась без прислуги. Вдобавок в этот день у барыни обыкновенно вечером играли в карты жильцы ее и гости. Засиделись далеко за полночь, и Анна, усталая и печальная, ждала в соседней комнате, чтобы быть готовой на первый зов.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за приятный вечер.

— А! Право, только у вас и почувствуешь себя иной раз точно на родине, — сказал один из гостей, целуя у хозяйки руку. — И как вы это все

умеете устроить?

— О, она у меня истинная волшебница! — сказал с гордостью муж старой барыни, человек круглый, седой, с пробритой в середине бородкой и торчавшими по бокам седыми баками. — А заметили вы новую горничную?

— Как не заметить. Наверное, из наших стран. Такие хорошие, покорные глаза. О, наш народ еще не испорчен!

— Скажите лучше: не весь еще испорчен. Есть уже и у нас эти карикатуры на господ. Даже в деревню уже проникает пиджак, заменяя живописные костюмы простого народа.

— Да! А девушка действительно приятная; нет этого вызывающего нахальства, этого… как бы сказать… Ну, одним словом, приятно, когда видишь человека, занимающего свое место.

— Надолго ли только! — вздохнула барыня. — Портится все это здесь необыкновенно скоро. И не знаешь просто откуда.

— В воздухе, в воздухе… вроде эпидемии, — сказал один из жильцов, весело засмеявшись… И, проходя в свою комнату, он благосклонно ущипнул Анну за подбородок…

А в бординг-гоузе мистера Борка в этот вечер долго стоял шум. Несмотря на то, что у Дымы

испортился характер, ему теперь было очень совестно и жалко Матвея, и он чувствовал себя виноватым. Отправляясь на чужую сторону, они сговорились жить или пропадать вместе. Голова — Дымы; сила, руки и ноги — Матвея. Теперь ноги одни ходили по свету в то время, как голова путалась с чужими людьми. Совесть у Дымы проснулась, Дыма кричал, Дыма проклинал Джона, себя и своих приятелей и даже толкнул Падди, когда тот сунулся с какой-то шуткой. Падди обиделся и вызвал Дыму на единоборство. Дыма сначала послал его к черту; но Падди пустил ему немного крови из носу — тогда он сам стал совать руками куда попало… Чувствуя, однако, что и голове приходится плохо без сильной руки товарища, он схватил стул, стал кричать, что ему наплевать на все правила, и сильно уронил себя во мнении Падди… Ночью он вскакивал с постели и даже плакал.

Но это, конечно, не помогло. Приятель потонул в огромном городе, точно иголка на пыльном проезжем шляху…

XVII

Впоследствии, по причинам, которые мы изложим дальше, Матвей Лозинский из Лозищей стал

на несколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был прослежен очень точно. Прежде всего человека в странной белой одежде видели идущим на 4 avenue[26], потом он долго шел пешком под настилкой воздушной дороги, к Бруклинскому мосту. Казалось, его тянуло туда, где люднее и гуще. На углу Бродвея и какого-то переулка он вошел в булочную и, указав на огромный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами на ладони. Он говорил что-то продавцу-немцу и даже, когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней губами. Немец вырвал руки и занялся другими покупателями. Человек постоял, посмотрел на булочника грустными глазами, пытался еще говорить что-то и вышел на улицу.

Это был час выхода вечерних газет. На небольшой площадке, невдалеке от огромного здания газеты «Tribune», странный человек зачерпнул воды у фонтана и пил ее с большой жадностью, не обращая внимания на то, что в грязном водоеме два маленьких оборванца плавали и ныряли за никелевыми и медными монетками, которые им на потеху кидали прохожие. Бесчисленное коли-

---

[26] Примечания: 26
Проспект *(англ.). — Ред.*

чество газетных мальчишек, ожидавших выхода номера и развлекавшихся пока чем попало, разделили свое внимание между этими водолазами и странно одетым человеком, которого они засыпали целой тучей звонких острот. В это время через площадку проходил газетный репортер-иллюстратор и наскоро набросал эту сцену в своей книжке. Без сомнения, если бы этот джентльмен мог провидеть будущее, он постарался бы сделать свой рисунок как можно точнее. Но, во-первых, он очень торопился, и ему пришлось поэтому заканчивать набросок с памяти, а во-вторых, он был введен в заблуждение присутствием нырявших мальчишек, которых причислил к семейству незнакомца. Наконец, он не знал, на что, собственно, может пригодиться его эскиз, так как странный незнакомец не мог ответить ничего на самые обыкновенные вопросы.

— Your nation? — спросил репортер, желая узнать, какой Матвей нации.

— Как мне найти мистера Борка? — ответил тот.

— Your name (ваше имя)?

— Он тут где-то… имеет помещение. Наш… могилевский жид.

— How do you like this country? — Это зна-

чило, что репортер желал знать, как Матвею понравилась эта страна, — вопрос, который, по наблюдениям репортеров, обязаны понимать решительно все иностранцы…

Но незнакомец не ответил, только глядел на газетного джентльмена с такою грустью, что ему стало неловко. Он прекратил расспросы, ободрительно похлопал Матвея по плечу и сказал:

— Very well! Это очень хорошо для вас, что вы сюда приехали: Америка — лучшая страна в мире, Нью-Йорк — лучший город в Америке. Ваши милые дети станут здесь когда-нибудь образованными людьми. Я должен только заметить, что полиция не любит, чтобы детей купали в городских бассейнах.

Затем, с «талантом, отличающим карандаш этого джентльмена», он украсил на рисунке свитку лозищанина несколькими фантастическими узорами, из его волос, буйных, нестриженых и слипшихся, сделал одно целое — вместе с бараньей шапкой и, наконец, всю эту странную прическу, по внезапному и слишком торопливому вдохновению, перевязал тесьмой или лентой. Рост Матвея он прибавил еще на четверть аршина, а у его ног, в водоеме, поместил двух младенцев, напоминавших чертами предполага-

емого родителя.

Все это он наскоро снабдил надписью: *«Дикарь, купающий своих детей в водоеме на Бродвее»*, и затем, сунув книжку в карман и оставляя до будущего времени вопрос о том, можно ли сделать что-либо полезное из такого фантастического сюжета, — он торопливо отправился в редакцию.

Как раз в эту минуту вышло вечернее прибавление, и все внимание площадки и прилегающих переулков обратилось к небольшому балкону, висевшему над улицей, на стене Tribune-building (дом газеты «Трибуна»). На этот балкончик выходили люди с кипами газет, брали у толпившихся внизу мальчишек, запрудивших весь переулок, их марки, а взамен кидали им кипы газет. Минут в двадцать все было кончено. Сотни мальчишек мчали во все стороны десятки тысяч номеров, и их звонкие крики разносились с этого места по огромному городу.

На площадке остался только лозищанин, да два оборванца вылавливали в водоеме последние монеты. Вскоре туда же подошел еще высокий господин, в партикулярном платье, в серой большой шляпе, в виде шлема, и с короткою палкой в руке, вроде гетманской булавы, украшенной цветным шнурком и кистями. Это был полисмен

Гопкинс, лицо, хорошо известное всему Нью-Йорку. Полисмен Гопкинс, как сообщалось в тех же газетных заметках, из которых я узнал эту часть моей достоверной истории, был прежде довольно искусным боксером, на которого ставились значительные пари. Однако в последние годы ему пришлось испытать несколько крупных превратностей, связанных с этой профессией, а одна из них сопровождалась даже раздроблением носовых хрящей, потребовавших серьезного лечения. Это побудило мистера Гопкинса к перемене рода занятий. Физические данные и любовь к сильным ощущениям решили его выбор, и он предложил свои услуги директору полиции в качестве полисмена. Само собою разумеется, что услуги были охотно приняты, так как времена наступали довольно бурные: участились стачки и митинги безработных («которыми, — как писала одна благомыслящая газета, — эта цветущая страна обязана коварной агитации завистливых иностранцев»), и все это открывало новое поле природным талантам мистера Гопкинса и его склонности к физическим упражнениям более или менее рискованного свойства. Увесистый клоб из ясеня или дуба дает вдобавок решительное преимущество полисмену перед любым

боксером, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать в хронике газет. «Полисмен Гопкинс, известный неумеренным употреблением клоба», — писали о нем рабочие газеты. Зато другие отмечали с восторгом, что «клоб полисмена Гопкинса, как всегда, отбивал барабанную дробь на головах анархистов».

Случай пожелал, чтобы дороги знаменитого полисмена и бедного лозищанина встретились два раза. В первый раз это произошло именно у описанного фонтана. Мистер Гопкинс шел мимо, как всегда, величаво и важно, играя на ходу своим клобом, и его внимательный взгляд остановился на странной фигуре неизвестного иностранца. «Не видя, однако, законных причин для какого бы то ни было личного воздействия», — так рассказывал впоследствии Гопкинс газетным интервьюерам, — он решил только подойти поближе для внимательного осмотра. Но тут незнакомец удивил его своим непонятным поведением: «Сняв с головы свой странный головной убор (по-видимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его пришлась вровень с поясом Гопкинса, и, внезапно поймав одной рукой его руку, потянулся к ней губами с неизвестною целью. Гопкинс не может сказать

наверное, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого».

Вопрос остался невыясненным, так как в это мгновение над поверхностью водоема появились внезапно головы двух водолазов. Они нырнули при появлении Гопкинса и теперь опять вынырнули в надежде, что он уже прошел. Это было уже явное нарушение правил благочиния. Полисмен тотчас же взял обоих мальчишек за шивороты, поднял их высоко над землей и стал встряхивать, точно две мокрые тряпицы. Вид у него в это время был величавый и грозный, и как раз в эту же минуту через площадь пробегал прежний торопливый репортер. Он остановился, быстро набросал около прежней фигуры лозищанина фигуру мистера Гопкинса с двумя дикаренками в руках и прибавил надпись:

«Полисмен Гопкинс объясняет дикарю, что купание детей в городских водоемах не согласно с законами этой страны».

Затем, сунув книжку в карман, он ринулся со всех ног к вагону канатной дороги, чтобы поспеть на пожар. В его голове мелькал уже план целой заметки: «Известно, что наш город, величайший в мире, привлекает к себе пришельцев из отдаленнейших частей света. На днях мы имели

случай наблюдать, как один из этих дикарей…»

Вагон канатной дороги умчал талантливого человека вместе с этим началом, а мистер Гопкинс поставил мальчишек на мостовую, дал им по легонькому шлепку, при одобрительном смехе проходящих, и затем повернулся к незнакомцу. Очень может быть, что мистеру Гопкинсу удалось бы лучше выяснить национальность незнакомца, а также и то, «как ему нравится эта страна»… Может быть, даже Матвей в тот же вечер попал бы в объятия Дымы, который весь день бегал с Падди по городу, — если бы… в то время, пока Гопкинс возился с мальчишками, лозищанин не скрылся…

По всему поведению Гопкинса он понял, что это полицейский и даже, по-видимому, не из последних. А эта мысль тотчас же привела за собой другую: Матвей вспомнил, что его паспорт остался в квартире Борка… А так как он не знал, что в этой стране даже не понимают хорошенько, что такое паспорт, — то его подрало по спине. Сначала он попятился немного назад, потом еще, а потом — как у нас говорится — взял ноги за пояс и пошел, не оглядываясь, прочь. С тяжелой мыслью в голове, что вот он теперь вдобавок ко всему стал в этой стороне беспаспортным бродя-

гой, — он смешался с густой толпой на Бродвее.

XVIII

Тут еще раз лозищанина приласкала надежда. Когда он шел по людной улице, кто-то тронул его за рукав тихо и ласково. Рядом с ним стоял негр и что-то говорил ему, указывая рукою на стул, который стоял тут же, на панели. Черное, лоснящееся лицо, красные губы, сверкающие белки и вьющиеся волосы негра показались Матвею как будто знакомыми. Он даже подумал — не один ли это из тех бездельников, которые приставали к нему на улице в первый день приезда? Но что же ему нужно теперь? А может быть, он узнал Матвея, может быть, он знает Борка и Дыму, может быть, он видел, что они ищут его по всему городу, и предлагает подождать здесь, а сам пошлет кого-нибудь за приятелями Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стул, негр сказал что-то своему мальчишке, и тот внезапно куда-то провалился. Очевидно, побежал за Дымой или Борком. Матвей радостно сел и кивнул негру головой. Лицо черного человека теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласковые, губы добрые. Правда, некрасив и черен, зато приветлив и услужлив. Он тоже кивнул Матвею головой,

присел у его ног и вздумал пока что почистить Матвею сапоги. Матвей сначала противился, а потом подумал, что всякие есть обычаи на свете, пожалуй, как бы негр не обиделся. И он согласился исполнить желание доброго человека, тем более что, действительно, сапоги совсем порыжели за дорогу. Негр все так же ласково стал тереть ноги Матвея щетками, мазал сапоги ваксой, плевал, дышал и опять тер. Минут через пять сапоги Матвея стали как зеркало. Матвей кивнул головой и опять уселся на стул поудобнее, но негр взял его за рукав и показал большим пальцем на ладонь. Матвей понял, что негр просит на водку, сошел со стула и полез в карман.

— И стоит, — сказал он громко. — Верно, что стоит. За такую услугу не знаю, чего бы человек не отдал.

И он вынул из кармана две монеты. Негр взял лишь одну.

— Бери еще, — сказал Матвей добродушно.

Негр покачал головой. «Вот ведь какой честный народ», — подумал Матвей и опять хотел взгромоздиться на стул, но в это время какой-то господин сел раньше его, а прибежавший мальчишка принес негру кружку пива. Негр стал пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги

новоприбывшего американца. Волосы у Матвея стали подыматься под шапкой.

— А Дыма, а Борк? — спросил он, обращаясь к старшему негру.

Тот повернулся, поглядел на Матвея, потом указал на его сапоги и сказал:

— Уэлл (хорошо).

— Уэлл, — вспомнил Матвей объяснение Дымы. — Это значит «очень хорошо». Что же тут хорошего? А, проклятый! Он говорит, что хорошо вычистил мои сапоги. Ему только этого и было нужно…

«Собака ты, черная собака, — подумал он с горечью. — Человек на тебя надеялся, как на друга, как на брата… как на родного отца! Ты мне казался небесным ангелом. А вместо всего — ты только вычистил мои сапоги…»

И бедный человек пошел дальше. Сапоги его блестели, как зеркало, но на душе стало еще темнее…

XIX

Так вышел он на берег залива. Круглая площадка, на ней — небольшой садик, над головами прохожих вьется по столбам дорога, по дороге пробежал поезд, изогнулся над самым заливом

и побежал дальше берегом, скрывшись за углом серого дома и кинувши на воду клуб черного дыма. Матвей сел на скамью и стал смотреть на залив. Вода колыхалась, искрилась, сверкала. Невдалеке свистнул пароход и отбежал от берега, нагруженный народом. Глаза Матвея побежали невольно за ним. Пароходик бежал прямо к острову, на котором стояла знакомая медная женщина. Мимо острова в это самое время тихо проплывал гигантский корабль, такой же, как и тот, на котором приехали лозищане. Распущенный флаг плескался по ветру и, казалось, стлался у ног медной женщины, которая держала над ним свой факел… Матвей смотрел, как европейский корабль тихо расталкивает своею грудью волны, и на глаза его просились слезы… Как недавно еще он с такого же корабля глядел до самого рассвета на эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начинали золотить ее голову… А Анна тихо спала, склонясь на свой узел…

Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка. Теперь это здание уже заколочено, а прежде, еще недавно, здесь получали приют эмигранты из Европы, приезжавшие на эмигрантских пароходах. Если бы Матвей знал это, то наверное подошел бы поближе. А если бы

подошел, то мог бы увидеть, как из ворот, веселая и нарядная, выходила его сестра Катерина, об руку с Осипом Лозинским. Осип одет как господин, так же, как оделся Дыма, только на Осипе все уже облежалось и не торчит как на корове седло. Они вышли и пошли берегом, направо, к пристаням, в надежде, что, может быть, Матвей и Дыма приехали на том эмигрантском корабле из Германии, который только что проплыл мимо «Свободы». А в это время Матвей поднялся и пошел налево, вдоль берега, за убежавшим поездом.

Часа в четыре странного человека видели опять у моста. Только что прошел мостовой поезд, локомотив делал поворот по кругу, с лестницы сходила целая толпа приехавших с той стороны американцев — и они обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял. Если бы так крикнул кто теперь в большом американском городе, то наверное ему отозвался бы кто-нибудь из толпы, потому что в последние годы корабль за кораблем привозит множество наших: поляков, духоборов, евреев. Они расходятся отсюда по всему побережью, пробуют пахать землю в

колониях, нанимаются в приказчики, работают на фабриках. Иным удается, иные богатеют, иные пристраиваются к земле, и тогда через несколько лет уже не узнаешь еврейских мальчиков, вырастающих в здоровых фермерских работников. Но многие также терпят неудачи; тогда, обедневшие и испуганные, они опять кидаются в города, цепляются за прежнюю жизнь. Кто разложит на тележке плохие ножики и замочки, кто торгует с рук разной мелочью, кто носит книжки с картинками Нью-Йорка, Ниагары, великой дороги, кто бегает на побегушках у своей братии и приезжих. Идет такой бедняга с дрянным товаром, порой со спичками, только бы прикрыть чем-нибудь свое нищенство, идет лохматый, оборванный и грязный, с потускневшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаешь нашего еврея, только еще более несчастного на чужой стороне, где жизнь дороже, а удача встречает не всех.

Но тогда их было еще не так много, и, на несчастье Матвея, ему не встретилось ни одного, когда он стоял среди толпы и кричал, как человек, который тонет. Американцы останавливались, взглядывали с удивлением на странного человека и шли дальше… А когда опять к этому месту стал подходить полисмен, то Лозинский опять

быстро пошел от него и скрылся на мосту…

За мостом он пошел все прямо по улицам Бруклина. Он ждал, что за рекой кончится этот проклятый город и начнутся поля, но ему пришлось идти часа три, пока, наконец, дома стали меньше и между ними, на больших расстояниях, потянулись деревья.

Лозинский вздохнул полной грудью и стал жадными глазами искать полей с желтыми хлебами или лугов с зеленой травой. Он рассчитал, что, по-нашему, теперь травы уже поспели для косьбы, а хлеба должны наливаться, и думал про себя:

«А! Подойду к первому, возьму косу из рук, взмахну раз-другой, так тут уже и без языка поймут, с каким человеком имеют дело… Да и народ, работающий около земли, должен быть проще, а паспорта наверное не спросят в деревне. Только когда, наконец, кончится этот проклятый город?..»

Теперь по бокам дороги пошли уже скромные коттеджи, в один и два этажа, на иных висели скромные вывески, как на наших лавках — по дверям и в окнах. Сады становились все чаще, дома все те же, мощеная дорога лежала прямо, точно разостланная на земле холстина, над которой с обеих сторон склонились зеленые деревья.

Порой на дороге показывался вагон, как темная коробочка, мелькал в солнечных пятнах, вырастал и прокатывался мимо, и вдали появлялся другой… Порой казалось, что вот-вот сейчас все это кончится и откроется даль, с шоссейной дорогой, которая бежит по полям, с одним рядом телеграфных столбов, с одинокой почтовой тележкой и с морем спелых хлебов по сторонам, до самого горизонта. А там светлая речка, мостик, лужок — и приветливый деревенский народ на работе…

Но вместо этого внезапно целая куча домов опять выступила из-за зелени, и Матвей опять попадал как будто в новый город; порой даже среди скромных коттеджей опять подымались гордые дома в шесть и семь этажей, а через несколько минут опять маленькие домики и такая же дорога, как будто этот город не может кончиться, как будто он занял уже весь свет…

И все здесь было незнакомо, все не наше. Кое-где в садах стояла странная зелень, что-то вилось по тычинкам, связанным дугами, — и, приглядевшись, Матвей увидел кисти винограда…

Наконец в стороне мелькнул меж ветвей кусок черной, как бархат, пашни. Матвей быстро кинулся туда и стал смотреть с дороги из-за деревьев…

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в пятнадцать, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а железной проволокой, с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченного и черного. На другом стоял локомобиль — красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводный канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема.

Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господа! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пашут землю?

Несколько человек следили за этой работой. Может быть, они пробовали машину, а может быть, обрабатывали поле, но только ни один не

был похож на нашего пахаря. Матвей пошел от них в другую сторону, где сквозь зелень блеснула вода…

Он жадно наклонился к ней, но вода была соленая. Это уже было взморье — два-три паруса виднелись между берегом и островом. А там, где остров кончался, — над линией воды тянулся чуть видный дымок парохода. Матвей упал на землю, на береговом откосе, на самом краю американской земли, и жадными, воспаленными, сухими глазами смотрел туда, где за морем осталась вся его жизнь. А дымок парохода тихонько таял, таял и наконец исчез…

Между тем за островом село солнце. Волна за волной тихо набегала на берег, и пена их становилась белее, а волны темнели. Матвею казалось, что он спит, что это во сне плещутся эти странные волны, угасает заря, полный месяц, большой и задумчивый, повис в вечерней мгле, лиловой, прозрачной и легкой… Волны все бежали и плескались, а на их верхушках, закругленных и зыбких, играли то белая пена, то переливы глубокого синего неба, то серебристые отблески месяца, то, наконец, красные огни фонарей, которые какой-то человек, сновавший по воде в легкой лодке, зажигал зачем-то в разных местах,

над морем…

Потом, опять будто во сне, послышались голоса, крики, звонкий смех. Несколько мужчин, женщин и девушек, в странных костюмах, с обнаженными руками и ногами до колен, появились из маленьких деревянных будок, построенных на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со смехом в волны, расплескивая воду, которая брызгала у них из-под ног тяжелыми каплями, точно расплавленное золото. Еще сильнее закачались зыбкие гребни, еще быстрее запрыгали в воде огни, перемешиваясь с цветными клочками неба и месяца, а лодки под фонарями, черные, точно из цельного угля, — забились и запрыгали на верхушках…

Матвею все казалось, что он спит или грезит. Чужое небо, незнакомая красота чужой природы, чужое, непонятное веселье, чужой закат и чужое море — все это расслабляло его усталую душу…

— Господи Иисусе, святая дева… Всякое дыхание… Помилуй меня, грешного.

Потихоньку бормотание странного человека стихало.

Он действительно спал, откинувшись на спину, на откосе…

XX

Проснулся он внезапно, точно кто толкнул его в бок, вскочил и, не отдавая себе отчета, куда и зачем, пошел опять по дороге. Море совсем угасло, на берегу никого не было, дорога тоже была пуста. Коттеджи спали, освещаемые месяцем сверху, спали также высокие незнакомые деревья с густою, тяжелою зеленью, спало недопаханное квадратное поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, белевшая и искрившаяся бледною полоской…

Послышался звон. Вагон вынырнул на свет из тени деревьев и, вздрагивая, позванивая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. Матвей посмотрел ему вслед. Лошадей не было, не было ни трубы, ни дыма, ни пара. Только наверху, откинувшись спереди назад, точно щупальце этого странного животного из стекла, железа и дерева, — торчал железный стержень с утолщением на конце. Он как будто хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную в темном воздухе, и всякий раз, как ему встречался узел, — на его верхушке вспыхивала яркая, синеватая искра.

Вагон уменьшался, стихал его гудящий звон, и искорки бледнели и угасали вдали, а из тени уже

подходил другой, также гудя и позванивая.

Это, должно быть, был уже последний и шел почти пустой. Полусонный кондуктор, заметив одинокую фигуру на дороге, позвонил; вагон задрожал, заскрежетал на рельсах и замедлил ход. Кондуктор наклонился, взял Лозинского под локоть и посадил на скамью. Лозинский подал монету, раздался металлический звонок счетчика, и вагон опять покатился, а мимо убегали назад коттеджи, сады, переулки, улицы. Сначала все это спало или засыпало. Потом как будто пробуждалось, гремело, говорило, светилось. На небе разливалось зарево. Замелькали окна, уходя все выше и выше к небу.

— Бридж (мост), — сказал кондуктор. Матвей вышел, сожалея, что нельзя ехать таким образом вечно. Перед ним зияло опять, точно пещера, устье Бруклинского моста. Вверху, пыхтя, опять завернулся локомотив и подхватил поезд. В левой стороне вкатывались вагоны канатной дороги, справа выбегали другие, а рядом въезжали фургоны и шли редкие пешеходы…

Дойдя до половины моста, Матвей остановился. В ушах у него шумело, в голове что-то ворочалось. Мимо бежали поезда, вагоны, коляски, мост гудел, и было страшно слушать тонкие свистки

пароходов, долетавшие снизу, — так они казались далеко и глубоко, в какой-то бездне, переполненной снующими огоньками… А в небо уходили два гигантских пролета, с которых спускались канаты невиданной толщины. Целая сеть железных стержней, которые казались Матвею с корабля такой красивой паутинкой, тянулась от канатов, поддерживая мост на весу. Из-за них едва можно было разглядеть реку, сливавшуюся с заливом в одно серебристое сияние, в котором утопали и из которого виднелись опять огни пароходов. И дальше тысячи огней, как звезды, висели над водой, уходя вдаль, туда, где новые огни горели в Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалеке, острые глаза Матвея едва различили круглую огненную диадему и факел свободы. Ему казалось, что он видит в синеватом свете и голову медной женщины, и поднятую руку. Но это уже светилось слабо, чуть-чуть мерцая, как недавние дни с мечтами о счастье на чужой стороне…

В черной громаде пролета, точно нора, светилось оконце мостового сторожа, и сам он, как ничтожный светляк, выполз из этой норы, с фонарем. Он тотчас же увидел на мосту иностранца, а это всегда нравится американцу. Сторож похлопал Матвея по плечу и сказал несколько

одобрительных слов.

— Нельзя ли у тебя переночевать? — спросил Матвей усталым голосом.

— О уэлл! — ответил тот по-своему и стал объяснять Матвею, что Америка больше всего остального света, — это известно. Нью-Йорк — самый большой город Америки, а этот мост — самый большой в Нью-Йорке. Из этого Матвей, если бы понимал слова сторожа, мог бы заключить, чего стоят остальные мостишки перед этим.

Потом сторож поглядел в глаза странного человека, прочел в них тоску вместо удивления, и мысли его приняли другое направление… Конечно, если уже человеку жизнь не мила, то, пожалуй, лестно кинуться с самого большого моста в свете, но, во-первых, это трудно: не перелезешь через эту сеть проволок и канатов, а во-вторых, мост построен совсем не для того. Все это сторож объявил Матвею, а затем довольно решительно повернул его и стал провожать, поталкивая сзади. Впрочем, странный человек пошел покорно, как заведенная машина, туда, где над городом стояло зарево и, точно венец, плавало в воздухе кольцо электрических огней над зданием газетного дома…

За мостом он уже без приглашения кондуктора

взобрался в вагон, на котором стояла надпись: «Central park»[27]. Спокойное сидение и ровный бег вагона манили невольно бесприютного человека, а куда ехать, ему было теперь все равно. Только бы ехать, чем дальше, тем лучше, не думая ни о чем, давая отдых усталым ногам, пока дремота налетает вместе с ровным постукиванием колес…

Ему было очень неприятно, когда постукивание вдруг прекратилось и перед ним стал кондуктор, взявший его за рукав. Он опять вынул деньги, но кондуктор сказал — No[28], — и показал рукой, что надо выйти.

Матвей вышел, а пустой вагон как-то радостно закатился по кругу. Кондуктор гасил на ходу огни, окна вагона точно зажмурились, и скоро Матвей увидел, как он вкатился во двор станции и стал под навесом, где, покрытые тенью, отдыхали другие такие же вагоны…

Здесь было довольно тихо. Луна стала совсем маленькой, и синяя ночь была довольно темна» хотя на небе виднелись звезды, и большая, еще не застроенная площадь около Центрального парка

---

[27] Примечания: 27
Центральный парк *(англ.). — Ред.*

[28] Примечания: 28
Нет *(англ.). — Ред.*

смутно белела под серебристыми лучами… Далекие дома перемежались с пустырями и заборами, и только в одном месте какой-то гордый человек вывел дом этажей в шестнадцать, высившийся черною громадой, весь обставленный еще лесами… Эта вавилонская башня резко рисовалась на зареве от освещенного города…

До ушей Матвея донесся шум деревьев. Лес всегда тянет к себе бесприютного бродягу, а Матвей Лозинский чувствовал себя настоящим бродягой.

Поэтому он быстро повернулся и пошел к парку. Если бы кто смотрел на него в это время с площади, то мог бы видеть, как белая одежда то теряется в тени деревьев, то мелькает опять на месячном свете.

Он шел так несколько минут и вдруг остановился. Перед ним поднималась в чаще огромная клетка из тонкой проволоки, точно колпаком покрывшая дерево. На ветвях и перекладинах сидели и тихо дремали птицы, казавшиеся какими-то серыми комками. Когда Матвей подошел поближе, большой коршун поднял голову, сверкнул глазами и лениво расправил крылья. Потом опять уселся и втянул голову между плеч.

Матвей отошел, боясь, чтобы птицы не подняли возню. Он ступал тихо и оглядывался, ища себе

приюта. Вскоре перед ним забелело продолговатое здание. Половина его была темная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь сарай, где можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, он опять увидел железную решетку, от которой отскочил в испуге. Из-за нее сверкнули на него огнем два глаза. Большой серый волк стоял над спящею волчицей и зорко следил за подозрительным человеком в белой одежде, который бродит неизвестно зачем ночью около звериного жилья.

В то же время откуда-то из тени человеческий голос сказал что-то по-английски резко и сердито. Матвею этот окрик показался хуже ворчания лесного зверя. Он вздрогнул и пугливо пошел опять к опушке. Тут он остановился и погрозил кулаком. Кому? Неизвестно, но человек без языка чувствовал, что и в нем просыпается что-то волчье…

XXI

Легкое журчание воды потянуло его дальше. Это струился в бассейн неплотно запертый фонтан. Вода сочилась кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсем низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился к водоему и стал жадно пить. Потом он снял шапку и перекрестился, решившись лечь тут же в ку-

стах. Издалека в тишине ночи до него донесся свисток… Ему показался он звуком из какого-то другого мира. Он сам когда-то тоже приехал на пароходе… Может быть, это еще такой же пароход из старой Европы, на котором люди приехали искать в этой Америке своего счастья, — и теперь смотрят на огромную статую с поднятой рукой, в которой чуть не под облаками светится факел… Только теперь лозищанину казалось, что он освещает вход в огромную могилу.

С сокрушением, сняв шапку и глядя в звездное небо, он стал молиться готовыми словами вечерних молитв. Небо тихо горело своими огнями в бездонной синеве и казалось ему чужим и далеким. Он вздохнул, бережно положил около себя кусок хлеба, с которым все не расставался, — и лег в кусты. Все стихло, все погасло, все заснуло на площади, около зверинца и в парке. Только плескалась струйка воды, да где-то вскрикивала в клетке ночная птица, да в кустах шевелилось что-то белое, и порой человек бормотал во сне что-то печальное и сердитое, может быть молитву, или жалобы, или проклятия.

Ночь продолжала тихий бег над землей. Поплыли в высоком небе белые облака, совсем похожие на наши. Луна закатилась за деревья;

становилось свежее и как будто светлело. От земли чувствовалась сырость…

Тут с Матвеем случилось небольшое происшествие, которого он не забыл во всю свою последующую жизнь, и хотя он не мог считать себя виноватым, но все же оно камнем лежало на его совести.

Он начинал дремать, как вдруг раздвинулись кусты и какой-то человек остановился над ним, заглядывая в его ночное убежище.

Час был серый, сумеречный. Матвей плохо видел лицо незнакомца. Впоследствии ему припоминалось, что лицо было бледно, а большие глаза смотрели страдающе и грустно…

Очевидно, это был тоже ночной бродяга, какой-нибудь несчастливец, которому, видно, не повезло в этот день, а может, не везло уже много дней и теперь не было нескольких центов, чтобы заплатить за ночлег. Может быть, это был тоже человек без языка, какой-нибудь бедняга итальянец, один из тех, что идут сюда целыми стадами из своей благословенной страны, бедные, темные, как и наши, и с такой же тоской о покинутой родине, о родной беде, под родным небом… Один из безработных, выкинутых этим огромным потоком, который лишь ненадолго затих там, в

той стороне, где высились эти каменные вавилонские башни и зарево огней тихо догорало, как будто и оно засыпало перед рассветом. Может быть, и этого человека грызла тоска; может быть, его уже не носили ноги; может быть, его сердце уже переполнилось тоской одиночества; может быть, его просто томил голод и он рад бы был куску хлеба, которым мог бы с ним поделиться Лозинский. Может быть, и он мог бы указать лозищанину какой-нибудь выход…

Может быть… Мало ли что может быть! Может быть, эти два человека нашли бы друг в друге братьев до конца своей жизни, если бы они обменялись несколькими братскими словами в эту теплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбине…

Но человек без языка шевельнулся на земле так, как недавно шевельнулся ему навстречу волк в своей клетке. Он подумал, что это тот, чей голос он слышал недавно, такой резкий и враждебный. А если и не тот самый, то, может быть, садовый сторож, который прогонит его отсюда…

Он поднял голову с враждой на душе, и четыре человеческих глаза встретились с выражением недоверия и испуга…

— Джермен? — спросил незнакомец глухим

голосом… — Френч? Тэдеско, итальяно?.. (Германец? француз? итальянец?)

— Что тебе нужно? — ответил Матвей. — Неужели и здесь не дашь человеку минутку покоя?..

Они еще обменялись несколькими фразами. Голоса обоих звучали сердито и враждебно…

Незнакомец тихо выпустил ветку, кусты сдвинулись, и он исчез.

Он исчез, и шаги его стали стихать… Матвей быстро приподнялся на локте с каким-то испугом. «Уходит, — подумал он. — А что же будет дальше…» И ему захотелось вернуть этого человека. Но потом он подумал, что вернуть нельзя, да и незачем. Все равно — не поймет ни слова.

Он слушал, как шаги стихали, потом стихли, и только деревья что-то шептали перед рассветом в сгустившейся темноте… Потом с моря надвинулась мглистая туча и пошел тихий дождь, недолгий и теплый, покрывший весь парк шорохом капель по листьям.

Сначала этот шорох слышали два человека в Центральном парке, а потом только один…

Другого наутро ранняя заря застала висящим на одном из шептавших деревьев, с страшным, посиневшим лицом и застывшим стеклянным взглядом.

Это был тот, что подходил к кустам, заглядывая на лежавшего лозищанина. Человек без языка увидел его первый, поднявшись с земли от холода, от сырости, от тоски, которая гнала его с места. Он остановился перед ним как вкопанный, невольно перекрестился и быстро побежал по дорожке, с лицом, бледным как полотно, с испуганными сумасшедшими глазами… Может быть, ему было жалко, а может быть, также… он боялся попасть в свидетели… Что он скажет, он, человек без языка, без паспорта, судьям этой проклятой стороны?..

В это время его увидал сторож, который, зевая, потягивался под своим навесом. Он подивился на странную одежду огромного человека, вспомнил, что как будто видел его ночью около волчьей клетки, и потом с удивлением рассматривал огромные следы огромных сапог лозищанина на сырой песчаной дорожке…

XXII

В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить митинг. Час был назначен ранний, так, чтобы шествие обратило внимание всех, кто сам спешит на работу в конторы, на фабрики и в мастерские.

О предстоящем митинге уже за неделю писали в газетах, сообщая его программу и имена ораторов. Предвидели, что толпа может «выйти из порядка», интервьюировали директора полиции и вожаков рабочего движения. Газеты биржевиков и Тамани-холла громили агитаторов, утверждали, что только иностранцы да еще лентяи и пьяницы остаются без работы в этой свободной стране. Рабочие газеты возражали, но тоже призывали к достоинству, порядку и уважению к законам. «Не давайте противникам повода обвинять вас в некультурности», — писали известные вожаки рабочего движения.

Газета «Sun», одна из наиболее распространенных, обещала самое подробное описание митинга в нескольких его фазах, для чего каждые полчаса должно было появляться специальное прибавление. Один из репортеров был поэтому командирован ранним утром, чтобы дать заметку: «Центральный парк перед началом митинга».

Ему очень повезло. Прежде всего, обегая все закоулки парка, он наткнулся на Матвея и тотчас же нацелился на него своим фотографическим аппаратом. И хотя Матвей быстро от него удалился, но он успел сделать моментальный снимок, к

которому намеревался прибавить подпись: «Первый из безработных, явившихся на митинг».

Он представлял себе, как подхватят эту фигуру газеты, враждебные рабочему движению: «Первым явился какой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов…»

Затем зоркий глаз репортера заметил в чаще висящее тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентльмену: первой его мыслью было — что, может быть, несчастный еще жив. Поэтому, подбежав к трупу, он вынул из кармана свой ножик, чтобы обрезать веревку. Но пощупав совершенно охладевшую руку, спокойно отошел на несколько шагов и, выбрав точку, набросал снимок в альбом… Это должно было тоже произвести впечатление — хотя уже с другой стороны. Это подхватят рабочие газеты… «Человек, который явился на митинг еще ранее… Еще одна жертва нужды в богатейшей стране мира…» Во всяком случае заметка вызовет общую сенсацию, и редакция будет довольна.

Действительно, и заметка, и изображение мертвого тела появились в газете ранее, чем о происшествии стало известно полиции. По странной оплошности («что, впрочем, может

случиться даже с отличной полицией», — писали впоследствии в некоторых газетах), толпа уже стала собираться и тоже заметила тело, а полиция все еще не знала о происшествии…

Матвей Лозинский, ничего, конечно, не читавший о митинге, увидел, что к парку с разных сторон стекается народ. По площади, из улиц и переулков шли кучами какие-то люди в пиджаках, правда довольно потертых, в сюртуках, правда довольно засаленных, в шляпах, правда довольно измятых, в крахмальных, правда довольно грязных рубахах. Общий вид этой толпы, изможденные, порой бородатые лица производили на Лозинского успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное. Все они собирались к фонтану, затем узнали о самоубийстве и, как муравьи, толпились около этого места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лозинский теперь смелее вышел на площадку, около которой расположилась группа черномазых и густоволосых людей, еще более оборванных, чем остальные. Глаза у них были как сливы, лица смуглые, порой остроконечные шляпы с широкими полями, а язык звучал как музыка — мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они напом-

нили Матвею словаков, заходивших в Лозищи из Карпат, и он доверчиво попытался заговорить с ними. Но и тут его никто не понял. Итальянцы лениво поворачивали к нему головы; один подошел, пощупал его белую свиту и с удивлением щелкнул языком. Потом он с удовольствием ощупал мускулы его рук и сказал что-то товарищам, которые выразили свое одобрение шумными криками… Но больше ничего от них Матвей не добился… Он заметил только, что глаза у них сверкают, как огонь, а у иных, под куртками у поясов, висят небольшие ножи.

Вскоре толпа залила уже всю площадку. Над ней стояла тонкая пыль, залегавшая, как туман, между зеленью, и сплошной гул голосов носился над людскими головами…

Около дерева, где висел человек, началось движение. Суровые и важные, туда прошли полисмены в своих серых шляпах. Над ними смеялись, их закидали враждебными криками и остротами, показывая номер газеты, но они не обращали на это внимания. Только около самого дерева произошло какое-то замешательство — серые каски как-то странно толкались между черными, рыжими и пестрыми шляпенками, потом подымались кверху и опускались

деревянные палки и что-то суетливо топталось и шарахалось. Потом мертвое тело колыхнулось, голова мертвеца вдруг выступила из тени в светлое пятно, потом поникла, а тело, будто произвольно, тихо опустилось вровень с толпой.

Матвей снял шапку и перекрестился. А в это время с другой стороны, с площадки, послышались вдруг звуки музыки. Повернув туда голову, лозищанин увидел, что из переулка, на той стороне площади, около большой постройки, выкатился клуб золотистой пыли и покатился к парку. Точно гнали стадо или шло большое войско. А из облака неслись звуки музыки, то стихая — и тогда слышался как будто один только гулкий топот тысячи ног, — то вдруг вылетая вперед визгом кларнетов и медных труб, стуком барабанов и звоном литавров. Впереди бежали двумя рядами уличные мальчишки, и высокий тамбур-мажор шагал, отмахивая такт большим жезлом. За ним двигались музыканты, с раздутыми и красными щеками, в касках с перьями, в цветных мундирах, с огромными эполетами на плечах, расшитые и изукрашенные до такой степени, что, кажется, не оставалось на них ни клочка, чем-нибудь не расцвеченного, не завешенного каким-нибудь галуном или позументом.

Матвей думал, что далее он увидит отряд войска. Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, он увидел, что за музыкой идут сначала рядами, а потом как попало, в беспорядке — все такие же пиджаки, такие же мятые шляпы, такие же пыльные и полинялые фигуры. А впереди всей этой пестрой толпы, высоко над ее головами, плывет и колышется знамя, укрепленное на высокой платформе на колесах. Кругом знамени, точно стража, с десяток людей двигались вместе с толпой…

Гремя, стуча, колыхаясь, под яркие звуки марша, под неистовые крики и свист ожидавшего народа, знамя подошло к фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали, только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище плескалось, и на нем струились золотые буквы…

Тогда в толпе поднялся настоящий шабаш. Одни звали новоприбывших к дереву, где недавно висел самоубийца, другие хотели остаться на заранее назначенном месте. Знамя опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро вернулась назад, отраженная плотно сомкнувшимся у дерева отрядом полиции.

Когда пыль, поднятую этой толкотней, пронесло дальше, к площади, знамя опять стояло неподвижно, а под знаменем встал человек с

открытой головой, длинными, откинутыми назад волосами и черными сверкающими глазами южанина. Он был невелик ростом, но возвышался над всею толпой на своей платформе, и у него был удивительный голос, сразу покрывший говор толпы. Это был мистер Чарльз Гомперс, знаменитый оратор рабочего союза.

Толпа вся стихла, когда, протянув руку к дереву, где еще недавно висел самоубийца, он сказал негромко, но с какой-то особенной торжественной внятностью:

— Прежде всего отдадим почет одному из наших товарищей, который еще этой ночью изнемог в трудной борьбе.

Над многотысячной толпой точно пронесся ветер, и бесчисленные шляпы внезапно замелькали в воздухе. Головы обнажились. Складки знамени рванулись и заплескались среди гробовой тишины печально и глухо. Потом Гомперс начал опять свою речь.

В груди у Матвея что-то дрогнуло. Он понял, что этот человек говорит о *нем,* о том, кто ходил этой ночью по парку, несчастный и бесприютный, как и он, Лозинский, как и все эти люди с истомленными лицами. О том, кого, как и их всех, выкинул сюда этот безжалостный город, о том, кто недавно

спрашивал у него о чем-то глухим голосом… О том, кто бродил здесь со своей глубокой тоской и кого теперь уже нет на этом свете.

Было слышно, как ветер тихо шелестит листьями, было слышно, как порой тряхнется и глухо ударит по ветру своими складками огромное полотнище знамени… А речь человека, стоявшего выше всех с обнаженной головой, продолжалась, плавная, задушевная и печальная…

Потом он повернулся и протянул руку к городу, гневно и угрожающе.

И в толпе будто стукнуло что-то разом во все сердца — произошло внезапное движение. Все глаза повернулись туда же, а итальянцы приподнимались на цыпочках, сжимая свои грязные, загорелые кулаки, вытягивая свои жилистые руки.

А город, объятый тонкою мглою собственных испарений, стоял спокойно, будто тихо дыша и продолжая жить своею обычною, ничем не возмутимою жизнью. По площади тянулись и грохотали вагоны, пыхтел где-то в туннеле быстрый поезд… Ветер нес над площадью пыльное облако. Облако это, точно лента, пронизанная солнцем, повисло в половине огромного недостроенного дома, напоминавшего вавилонскую

башню. Вверху среди лесов и настилок копошились, как муравьи, занятые постройкой рабочие, а снизу то и дело подымались огромные тяжести… Подымались, исчезали в облаке пыли и опять плыли сверху, между тем как внизу гигантские краны бесшумно ворочались на своих основаниях, подхватывая все новые платформы с глыбами кирпичей и гранита…

И на все это светило яркое солнце веселого ясного дня.

В груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно щекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним. Ему хотелось еще чего-то необычного, опьяняющего, ему казалось, что сейчас будет что-то, от чего станет лучше всем и ему, лозищанину, затерявшемуся, точно иголка, на чужой стороне. Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он

забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперед, опьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах. Он как-то кротко улыбнулся, говорил что-то тихо, но быстро, и все проталкивался вперед, туда, где под знаменем стоял человек, так хорошо понимавший все чувства, так умело колыхавший их своим глубоким, проникавшим голосом…

XXIII

Совершенно неизвестно, что сделал бы Матвей Лозинский, если бы ему удалось подойти к самой платформе, и чем бы он выразил оратору, мистеру Гомперсу, волновавшие его чувства. В той местности, откуда он был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках — посредством низких, почти до земли, поклонов и целования руки. Очень может быть, что мистер Гомперс получил бы это проявление удивления к своему ораторскому искусству, если бы роковой случай не устроил это дело иначе, а

именно так, что ранее мистера Гомперса, председателя рабочих ассоциаций и искусного оратора, на пути лозищанина оказался мистер Гопкинс, бывший боксер и полисмен. Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках и с клобами в руках, стоял неподвижно, как статуя, и, разумеется, не был тронут красноречием мистера Гомперса. Нью-йоркская полиция отлично знала этого популярного джентльмена и действие его красноречия оценивала с своей точки зрения. Она знала, что мистер Гомперс человек очень искусный и никогда в своих речах не «выйдет из порядка». Но зато — таково было обычное действие его слова — слушатели выходили из порядка слишком часто. Безработные всегда склонны к этому в особенности, а сегодня, вдобавок, от этого проклятого дерева, на котором полиция прозевала повесившегося беднягу и позволила ему висеть «вне всякого порядка» слишком долго, на толпу веяло чем-то особенным. Между тем давно уже не бывало митинга такого многолюдного, и каждому полисмену в случае свалки приходилось бы иметь дело одному на сто.

В таких случаях полиция держится крепко настороже, следя особенно за иностранцами. Пока

все в порядке — а в порядке все, пока дело ограничивается словами, хотя бы и самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматическими, — до тех пор полисмены стоят в своих серых шляпах, позволяя себе порой даже знаки одобрения в особенно удачных местах речи. Но лишь только в какой-нибудь части толпы явится стремление перейти к делу и «выйти из порядка» — полиция тотчас же занимает выгодную позицию нападающей стороны. И клобы пускаются в ход быстро, решительно, с ошеломляющей неожиданностью. И толпа порой тысяч в двадцать отступает перед сотнею-другою палок, причем задние бегут, закрывая на всякий случай головы руками…

Матвей Лозинский, разумеется, не знал еще, к своему несчастью, местных обычаев. Он только шел вперед, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе. И когда к нему внезапно повернулся высокий господин в серой шляпе, когда он увидел, что это опять вчерашний полицейский, он излил на него все то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистер Гопкинс отскочил шаг назад и — клоб свистнул в воздухе… В толпе резко прозвучал первый удар…

Лозищанин внезапно поднялся, как разъяренный медведь… По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. Он был страшнее, чем в тот раз в комнате Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдержать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось все то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя.

Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индейский удар, как Падди, во всяком случае и он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое, поднялось, навалилось — и полисмен Гопкинс упал на землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела… За Гопкинсом последовал его ближайший товарищ, а через несколько секунд огромный человек, в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка… За ним с громкими криками

и горящими глазами первые кинулись итальянцы. Американцы оставались около знамени, где мистер Гомперс напрасно надрывал грудь призывами к порядку, указывая в то же время на одну из надписей: «Порядок, достоинство, дисциплина!»

Через минуту вся полиция была смята, и толпа кинулась на площадь…

Была одна минута, когда, казалось, город дрогнул под влиянием того, что происходило около Central park'a… Уезжавшие вагоны заторопились, встречные остановились в нерешимости, перестали вертеться краны, и люди на постройке перестали ползать взад и вперед… Рабочие смотрели с любопытством и сочувствием на толпу, опрокинувшую полицию и готовую ринуться через площадь на ближайшие здания и улицы.

Но это была только минута. Площадь была во власти толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать с этой площадью. Между тем большинство осталось около знамени и понемногу голова толпы, которая, точно змея, потянулась было по направлению к городу, — опять притянулась к туловищу. Затем после короткого размышления вожаки решили, что митинг сорван, и, составив наскоро резолюцию, протестующую против действий полиции, они двинулись обратно.

Впереди как ни в чем не бывало опять выстроился наемный оркестр, и облако пыли опять покатилось вместе с музыкой через площадь. А за ним сомкнутым строем шли оправившиеся полицейские, ободрительно помахивая клобами и поощряя отставших.

Через полчаса парк опустел; подъемные краны опять двигались на своих основаниях, рабочие опять сновали чуть не под облаками на постройке, опять мерно прокатывались вагоны, и проезжавшие в них люди только из газет узнали о том, что было полчаса назад на этом месте. Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ругаясь за помятые газоны…

XXIV

Несколько дней газеты города Нью-Йорка, благодаря лозищанину Матвею, работали очень бойко. В его честь типографские машины сделали сотни тысяч лишних оборотов, сотни репортеров сновали за известиями о нем по всему городу, а на площадках, перед огромными зданиями газет «World», «Tribune», «Sun», «Herald» — толпились лишние сотни газетных мальчишек. На одном из этих зданий Дыма, все еще рыскавший по городу в надежде встретиться с товарищем, увидел

экран, на котором висело объявление:

ДИКАРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Происшествие на митинге безработных.
Кафр, патагонец или славянин?
Сильнее полисмена Гопкинса.

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оскорбление законов этой страны!

Мы дадим портрет дикаря,
убившего полисмена Гопкинса.

Через час листы уже летели в толпу мальчишек, которые тотчас же ринулись во все стороны. Они шныряли под ногами лошадей, вскакивали на ходу в вагоны электрической дороги, через полчаса были уже на конце подземной дороги и в предместьях Бруклина — и всюду раздавались их звонкие крики:

«Дикарь в Нью-Йорке!.. Портрет дикаря на митинге безработных!.. Оскорбление законов этой страны!»

Газетный джентльмен, нарисовавший вчера фантастическое изображение дикаря, купающего свою семью в городском водоеме, не подозревал,

что его рисунок получит столь скорое применение. Теперь это талантливое произведение красовалось в сотнях тысяч экземпляров, и серьезные американцы, возвращавшиеся из своих контор, развертывали на ходу газету именно в том месте, где находилась фигура дикаря, «дважды нарушившего законы этой страны». А так как очень трудно воздержаться от невольных сопоставлений, то газета, пока не выяснятся окончательно мотивы загадочного преступления этого загадочного человека, предлагала свое объяснение, не настаивая, впрочем, на полной его достоверности. «Вчера бедный Гопкинс разъяснил дикарю всю неуместность купания детей в городских водоемах. Известно, что дикари мелочны и мстительны. Кто знает, быть может, Гопкинс пал невинною жертвой ревностного исполнения своего долга на Бродвее».

В другой газете, более серьезной, дано было изложение события по свежим следам. Заметка носила название *«Митинг безработных»:*

«Спешим дать нашим читателям точное изложение события в Центральном парке. Как уже известно, митинг безработных был назначен утром, и уже чуть не с рассвета площадка и окружающая местность стали наполняться

людьми в количестве, которое привело в некоторое замешательство полицейские резервы. В числе последних оказался известный Гопкинс, бывший боксер, лицо, достаточно популярное в этом городе.

К несчастью, случай, один из тех, которые, конечно, могут встретиться во всяком городе этого штата, во всяком штате этой страны, во всякой стране этого мира (где всегда будет богатство и бедность, что бы ни говорили опасные утописты), — такой случай внес особенное возбуждение в настроение этой толпы. Неподалеку от фонтана, по соседству с местом митинга, в эту ночь повесился какой-то бедняк, имя, род занятий, даже национальность которого остаются пока неизвестны. Как бы то ни было, полиция проявила несомненную оплошность. Один из репортеров успел срисовать даже изображение самоубийцы, прежде чем полиция узнала о факте. Вынимать тело из петли пришлось уже в то время, когда в парке было много людей, судьба которых, вследствие случайных, но тем не менее прискорбных причин, очень грустно иллюстрировалась видом и судьбой этого бедняги. Первая попытка полиции снять тело оказалась неудачна вследствие сопротивления, оказанного сильно

возбужденной толпой. Но затем, когда силы полиции увеличились, это было, наконец, сделано — хотя, нужно признаться, не без содействия клобов, которые, как мы это указывали многократно, полиция наша пускает в ход нередко и при обстоятельствах, пожалуй менее оправдывающих употребление этого орудия в цивилизованной стране.

В назначенное время прибыл на место известный рабочий агитатор мистер Гомперс, в сопровождении хора музыки и со знаменем, на котором была надпись:

Работы!
Терпение народа истощено.
Соединяйтесь!
Петиция новому мэру!

Беспристрастие требует прибавить, что, кроме этих, была еще надпись следующего содержания: «Достоинство, порядок, дисциплина!»

За этой заметкой следовала в газете другая, имевшая опять три заглавия:

«Чарли Гомперс был горек».
«Он громил богатство и роскошь».

«Порицал порядки этой страны, а этот город
называл вавилонской блудницей».

«Чарли Гомперс, ораторскому таланту которого нельзя не отдать должной дани удивления, прекрасно использовал данное положение. Едва прибыв на место, в сопровождении прекрасного хора м-ра Ивэнса (Second avenue[29], № 300), и узнав об утреннем происшествии, он начал свою речь блестящей импровизацией, в которой в самых мрачных красках изобразил положение лишенных работы и судьбу, ожидающую, быть может, в близком будущем многих из этих несчастливцев. Вслед за этим он воспользовался контрастами, которые на всяком шагу развертывает этот город, как известно, самый большой и самый богатый в мире. Эта речь Чарли Гомперса, имевшая целью пригласить безработных к петиции на имя городского мэра, а также пропагандировавшая идею рабочих ассоциаций, — вызвала, по-видимому, самые дурные страсти. Правда, англичане и американцы (которых, впрочем, было очень немного), даже большинство ирландцев

[29] Примечания: 29
Второй проспект *(англ.). — Ред.*

и немцы, — остались в порядке. Но наименее цивилизованные элементы толпы — в лице итальянцев, отчасти русских евреев и в особенности какого-то дикого человека неизвестной нации — вспыхнули при этом, как порох от спички».

«Мнение о происшествии сенатора Робинзона»

«Мистер Робинзон, любезно принявший у себя нашего репортера, находит, что в этом происшествии с особенной яркостью выразилась сила законного порядка этой страны. «Сэр, — сказал мистер Робинзон нашему репортеру, — что вы видите в данном случае? Мятежники, побуждаемые опасными демагогами, опрокинули полицию. Преграда между ними и цивилизацией в лице бравого Гопкинса и его товарищей рушилась. И что же — мятежники не находят ничего лучшего, как вернуться самопроизвольно к порядку. Я позволил бы себе, однако, предложить мистеру Гомперсу и в его лице всем подобным ему агитаторам один вопрос, который, надеюсь, поставил бы их в немалое затруднение: *зачем вы, сэр, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу на дело, самый успех которого не можете ни в каком случае обратить в свою пользу?*»

«В следующем номере, — прибавляла ре-

дакция, — мы надеемся дать читателям ответ мистера Гомперса на уничтожающий вопрос почтенного сенатора».

Наутро газета исполнила свое обещание. Она дала, во-первых, портрет мистера Гомперса, а затем подробное изложение беседы его с репортером. При этом мистер Гомперс в изображении репортера рисовался столь же благожелательными красками, как и сенатор Робинзон. «Мистер Гомперс в личной жизни — человек привлекательный и симпатичный, его обращение с репортером было необыкновенно приветливо и любезно, но его отзывы о деле — очень горячи и энергичны. Мистер Гомперс винит во всем несдержанность полиции этого города. Сам он был «в порядке». Правда, как это совершенно справедливо было отмечено нашим репортером, он «был горек» в своей речи. Он этого не отрицает. Но с каких же это пор для американца в этой стране считается обязательным произносить только сладкие речи?! Кому не нравится сравнение этого города с блудницей, тот не должен слушать по воскресеньям проповеди, хотя бы, например, достопочтенного реверенд-Джонса, так как это его любимое сравнение. И, однако, никто не обвиняет за это священников в возбуждении

дурных страстей или в оскорблении страны. Надо думать, что Тамани-ринг, которого, как известно, мистер Робинзон является деятельным членом, еще не в силах ограничить в этой стране свободу слова, завещанную великими творцами ее конституции! (Здесь репортер выражает сожаление, что он не в силах передать ни великолепного жеста, ни возвышенного пафоса, с каким мистер Гомперс произнес последнюю фразу. Он констатирует, однако, что они сделали бы честь первым ораторам страны.) Мистер Гомперс очень сожалеет о том, что случилось, но пострадавшими в этом деле считает себя и своих друзей, так как митинг оказался сорванным и право собраний грубо нарушено в их лице. Как началась свалка, он не видел. Он далек также от мысли заподозревать добросовестность талантливого джентльмена, давшего изображение дикаря. Однако и наружность, и костюм этого дикаря кажутся ему достаточно маскарадными, чтобы быть изобретением полиции. Что касается до обращенного к нему вопроса, то удовлетворить любопытство достопочтенного сенатора гораздо легче, чем осветить некоторые проделки Тамани-ринга. Как уже ясно из предыдущего, он не подстрекал никого к нападению на полицию так же, как не

подстрекал полицейских к слишком усердному употреблению клобов. Но он убежден, что великий вопрос о богатстве и бедности должен быть решен на почве свободы слова и союзов. Что же касается до плодов агитации, то они видны уже и теперь. Два года назад ассоциация рабочих, которой он имеет честь быть председателем, считала ровно вдвое меньшее число членов, чем имеет в настоящее время. Таковы плоды непосредственные. Что же касается дальнейших, то мистер Робинзон, сенатор и крупный фабрикант, может сказать кое-что по этому поводу, так как на его собственной фабрике с прошлого года рабочие часы сокращены без сокращения платы. «И мы с гордостью предвидим, — прибавил мистер Гомперс с неподражаемой иронией, — тот день, когда мистеру Робинзону придется еще поднять плату без увеличения рабочего дня...» Наконец мистер Гомперс сообщил, что он намерен начать процесс перед судьей штата о нарушении неприкосновенности собраний. Как известно, — сказал он, — ученым этой страны до сих пор не удалось выяснить вопроса о национальности загадочного дикаря. Мистер Гомперс не теряет, однако, надежды, что суду это удастся и что директору полиции (которому он отказывает, впрочем, в

должном уважении) уже и теперь известно кое-что по этому поводу».

«Одним словом, — так заканчивалась заметка, — если оставить в стороне некоторые щекотливые вопросы, вызывающие (быть может, и справедливое) осуждение, — мистер Гомперс оказался не только превосходным оратором и тонким политиком, но и очень приятным собеседником, которому нельзя отказать в искреннем пафосе и возвышенном образе мыслей. Сам мистер Гомперс убежден, что он и его единомышленники оказывают истинную услугу стране, внося организацию, порядок, сознательность и надежду в среду, бедствие, отчаяние и справедливое негодование которой легко могли бы сделать ее добычей анархии…»

Несколько дней еще происшествие в Центральном парке не сходило со столбцов нью-йоркских газет. Репортеры обегали весь город, и в редакции являлись разные лица, видевшие в разных местах странных людей, навлекавших подозрение в тожественности с загадочным дикарем. Дикарей в Нью-Йорке оказалось достаточно. Исходя из первого изображения, некоторые более или менее ученые джентльмены высказывали свое мнение о его национальности. Отзывы были

весьма различны, но по мере того как сведения становились многочисленнее и точнее, заключения ученых джентльменов начинали вращаться в круге все более ограниченном. Первый приблизился к истине некто мистер Аткинсон, взявший исходным пунктом «разрушительные тенденции незнакомца и его беспредельную ненависть к цивилизации и культуре». Судя по этим признакам, он причислял его к славянскому племени… К сожалению, пустившись в дальнейшие гипотезы, мистер Аткинсон отнес к славянскому племени также «кавказских черкесов и самоедов, живущих в глубинах снежной Сибири».

Круг около загадочной личности смыкался все более. В заметках, становившихся все более краткими, но зато и более точными, появлялись все новые места и лица, так или иначе прикосновенные к личности «дикаря». Негр Сам, чистильщик сапог в Бродвее, мостовой сторож, подозревавший незнакомца в каком-нибудь покушении на целость Бруклинского моста, кондуктор вагона, в котором Матвей прибыл вечером к Central park'у, другой кондуктор, который подвергал свою жизнь опасности, оставаясь с глазу на глаз с «дикарем» в электрическом вагоне, в пустынных предместьях Бруклина, наконец, старая барыня,

с буклями на висках, к которой таинственный «дикарь» огромного роста и ужасающего вида позвонился однажды с неизвестными, но, очевидно, недобрыми целями, когда она была одна в своем доме… К счастью, престарелая леди успела захлопнуть свою дверь как раз вовремя для спасения своей жизни.

XXV

О другой старой барыне, из дома № 1235, в газетах не упоминалось. Не упоминалось также и об Анне, которая только вздыхала порой при воспоминании о пропавшем без вести Матвее. Человек канул, точно в воду, а сама она попала, как лодка, в тихую заводь. Каждый день, когда муж и жильцы старой барыни уходили, — она, точно невидимая фея, являлась в оставленные комнаты, убирала постели, подметала полы, а раз в неделю перетирала стекла и чистила газовые рожки. Каждый день выносила сор на улицу в корзину, откуда его убирали городские мусорщики, и готовила обед для господ и для двух джентльменов, обедавших с ними. Два раза в месяц она ходила в церковь вместе с барыней… Вообще все для нее в этом уголке было так, как на родине. Все было как на родине в такой степени,

что девушке становилось до боли грустно: зачем же она ехала сюда, зачем мечтала, надеялась и ждала, зачем встретилась с этим высоким человеком, задумчивым и странным, который говорил: «Моя доля будет и твоя доля, малютка». Молодой Джон и Дыма не являлись. Жизнь ее истекала скучными днями, как две капли воды похожими друг на друга… Она нашла здесь родину, ту самую, о которой так вздыхал Лозинский, — и не раз она горько плакала об этом по ночам в своей кухоньке, в подвальном этаже, низком и тесном… И не раз ей хотелось вернуться к той минуте, когда она послушалась Матвея, вместо того чтобы послушать молодую еврейку… Вернуться и начать жить здесь по-иному, искать иной доли, может быть, дурной, да иной…

Однажды почталион, к ее великому удивлению, подал ей письмо. На конверте совершенно точно стоял ее адрес, написанный по-английски, а наверху печатный штемпель: «Соединенное общество лиц, занятых домашними услугами». Не понимая по-английски, она обратилась к старой барыне с просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмотрела на нее и сказала:

— Поздравляю! Ты уже заводишь шашни с этими бунтовщиками!

— Я ничего не знаю, — ответила Анна.

В письме был только печатный бланк с приглашением поступить в члены общества. Сообщался адрес и размер членского взноса. Цифра этого взноса поразила Анну, когда барыня иронически перевела приглашение… Однако девушка спрятала письмо и порой вынимала его по вечерам и смотрела с задумчивым удивлением: кто же это мог заметить ее в этой стране и так правильно написать на конверте ее имя и фамилию?

Это было вскоре после ее поступления на службу. А еще через несколько дней старая барыня с суровым видом сообщила ей новость:

— Хорошие дела, нечего сказать, наделал этот твой… Матвей, что ли! — сказала она. — Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным и смирным.

— Что такое? — спросила Анна с тревогой.

— Убил полицейского, ни более ни менее.

— Не может быть! — вскрикнула девушка невольно.

Старая барыня показала ей кучку газет, которые принес ей муж, когда уже личность Матвея стала выясняться. В фантастическом изображении трудно было признать добродушную фигуру лозищанина, хотя все же сохранились некоторые

черты и оклад бороды. Затем в следующих номерах был приведен портрет Дымы, на этот раз в свите и бараньей шапке — как соотечественника исчезнувшей знаменитости. Старая барыня, надев очки, целый день читала газеты, сообщая от времени до времени вычитанные сведения и Анне. Сама она была искренно удивлена, узнав, что Матвей попал на митинг и оказался предводителем банды итальянцев, опрокинувших полицию и побуждавших толпу безработных ограбить ближайшие магазины.

— А ведь каким казался почтительным и тихим, — сказала барыня в раздумье, вспоминая покорную фигуру Матвея, его кроткие глаза и убежденное поддакивание на все ее мнения. — Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась даже на Анну, готовая видеть в ней сообщницу страшного человека, но открытый взгляд девушки рассеял ее опасение.

— Он очень вспыльчив, — сказала Анна грустно, вспоминая страшную минуту во время столкновения с Падди. — И… и… знаете что… Как это там написано: потянулся губами к руке… Ведь это он… прошу вас… хотел, верно, поцеловать у него руку…

— Хотел поцеловать?.. и убил?.. Что-то все это странно, — сказала барыня. — Во всяком случае, если его поймают, то непременно повесят… Видишь, до чего здесь доводят эти… общества разные… Я бы этих Гомперсов!.. Смотри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети…

Анна видела, что барыня говорит совершенно искренно, а происшествие с Матвеем придавало ее словам еще большее значение. Однако, когда в отсутствие барыни опять пришло письмо на ее имя с тем же штемпелем — она обратилась за прочтением не к ней, а к одному из жильцов. Это был человек молчаливый и суровый, не участвовавший в карточных вечерах у хозяев и не сказавший никогда с Анной лишнего слова. Он все сидел в своей комнате, целые дни писал что-то и делал какие-то выкладки. В доме говорили, что он считает себя изобретателем. Почему-то Анна питала к суровому человеку безотчетное доверие и уважение.

Он взял из ее рук письмо и добросовестно перевел слово в слово. Содержание письма очень удивило Анну: в нем писали, что комитету общества стало известно, что мисс Анна служит на таких условиях, которые, во-первых, унизительны для человеческого достоинства своей

неопределенностью, а во-вторых, понижают общий уровень вознаграждения. Десять долларов в месяц и один свободный день в неделю — это минимальные требования, принятые в одном из собраний «соединенного общества лиц, занятых домашними услугами». Ввиду этого ей опять предлагают поступить в члены общества и предъявить повышенные требования своей хозяйке, иначе ее сотоварищи вынуждены будут считать ее «врагом своего класса».

Анна выслушала с испугом это странное обращение.

— Что же мне будет? — спросила она, глядя на чтеца совсем округлившимися глазами и не понимая хорошенько, кто это пишет и по какому праву.

— Ну, я в эти дела не мешаюсь, — ответил сурово молчаливый жилец и опять повернулся к своим бумагам. Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо миловидной девушки, растерявшейся и беспомощной, и он опять с неудовольствием повернулся, подымая привычным движением свои очки на лоб.

— Ты еще здесь? — сказал он, глядя в упор на Анну своими близорукими глазами, устремленными как бы в пространство или видевшими

что-то за ней. — Странно: твое лицо мне мешает… Ты спрашивала мое мнение?.. Ну так вот: по моему мнению, все это глупости! Когда-то и я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Понимаешь: наука! Вопрос решается не на улице, а в кабинете ученого… Вот здесь (он положил руку на бумаги) решение всех этих вопросов. Скоро все узнают… и ты в том числе. Ну а пока — иди с богом. Твое лицо мне мешает… А мое дело и для тебя важнее всей этой сутолоки.

И он опять наклонился над чертежами и выкладками, махая Анне левой рукой, чтобы она уходила. Анна пошла в кухню, думая о том, что все-таки не все здесь похоже на наше и что она никогда еще не видела такого странного господина, который бы так торжественно произносил такие непонятные слова.

Она захотела посоветоваться еще с Дымой и Розой. В церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, когда барыня осталась дома и она одна пошла в церковь, девушка забежала в знакомую квартиру. Розы и Джона не было, а Борк был очень занят. От него она узнала только, что Дыма уехал, так как письмо его наконец дошло, и

Лозинские его увезли в Миннесоту. Это было для него очень кстати, так как приятели ирландцы разбрелись, Тамани-холл не нуждался более в его голосе, а работы все не находилось… Временная знаменитость и появление его портрета в газетах — плохо утешали Дыму в потере приятеля. Впрочем, в это время публика перестала уже интересоваться инцидентом в Центральном парке, в особенности после того, как оказалось вдобавок, что и здоровье мистера Гопкинса, вовсе не убитого, приведено в надлежащее состояние.

История «дикаря» отступала все далее и далее на четвертую, пятую, шестую страницы, а на первых, за отсутствием других предметов сенсации, красовались через несколько дней портреты мисс Лиззи и мистера Фрэда, двух еще совсем молодых особ, которые, обвенчавшись самовольно в Балтиморе, устроили своим родителям, известным миллионерам города Нью-Йорка, неожиданный сюрприз. И веселая, кудрявая головка мисс Лиззи, с лукавыми черными глазками, глядела на читателя с того самого места и даже нарисованная тем самым карандашом, который изображал недавно нашего земляка.

Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране и как это бывает ненадолго…

И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, опять потонувшего без следа в людском океане…

XXVI

А сам виновник волнения публики в день знаменитого митинга под вечер ехал в экстренном поезде на Детройт, на Бэффало, на Ниагару и на Чикаго…

Как он попал в этот поезд, он помнил потом очень смутно. Когда толпа остановилась, когда он понял, что более уже ничего не будет, да и быть более уже нечему, кроме самого плохого, когда, наконец, он увидел Гопкинса лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он остановился, дико озираясь вокруг и чувствуя, что его в этом городе настигнет наконец настоящая погибель. С этой минуты он стал опять точно беспомощный ребенок и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлек за собой.

Через площадь они пробежали вместе с другими, потом вбежали в переулок, потом спустились в какой-то подвал, где было еще с десяток бег-

лецов, частью мрачных, частью, по-видимому, довольных сегодняшним днем. Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и в том числе долговязый спаситель Матвея. Это был тот самый молодой человек, который утром, перед митингом, хлопал Матвея по плечу и щупал его мускулы. Веселому малому, кажется, очень понравилась манера обращения Матвея с полицией. Он и несколько его товарищей кинулись вслед за Матвеем, расчистившим дорогу, но затем, когда толпа остановилась, не зная, что делать дальше, — он сообразил, что теперь остается только скрыться, так как дело принимало оборот очень серьезный. И он счел своей обязанностью позаботиться также о странном незнакомце.

Из переулка Матвея ввели в какое-то помещение, длинное, узкое и довольно темное. Здесь столпилось десятка два человек, разных национальностей, которые, чувствуя себя в безопасности, обсуждали события дня. Они горячо спорили при этом: одни находили, что митинг сорван напрасно, другие доказывали, что, наоборот, все вышло хорошо и факт прямого столкновения с полицией произведет впечатление даже сильнее слишком умеренных речей Гомперса. Все это привело наконец споривших к вопросу: что же

им делать с странным незнакомцем?

Они приступили к Матвею с расспросами на разных языках, но он только глядел на них своими синими глазами, в которых виднелась щемящая тоска, и повторял: «Миннесота… Дыма… Лозинский…»

Наконец долговязый юноша пришел к заключению, что не остается ничего другого, как переодеть Матвея и отправить его по железной дороге в Миннесоту. Достали одежду, которая сразу затрещала по швам, когда ее напялили на Матвея, а затем привели парикмахера из членов того же общества. Сначала Матвей оказал было сопротивление, но когда молодой верзила очень красноречивым жестом показал на шею, как бы охватывая ее петлей, — Матвей понял и покорно отдался своей судьбе. Через десять минут в небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое лицо, с подстриженными усами и небольшой лопаткой вместо бороды.

Молодой человек похлопал его по плечу. Лозищанин понял, что эти люди заботятся о нем, хотя его удивляло, что этот беспечный народ относился к его печальному положению с каким-то непонятным весельем. Как бы то ни было, под вечер, совершенно преображенный, он покорно

последовал за молодыми людьми на станцию железной дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали, сколько было нужно, остальное (не очень много) отдали ему вместе с билетом, который продели за ленту шляпы. Перед самым отходом поезда долговязый принес еще две бутылки сидра, большой белый хлеб и несколько фруктов. Все это было уложено в корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, который крепко обнял своего благодетеля.

— Ты мне все равно как родной, — сказал Матвей. — Никогда тебя не забуду… — Долговязый похлопал его по плечу, и вся компания, весело кивая и смеясь, проводила взглядами поезд, который понес Матвея по туннелям, по улицам, по насыпям и кое-где, кажется, по крышам, все время звоня мерно и печально. Некоторое время в окнах вагона еще мелькали дома проклятого города, потом засинела у самой насыпи вода, потом потянулись зеленые горы, с дачами среди деревьев, кудрявые острова на большой реке, синее небо, облака… потом большая луна, как вчера на взморье — всплыла и повисла в голубоватой мгле над речною гладью…

Корзина с провизией склонилась в руках ослабевшего человека, сидевшего в углу вагона, и

груши из нее посыпались на пол. Ближайший сосед поднял их, тихо взял корзину из рук спящего и поставил ее рядом с ним. Потом вошел кондуктор, не будя Матвея, вынул билет из-за ленты его шляпы и на место билета положил туда же белую картонную марку с номером. Огромный человек крепко спал сидя, и на лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводило, точно от испуга…

А поезд летел, и звон, мерный, печальный, оглашал то спящие ущелья, то долины, то улицы небольших городов, то станции, где рельсы скрещивались, как паутина, где, шумя, как ветер в непогоду, пролетали такие же поезда, по всем направлениям, с таким же звоном, ровным и печальным.

XXVII

Впоследствии Матвею случалось ездить тою же дорогой, но впоследствии все в Америке казалось ему уже другим, чем в эти печальные дни, когда поезд мчал его от Нью-Йорка, а куда — неизвестно. Он проспал чудные берега Гудзона и проснулся на время лишь в Сиракузах, где в окнах засветилось что-то снаружи зловещим красным светом. Это были громадные литейные заводы.

Расплавленный чугун огненным озером лежал на земле, кругом стояли черные здания, черные люди бродили, как нечистые духи, черный дым уходил в темное мглистое небо, и колокола паровозов все звонили среди ночи, однообразно и тревожно… Затем Бэффало, весь тоже во мгле и дыму. Потом, уже на заре, в вагоне застучали отодвигаемые окна; повеяло утренней свежестью, американцы высунулись в окна, глядя куда-то с видимым любопытством.

— Найагара, Найагара-фолл, — сказал кондуктор, торопливо проходя вдоль поезда, и тронул лозищанина за рукав, с удивлением глядя на человека, который один сидит в своем углу и не смотрит Ниагару.

Матвей поднялся и заглянул в окно. Было еще темно, поезд как-то робко вползал на мост, висевший над клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мост вздрагивал и напрягался под тяжестью, как туго натянутая струна, а другой такой же мост, кинутый с берега на берег, на страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквозившей во мгле. Внизу шумело пенистое течение реки, на скалах дремали здания городка, а под ними из камней струилась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше пена

реки сливалась с беловатым туманом, который клубился и волновался, точно в гигантском котле, закрывая зрелище самого водопада. Только глухой шум, неустанный, ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя трепетом и дрожанием сырой воздух мглистой ночи. Будто в тумане ворочалось и клокотало что-то огромное и глухо стонало, жалуясь, что нет ему покоя от века до века…

Поезд продолжал боязливо ползти над бездной, мост все напрягался и вздрагивал, туман клубился, как дым огромного пожара, и, подымаясь к небу, сливался там с грядой дальних облаков. Потом вагон пошел спокойнее, под колесами зазвучала твердая земля, поезд сошел с моста и потянулся, прибавляя ход, вдоль берега. Тогда стало вдруг светлее, из-за облака, которое стояло над всем пространством огромного водопада, приглушая его грохот, выглянула луна, и водопад оставался сзади, а над водопадом все стояла мглистая туча, соединявшая небо и землю… Казалось, какое-то летучее чудовище припало в этом месте к реке и впилось в нее среди ночи, и ворчит, и роется, и клокочет…

Детройт остался у Матвея в памяти только тем, что железная дорога как будто вся целиком

отделилась от земли и вместе с рельсами и поездом поплыла по воде. Это было уже следующей ночью, и на другом берегу реки, на огромном расстоянии разлегся город и тихо пламенел и сверкал синими, белыми, желтыми огнями. Потом поезд пронесся утром мимо Чикаго. На правой стороне чуть не в самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана — огромного, как море, и пароход, шедший прямо к берегу, выплывал из-за водного горизонта, большой и странный, точно он взбирался на водяную гору… Еще несколько часов вдоль берега, потом Мильвоки — и дорога отклонилась к западу…

Города становились меньше и проще, пошли леса и речки, потянулись поля и плантации кукурузы… И по мере того как местность изменялась, как в окна врывался вольный ветер полей и лесов, — Матвей подходил к окнам все чаще, все внимательнее присматривался к этой стране, развертывавшей перед ним, торопливо и мимолетно, мирные картины знакомой лозищанину жизни.

И вместе с тем, понемногу и незаметно, застывшая во вражде душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять. В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна,

провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что` он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем.

Но поезд все звонил и летел, сменяя картину за картиной. Грустные дни чередовались с еще более грустными ночами. И по мере того как природа становилась доступнее, понятнее и проще, по мере того как душа лозищанина все более оттаивала и смягчалась, раскрываясь навстречу спокойной красоте мирной и понятной ему жизни; по мере того как в нем, на месте тупой вражды, вставало сначала любопытство, а потом удивление и тихое смирение, — по мере всего этого и наряду со всем этим его тоска становилась все острее и глубже. Теперь он чувствовал, что и ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от ее людей, от ее города, если б он оказал более внимания к ее языку и обычаю, если бы он не осудил в ней сразу,

заодно, и дурное, и хорошее... А теперь между ним и этой жизнью встало бродяжество и даже, может быть, — преступление...

И люди, хотя часто походили с виду на Падди, начинали все-таки представляться лозищанину в другом свете. Пока он ехал, переходя с поезда на поезд, — не раз сменилась и публика, и кондукторская бригада. Но сменявшиеся пассажиры обращали внимание новых на огромного человека, чувствовавшего себя как будто неловко в своей одежде, робкого, застенчивого и беспомощного, как ребенок. Никто его не тревожил, никто не надоедал никакими расспросами, но каждый раз, как приходилось менять вагон или пересаживаться на другой поезд, к Матвею подходил или кондуктор, или кто-нибудь из соседей, брал его за руку и вел за собою на новое место. Большой человек покорно следовал в таких случаях за ними и глядел на провожавшего застенчивыми, но благодарными глазами.

Кроме того, здесь, в глубине страны, люди не казались уже до такой степени похожими друг на друга, как в том огромном городе, где Матвей испытал столько горестных приключений. В поезд то и дело садились рослые фермеры, загорелые, широкоплечие, в широких сюртуках и с борода-

ми, которые могли бы и на них навлечь остроты нью-йоркских уличных бездельников. Порой суровый квакер в застегнутом до шеи сюртуке, порой степной торговец скотом или охотник из Канады в живописном кожаном костюме, увешанном бахромой и кистями, — выделялись среди остальной публики, привлекая невольное внимание. А один раз у костра сидела в ожидании своего поезда группа бронзовых индейцев, возвращавшихся из Вашингтона, завернувшихся в свои одеяла и равнодушно куривших трубки под взглядами любопытной толпы, высыпавшей на это зрелище из поезда…

На одной станции у небольшого города, здания которого виднелись над рекой, под лесом, в вагон, где сидел Матвей, вошел новый пассажир. Это был старик с худощавым лицом, сильно впавшими щеками, тонкими губами и острым проницательным взглядом. Человек вида странного, пожалуй даже смешного, тем более что одет он был совсем оборванцем, а между тем держал себя уверенно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, черная, — теперь стала серой от солнца, едкой белой пыли и многочисленных ржавых пятен. Его штаны были коротки, точно надеты с ребенка, и сапоги порыжели еще более,

чем у Матвея, у которого они хранили все-таки следы щеток негра Сама на Бродвее. Но на голове незнакомца был надет новенький лоснящийся цилиндр, а во рту торчала большая сигара, наполнявшая вагон тонким ароматом. Матвей удивлялся уже ранее, что здесь, по-видимому, нет особых вагонов для простого народа, а теперь подумал, что такого молодца в таких штанах, да еще с сигарой — едва ли потерпят рядом с собой остальные пассажиры, несмотря даже на его новый цилиндр, как будто украденный. Но, к его удивлению, старика почтительно провожали со станции какой-то господин, очень щеголеватый, и кузнец, видимо только что отошедший от горна. Оба они пожимали ему руки на платформе, а когда он вошел в вагон, ближайший молодой человек, тоже одетый весьма старательно, приветливо посторонился, очищая место возле себя… Старик кивнул головой, вынул сигару, сплюнул и протянул молодому человеку руку в щегольской перчатке.

Между тем поезд опять мчался дальше. Теплый вечер спускался на поля, на леса, на равнины, закутывая все легким сумраком, который становился все синее и гуще. Мерное позванивание локомотива оглашало леса, молчаливо лежавшие

по обе стороны дороги. И всякий раз при этом где-нибудь на полянке мелькал огонь, порой горел костер, вокруг которого расположились дровосеки, порой светились окна домов… В одном месте семья садилась за ужин на открытом воздухе. В отворенных настежь дверях стояла женщина с ребенком, и даже пламя свечей не колебалось в тихом лесном затишье.

Матвей глядел на все это с смешанным чувством: чем-то родственным веяло на него от этого простора, где как будто еще только закипала первая борьба человека с природой, и ему становилось грустно: так же вот где-нибудь живут теперь Осип и Катерина, а он… что будет с ним в неведомом месте после всего, что он наделал?

Ему стало так горько, что он решил лучше заснуть… И вскоре он действительно спал, сидя и закинув голову назад. А по лицу его, при свете электрического фонаря, проходили тени грустных снов, губы подергивались, и брови сдвигались, как будто от внутренней боли…

XXVIII

Сон не всегда приходит к нам вовремя. Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончи-

лись бы благополучно и скоро.

Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции. Невдалеке от вокзала, среди вырубки, виднелись здания из свежесрубленного леса. На платформе царствовало необычайное оживление: выгружали земледельческие машины и камень, слышалась беготня и громкие крики на странном горловом жаргоне. Пассажиры-американцы с любопытством выглядывали в окна, находя, по-видимому, что эти люди суетятся гораздо больше, чем бы следовало при данных обстоятельствах.

— Простите, сэр, — спросил пассажир, ехавший в поезде из Мильвоки, — что это за народ?

— Русские евреи, — ответил спрошенный. — Они основали колонию около Дэбльтоуна…

В это время у открытой боковой двери вагона остановились две фигуры и послышались звуки русской речи.

— Слушай, Евгений, — говорил один высоким тенором, с легким гортанным акцентом. — Еще раз: оставайся с нами.

— Нет, не могу, — ответил другой грудным баритоном. — Тянет, понимаешь… Эти последние известия…

— Такая же иллюзия, как и прежде!.. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего, хорошего, живого дела: дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт…

— Все это так, и при других условиях… Повторяю тебе: тянет. А что касается фантазий, то… во-первых, Самуил, только в этих фантазиях и жизнь… будущего! А во-вторых, ты сам со своим делом…

— All right (готово)! — крикнул кто-то на платформе.

— Please in the cars (прошу в вагоны)! — раздались приглашения кондукторов. Два приятеля крепко обнялись, и один из них вскочил в вагон уже на ходу.

Это был высокий, молодой еще человек, с неправильными, но выразительными чертами лица, в запыленной одежде и обуви, как будто ему пришлось в этот день много ходить пешком. Он положил небольшой узелок на полку, над головой Матвея, — и затем его взгляд упал на лицо спящего. В это время Матвей, быть может под влиянием этого взгляда, раскрыл глаза, сонные и печальные. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Но затем голова Матвея опять откинулась назад и из его широкой груди вырвался

глубокий вздох… Он опять спал.

Пришелец еще несколько секунд смотрел в это лицо… Несмотря на то, что Матвей был теперь переодет и гладко выбрит, что на нем был американский пиджак и шляпа, — было все-таки что-то в этой фигуре, пробуждавшее воспоминания о далекой родине. Молодому человеку вдруг вспомнилась равнина, покрытая глубоким мягким снегом, звон колокольчика, высокий бор по сторонам дороги и люди с такими же глазами, торопливо сворачивающие свои сани перед скачущей тройкой…

Может быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь в этом роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице виднелось выражение покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдал серый господин в цилиндре своими рысьими глазками, в которых светилось странное выражение — какого-то насмешливого доброжелательства.

— How do you do (здравствуйте), mister Nilof, — окликнул он, видя, что русский его не замечает. Тот вздрогнул и живо повернулся.

— А! Здравствуйте, судья Дикинсон, — ответил он на чистом английском языке, протягивая су-

дье руку. — Простите, я вас не заметил.

— О, это ничего. Вы заинтересовались этим пассажиром?.. Меня он тоже интересует… Он едет, по-видимому, издалека.

— Из Мильвоки, — сказал один из пассажиров.

— О нет, — вмешался другой. — Я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Он, кажется, сел в Чикаго, а может быть, и в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски и беспомощен, как ребенок.

— Очевидно, иностранец, — сказал судья Дикинсон, меряя спящего Матвея испытующим, внимательным взглядом. — Атлетическое сложение!.. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков? Как их дела? Я видел: они выписали хорошие машины: лучшая марка в Америке.

— Да… теперь им еще трудно. Но они надеются.

— Читали вы извлечение из отчетов эмиграционного комитета?.. Цифра переселенцев из России растет.

— Да, — кратко ответил Нилов.

— А кстати: в том же номере «Дэбльтоунского курьера» есть продолжение истории нью-йоркского дикаря. И знаете: оказывается, что он тоже русский.

— В таком случае, сэр, он не дикарь, — сказал Нилов сухо.

— Гм… да… Извините, мистер Нилов… Я, конечно, не говорю о культурной части нации. Но… до известной степени все-таки… человек, который кусается…

— Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.

— Однако… его поступок с полисменом Гопкинсом?

— Полисмен Гопкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове клобом… Считаете вы его дикарем?

Серый джентльмен засмеялся и сказал:

— О! Но это немного другое дело… Полицейские этой страны снабжаются клобами для известного употребления… И раз иностранец нарушает порядок…

— Мне очень жаль это слышать от судьи, — сказал Нилов холодно.

Серый джентльмен несколько выпрямился, видимо, задетый, и сказал:

— Судью Дикинсона еще никто не упрекал за опрометчивые суждения… в его камере. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах… Я вас обидел чем-нибудь, мистер Нилов?

— Вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю оскорбительной нелепостью газетные толки о том, что они кусаются. Вполне ли вы уверены, что ваши полицейские не злоупотребляют клобами без причины?

Серый господин вынул изо рта сигару и некоторое время смотрел на собеседника, как будто удивленный неожиданным оборотом разговора.

— Гм… да, — сказал он. — Если взглянуть на дело с этой точки зрения… По совести, я в этом далеко не уверен… И поступи это дело ко мне, я потребовал бы разъяснения… По-видимому, у вас есть идея всего события?

— Да, у меня есть идея события… Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно… И случайно встретился с Гопкинсом.

— Ну, а зачем он наклонился и старался схватить его… гм… одним словом… как это изложено в газетах?

— Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился… К сожалению, сэр, на моей родине люди действительно кланяются иногда слишком низко…

— Вы думаете? Ха! Это кажется невероятным. Намерение укусить и именно за руку… Это по

меньшей мере требовало бы доказательств…

— А если на приветствие последовал хороший удар по голове…

— Ха-ха! Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти! Положительно, я считаю дело почти выясненным. Вы были бы отличным адвокатом. О да! Вы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города!.. И если вы все-таки предпочитаете работать на моей лесопилке…

Он стряхнул пепел с своей сигары и впился в лицо Нилова своими живыми, острыми глазками. Затем, оглянувшись на других пассажиров и желая придать разговору больше интимности, он пересел на скамью рядом с Ниловым, положил ему руку на колено и сказал, понизив голос:

— Извините меня, мистер Нилов… Дик Дикинсон — человек любопытный. Позволите вы мне предложить вам несколько вопросов, так сказать… личного свойства?

— Сделайте одолжение. Если они будут неудобны, я не отвечу.

— О конечно, конечно! — засмеялся Дикинсон. — Видите ли: вы третий русский джентльмен, которого я встречаю… Скажите — много американцев видели вы у себя на родине?

— Встречал, хотя… очень немного.

— И, наверное, они меняли свое среднее положение на лучшие условия у вас?..

— Пожалуй…

— Скажите теперь… Может быть, я ошибаюсь, но… Мне кажется… вы лично не поступили ли наоборот?.. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать лучшую карьеру…

Нилов бросил взгляд на невероятный костюм старого джентльмена и ответил, улыбнувшись:

— Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм!

— О, это немного другое дело, — ответил Дикинсон. — Да, я *был* каменщиком. И я поклялся надевать доспехи каменщика во всех торжественных случаях… Сегодня я был на открытии банка в N… Я был приглашен учредителями. А кто приглашает Дика Дикинсона, тот приглашает и его старую рабочую куртку. Им это было известно.

— Я очень уважаю эту черту, сэр, — сказал серьезно Нилов. — Но…

— Но, повторяю, это другое дело. Я надеваю старое рабочее платье и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем стал, то есть чем именно я обязан моим старым доспехам. Это — мое прошлое и мое настоящее…

Он замолк, пожевал сигару своими тонкими ироническими губами и, пристально глядя на молодого человека, прибавил:

— Вы, кажется, идете обратным путем, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.

— Надеюсь, что нет, — ответил Нилов. — Однако кажется, поезд останавливается. Это — лесопилка, и я здесь сойду. До свидания, сэр!

— До свидания. Я оставляю еще за собой свои вопросы…

Нилов, снимая свой узел, еще раз пристально и как будто в нерешимости посмотрел на Матвея, но, заметив острый взгляд Дикинсона, взял узел и попрощался с судьей. В эту самую минуту Матвей открыл глаза, и они с удивлением остановились на Нилове, стоявшем к нему в профиль. На лице проснувшегося проступило как будто изумление. Но, пока он протирал глаза, поезд, как всегда в Америке, резко остановился, и Нилов вышел на платформу. Через минуту поезд несся дальше.

Дикинсон пересел на свое место, и американцы стали говорить об ушедшем.

— Да, — сказал судья, — это третий русский джентльмен, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять…

— Быть может… из секты Лео Толстого, — пред-

положил один из собеседников.

— Не знаю… Но он, видимо, получил прекрасное образование, — продолжал Дикинсон задумчиво. — И уже несколько раз, на моих глазах, пропускает прекрасные шансы… Когда я исполнил свой первый небольшой подряд, мистер Дэглас, инженер, сказал мне: «Я вами доволен, Дик Дикинсон. Скажите мне, в чем ваша амбиция». Я усмехнулся и сказал: «Для первого случая, я не прочь попасть в президенты». Мистер Дэглас засмеялся тоже и ответил: «Верно, Дик! Не могу поручиться, что вы станете президентом, но вы построите целый город и станете в нем головой…»

— И это оправдалось, — сказал почтительно самый юный из пассажиров.

— Да, — продолжал Дикинсон. — Понять человека — значит узнать, чего он добивается. Когда я заметил этого русского джентльмена, работавшего на моей лесопилке, я тоже спросил у него: «What is your ambition?» И знаете, что он мне ответил? «Я надеюсь, что приготовлю вам фанеры не хуже любого из ваших рабочих…»

— Да, все это странно, — сказал один из собеседников.

Между тем Матвей, который опять задремал в

поезде после ухода Нилова, — вздрогнул и забормотал во сне.

— Вот тоже человек, которого трудно понять, — засмеялся один из американцев.

— Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.

Судья Дикинсон внимательно посмотрел на Матвея и потом сказал:

— Я готов биться об заклад: на душе этого человека… неспокойно. Я не знаю, куда он едет, но предпочел бы, чтобы он миновал наш город. О! у меня на этот счет верный глаз…

XXIX

Звон раздавался чаще, поезд замедлял ход, кондуктор вошел в вагон и отобрал билеты у серого старика и у его молодого соседа. Потом он подошел к спавшему Матвею и, тронув его за рукав, сказал:

— Дэбльтоун, Дэбльтоун, сэр…

Матвей проснулся, раскрыл глаза, понял и вздрогнул всем телом. Дэбльтоун! Он слышал это слово каждый раз, как новый кондуктор брал билет из-за его шляпы, и каждый раз это слово будило в нем неприятное ощущение. Дэбльтоун, поезд замедлил ход, берут билет, значит, конец

пути, значит, придется выйти из вагона… А что же дальше, что его ждет в этом Дэбльтоуне, куда ему взяли билет, потому что до этого места хватило денег…

В окнах вагона замелькали снаружи огни, точно бриллиантовые булавки, воткнутые в темноту гор и лесов. Потом эти огни сбежали далеко вниз, отразились в каком-то клочке воды, потом совсем исчезли, и мимо окна, шипя и гудя, пробежала гранитная скала так близко, что на ней ясно отражался желтый свет из окон вагона… Затем под поездом загудел мост, опять появились далекие огни над рекой, но теперь они взбирались все выше, подбегали все ближе, заглядывая в вагон вплотную и быстро исчезая назади. На паровозе звонили без перерыва, потому что поезд, едва замедливший ход, мчался теперь по главной улице города Дэбльтоуна…

— Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул? — спросил молодой человек, очевидно, заискивавший у судьи Дикинсона.

— Я все видел, — ответил старик. — Дик Дикинсон примет свои меры.

Через минуту двери домов в Дэбльтоуне раскрывались, и жители выходили на встречу своих приезжих. Вагон опустел. Молодой человек еще

долго кланялся мистеру Дикинсону и напоминал о поклоне мисс Люси. Потом он отправился в город и посеял там некоторое беспокойство и тревогу.

Город Дэбльтоун был молодой город молодого штата. Прошло не более восьми лет с тех пор, как были распланированы его улицы у линии новой железной дороги, и с тех пор городок жил тихою жизнью американского захолустья. Совершенно понятно, что среди однотонной рабочей жизни город Дэбльтоун жадно поглотил известие, что с последним поездом прибыл человек, который не сказал никому ни слова, который вздрагивал от прикосновения, который, наконец, возбудил сильные подозрения в судье Дикинсоне, самом эксцентричном, но и самом уважаемом человеке Дэбльтоуна.

Сойдя с поезда, судья Дикинсон тотчас же подозвал единственного дэбльтоунского полисмена и, указав на фигуру Матвея, нерешительно стоявшего на залитой электрическим светом платформе, сказал:

— Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерения этого молодца. Боюсь, что нам не придется узнать ничего особенно хорошего.

Полисмен Джон Келли отошел и скрылся под тенью какого-то сарая, гордясь тем, что, наконец, и ему выпало на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручение…

Однако Джону Келли скоро стало казаться, что у незнакомца не было никаких намерений. Он просто вышел на платформу, без всякого багажа, только с корзиной в руке, даже, по-видимому, без всякого плана действий и тупо смотрел, как удаляется поезд. Раздался звон, зашипели колеса, поезд пролетел по улице, мелькнул в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте, и только еще красный фонарик сзади несколько времени посылал прощальный привет из глубины ночи…

Лозищанин вздохнул, оглянулся и сел на скамью, под забором, около опустевшего вокзала. Луна поднялась на середину неба, фигура полисмена Джона Келли стала выступать из сократившейся тени, а незнакомец все сидел, ничем не обнаруживая своих намерений по отношению к засыпавшему городу Дэбльтоуну.

Тогда Джон Келли вышел из засады и, согласно уговору, постучался в окно к судье Дикинсону.

Судья Дикинсон высунул голову с выражением человека, который знал вперед все то, что ему

пришли теперь сообщить.

— Ну что, Джон? Куда направился этот молодец?

— Он никуда не отправился, сэр. Он все сидит на том же месте.

— Он все сидит… Хорошо. Обнаружил он чем-нибудь свои намерения?

— Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.

— У всякого человека есть намерения, Джон, — сказал Дикинсон с улыбкой сожаления к наивности дэбльтоунского стража. — Поверьте мне, у всякого человека непременно есть какие-нибудь намерения. Если я, например, иду в булочную — значит, я намерен купить белого хлеба, это ясно, Джон. Если я ложусь в постель — очевидно, я намерен заснуть. Не так ли?

— Совершенно справедливо, сэр.

— Ну а если бы… (тут лицо старого джентльмена приняло лукавое выражение), если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери… Понимаете вы меня, Джон?

— Как нельзя лучше, сэр… Однако… Если человек только сидит на скамье и вздыхает…

— Уэлл! Это, конечно, не так определенно. Он

имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите только, не станет ли он делать чего-нибудь похуже. Дэбльтоун полагается на вашу бдительность, сэр! Не пойдет ли незнакомец к реке, нет ли у него сообщников на барках, не ждет ли он случая, чтобы ограбить железнодорожный поезд, как это было недавно около Мадисона… Постойте еще, Джон.

Дик Дикинсон прислушался: к станции подходил поезд. Судья посмотрел на Джона своими острыми глазками и сказал:

— Джон!

— Слушаю, сэр!

— Я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность и достиг этого. Он, вероятно, сделал свое дело и теперь готовится сесть в поезд. Поспешите.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джон Келли бегом отправился на вокзал. Человек без намерений все сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Джон Келли стал искать тени, подлиннее и погуще, чтобы пристроить к ней свою долговязую фигуру. Так как это не удавалось, то Келли решил, что ему необходимо присесть у стены склада. А затем голова Джона Келли сама собой прислонилась к стене, и он сладко заснул. Судья

Дикинсон подождал еще некоторое время, но, видя, что полисмен не возвращается, решил, что человек без намерений оказался на месте. Он хотел уже тушить свою лампу, когда ему доложили, что с поезда явился к нему человек по экстренному делу.

Действительно, в его комнату вошел торопливой походкой человек довольно неопределенного вида, в котором, однако, опытный глаз судьи различил некоторые специфические черты детектива (сыщика).

— Вы здешний судья? — спросил незнакомец, поклонившись.

— Судья города Дэбльтоуна, — ответил Дикинсон важно.

— Мне необходим приказ об аресте, сэр.

— А! Я так и думал… Человек высокого роста, атлетического сложения?.. Прибыл с предыдущим поездом?..

Сыщик посмотрел с удивлением на проницательного судью и сказал:

— Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь?..

Судья Дикинсон быстро взглянул на сыщика и сказал:

— Ваши полномочия?

Новоприбывший потупился.

— Я так спешно отправился по следам, что не успел запастись специальными приказами. Но история так известна… Дикарь, убивший Гопкинса…

— По последним телеграммам, — сказал холодно судья, — здоровье полисмена Гопкинса находится в отличном состоянии. Я спрашиваю ваши полномочия?

— Я уже сказал вам, сэр… Дело очень важно, и притом — он иностранец.

— Иначе сказать — вы часто облегчаете себе задачу с иностранцами. Я не дам приказа.

— Но, сэр… это опасный субъект.

— Полиция города Дэбльтоуна исполнит свой долг, сэр, — сказал судья Дикинсон надменно. — Я не допущу, чтобы впоследствии писали в газетах, что в городе Дэбльтоуне арестовали человека без достаточных оснований.

Незнакомец вышел, пожав плечами, и отправился прежде всего на телеграф, а судья Дикинсон лег спать, совершенно уверенный, что теперь у полиции города Дэбльтоуна есть хорошая помощь по надзору за человеком без намерений. Но прежде чем лечь, он послал еще телеграмму, вызывавшую на завтра мистера Евгения Нилова…

XXX

Наутро Джон Келли явился к судье.

— Ну что скажете, Джон? — спросил у него Дикинсон.

— Все в порядке, сэр. Только… Там за ним следит еще кто-то.

— Знаю. Человек небольшого роста, в сером костюме.

Джон Келли с благоговением посмотрел на всезнающего судью и продолжал:

— Он все сидит, сэр, опустив голову на руки. Когда поутру проходил железнодорожный сторож, он только посмотрел на него. «Как больная собака», — сказал Виллиамс.

— И ничего больше?

— Около незнакомца собирается толпа… Вся площадка и сквер около вокзала заняты народом, сэр.

— Что им нужно, Джон?

— Они, вероятно, тоже хотят узнать его намерения… И притом разнесся слух, будто это дикарь, убивший полисмена в Нью-Йорке…

Донесение Джона было совершенно справедливо. За ночь слухи о том, что с поездом прибыл странный незнакомец, намерения которого воз-

будили подозрительность мистера Дикинсона, успели вырасти, и наутро, когда оказалось, что у незнакомца нет никаких намерений и что он просидел всю ночь без движения, — город Дэбльтоун пришел в понятное волнение. Около странного человека стали собираться кучки любопытных, сначала мальчики и подростки, шедшие в школы, потом приказчики, потом дэбльтоунские дамы, возвращавшиеся из лавок и с базаров, — одним словом, весь Дэбльтоун, постепенно просыпавшийся и принимавшийся за свои обыденные дела, перебывал на площадке городского сквера, у железнодорожной станции, стараясь, конечно, проникнуть в намерения незнакомца…

Но это было очень трудно, так как незнакомец все сидел на месте, вздыхал, глядел на проходящих и порой отвечал на вопросы непонятными словами. А между тем у Матвея к этому времени уже было намерение. Рассмотрев внимательно свое положение в эту долгую ночь, пока город спал, а невдалеке сновали тени полицейского Келли и приезжего сыщика, — он пришел к заключению, что от судьбы не уйдешь, судьба же представлялась ему, человеку без языка и без паспорта, — в виде неизбежной тюрьмы… Он долго думал об этом и решил, что раньше или

позже, а без знакомства с американской кутузкой дело обойтись не может. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он покажет знаками, что ничего не понимает, а об истории в Нью-Йорке здесь, конечно, никто не знает… Поэтому он даже вздохнул с облегчением и с радостной доверчивостью поднялся навстречу добродушному Джону Келли, который шел к нему, расталкивая толпу.

Судья Дикинсон вышел в свою камеру, когда шум и говор раздались у его дома и в камеру ввалилась толпа. Незнакомый великан кротко стоял посередине, а Джон Келли сиял торжеством.

— Он обнаружил намерение, господин судья, — сказал полисмен, выступая вперед.

— Хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдаете доверие города… Какое же именно намерение он обнаружил?

— Он хотел укусить меня за руку.

Мистер Дикинсон даже откинулся на своем кресле.

— Укусить за руку?.. Так это все-таки правда! Уверены ли вы в этом, Джон Келли?

— У меня есть свидетели.

— Хорошо. Мы спросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Не пришел еще мистер Нилов?..

Нилова еще не было. Матвей глядел на все происходившее с удивлением и неудовольствием. Он решил идти навстречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается здесь как-то не по-людски. Он представлял себе это дело гораздо проще. У человека спрашивают паспорт, паспорта нет. Человека берут, и полицейский, с книгой под мышкой, ведет его куда следует. А там уж что будет, то есть как решит начальство.

Но здесь и это простое дело не умеют сделать как следует. Собралась зачем-то толпа, точно на зверя, все валят в камеру, и здесь сидит на первом месте вчерашний оборванец, правда теперь одетый совершенно прилично, хотя без всяких знаков начальственного звания. Матвей стал озираться по сторонам с признаками негодования.

Между тем судья Дикинсон приступил к допросу.

— Прежде всего установим национальность и имя, — сказал он. — Your name (ваше имя)?

Матвей молчал.

— Your nation (ваша национальность)? — И, не получая ответа, судья посмотрел на публику. — Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть несколько слов по-русски? Миссис Брайс! Кажется, ваш отец был родом из России?..

Из толпы вышла женщина лет сорока, небольшого роста, с голубыми, как и у Матвея, хотя и значительно выцветшими глазами. Она стала против Матвея и как будто начала припоминать что-то.

В камере водворилось молчание. Женщина смотрела на лозищанина, Матвей впился глазами в ее глаза, тусклые и светлые, как лед, но в которых пробивалось что-то, как будто старое воспоминание. Это была дочь поляка-эмигранта. Ее мать умерла рано, отец спился где-то в Калифорнии, и ее воспитали американцы. Теперь какие-то смутные воспоминания шевелились в ее голове. Она давно забыла свой язык, но в ее памяти еще шевелились слова песни, которой мать забавляла когда-то ее, малого ребенка. Вдруг глаза ее засветились, и она приподняла над головой руку, щелкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, как-то странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка… ку-ропат-ка…
Рада бить дет-ей…

Матвей вздрогнул, рванулся к ней и заговорил быстро и возбужденно. Звуки славянского языка дали ему надежду на спасение, на то, что его

наконец поймут, что ему найдется какой-нибудь выход…

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только слова песни, но и в ней не понимала ни слова. Потом поклонилась судье, сказала что-то по-английски и отошла…

Матвей кинулся за ней, крича что-то, почти в исступлении, но немец и Келли загородили ему дорогу. Может быть, они боялись, что он искусает эту женщину, как хотел укусить полисмена.

Тогда Матвей схватился за ручку скамейки и пошатнулся. Глаза его были широко открыты, как у человека, которому представилось страшное видение. И действительно — ему, голодному, истерзанному и потрясенному, первый раз в жизни привиделся сон наяву. Ему представилось совершенно ясно, что он еще на корабле, стоит на самой корме, что голова у него кружится, что он падает в воду. Это снилось ему не раз во время путешествия, и он думал после этого, что чувствуют эти бедняки, с разбитых кораблей, одни, без надежды, среди этого бездушного, бесконечного и грозного океана…

Теперь этот самый сон проносился перед его широко открытыми глазами. Вместо судьи Дикинсона, вместо полицейского Келли, вместо

всех этих людей, вместо камеры — перед ним ясно ходили волны, пенистые, широкие, холодные, без конца без края… Они ходят, грохочут, плещут, подымаются, топят… Он напрасно старается вынырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на поверхности… Что-то тянет его книзу. В ушах шумит, перед глазами зеленая глубина, таинственная и страшная. Это гибель. И вдруг к нему склоняется человеческое лицо с светлыми застывшими глазами. Он оживает, надеется, он ждет помощи. Но глаза тусклы, лицо бледно. Это лицо мертвеца, который утонул уже раньше…

Вся эта картина мелькнула на одно мгновение, но так ясно, что его сердце сжалось ужасом. Он глубоко вздохнул и схватился за голову… «Господи боже, святая дева, — бормотал он, — помогите несчастному человеку. Кажется, что в голове у меня неладно…»

Он протер глаза кулаком и опять стал искать надежду на лицах этих людей.

А в это время полицейский Джон объяснил судье Дикинсону, при каких обстоятельствах обнаружились намерения незнакомца. Он рассказал, что, когда он подошел к нему, тот взял его руку вот так (Джон взял руку судьи), потом наклонился вот этак…

И полицейский Джон, наклонившись к руке судьи, для большей живости оскалил свои белые зубы, придав всему лицу выражение дикой свирепости.

Эта демонстрация произвела сильное впечатление на публику, но впечатление, произведенное ею на Матвея, было еще сильнее. Этот язык был и ему понятен. При виде маневра Келли ему стало сразу ясно очень многое: и то, почему Келли так резко отдернул свою руку, и даже за что он, Матвей, получил удар в Центральном парке… И ему стало так обидно и горько, что он забыл все.

— Неправда, — крикнул он, — не верьте этому подлому человеку…

И, возмущенный до глубины души клеветой, он кинулся к столу, чтобы показать судье, что именно он хотел сделать с рукой полисмена Келли…

Судья Дикинсон вскочил со своего места и наступил при этом на свою новую шляпу. Какой-то дюжий немец, Келли и еще несколько человек схватили Матвея сзади, чтобы он не искусал судью, выбранного народом Дэбльтоуна; в камере водворилось волнение, небывалое в летописях города. Ближайшие к дверям кинулись к выходу, толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то непонятное и страшное…

Измученный, голодный, оскорбленный, доведенный до исступления — лозищанин раскидал всех вцепившихся в него американцев, и только дюжий, как и он сам, немец еще держал его сзади за локти, упираясь ногами… А он рвался вперед, с глазами, налившимися кровью, и чувствуя, что он действительно начинает сходить с ума, что ему действительно хочется кинуться на этих людей, бить и, пожалуй, кусаться…

Неизвестно, что было бы дальше. Но в это время в камеру быстро вошел Нилов. Он протолкался к Матвею, стал перед ним и спросил с участием, по-русски:

— Эй, земляк! Что это вы тут натворили?

При первых звуках этого голоса Матвей рванулся и, припав к руке новопришедшего, стал целовать ее, рыдая, как ребенок…

Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Дэбльтоуна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение незнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле. В лице русского джентльмена, работающего на лесопилке, он нашел земляка и адвоката, которому не стоило много труда опровергнуть обвинения. Судья Дикинсон получил вполне удовлетворительные

ответы на вопросы: «Your name?», «Your nation?» и на все другие, вытекавшие из обстоятельств дела. Гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство, — он великодушно забыл даже о новой шляпе и, быстро покончив с официальными отношениями, протянул обвиняемому руку, выразив при этом уверенность, что выбор именно Дэбльтоуна из всех городов союза делает величайшую честь его проницательности… В заключение он предложил Матвею партикулярный вопрос:

— Го у до ю лайк дис кэунтри, сэр?

— Он хочет знать, как вам понравилась Америка? — перевел Нилов.

Матвей, который все еще дышал довольно тяжело, махнул рукой.

— А! чтоб ей провалиться, — сказал он искренно.

— Что сказал джентльмен о нашей стране? — с любопытством переспросил судья Дикинсон, одновременно возбудив великое любопытство в остальных присутствующих.

— Он говорит, что ему нужно время, чтобы оценить все достоинства этой страны, сэр…

— Вэри уэлл! Ответ, совершенно достойный благоразумного джентльмена! — сказал Дикин-

сон тоном полного удовлетворения.

XXXI

На следующий день газета города Дэбльтоуна вышла в увеличенном формате. На первой странице ее красовался портрет мистера Мэтью, нового обитателя славного города, а в тексте, снабженном достаточным количеством весьма громких заглавий, редактор ее обращался ко всей остальной Америке вообще и к городу Нью-Йорку в особенности. «Отныне, — писал он, — город Дэбльтоун может гордиться тем обстоятельством, что его судья, мистер Дикинсон, удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие ученые-этнографы Нью-Йорка. Знаменитый дикарь, виновник инцидента в Central park'е, известие о котором обошло всю Америку в столь искаженном виде, в настоящее время является гостем нашего города. После весьма искусного расследования, произведенного чрезвычайно сведущим в своем деле судьей, мистером Дикинсоном, — он оказался русским, уроженцем Лозищанской губернии (одной из лучших и самых просвещенных в этой великой и дружественной стране), христианином и — добавим от себя — очень кротким человеком, весьма

приятным в обращении и совершенно лояльным. Он обнаружил истинно христианскую радость, узнав о том, что здоровье полисмена Гопкинса, считавшегося убитым, находится в вожделенном состоянии и что этот полисмен уже приступил к исполнению своих обычных обязанностей. Тем лучше для полисмена Гопкинса, но, смеем прибавить, основываясь на мнении лучших юристов нашего города, что в этом вопросе является заинтересованным лицом единственно лишь сам полисмен Гопкинс, так как он сам виновен в постигшем его несчастии. Да, повторяем, он сам виновен, так как первый ударил клобом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Если судьи города Нью-Йорка думают иначе, если адвокат этого штата пожелает доказывать противное или сам полисмен Гопкинс вознамерится искать убытки, то они будут иметь дело с лучшими юристами Дэбльтоуна, выразившими готовность защищать обвиняемого безвозмездно. Едва ли, однако, в этом представится надобность после того, как мы разоблачим на этих столбцах еще одну клевету, которой наши нью-йоркские собратья по перу, без достаточной проверки, очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя и,

надеемся — будущего согражданина. Дело в том, *что он вовсе не кусается.* Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле (что вовсе не делает чести проницательности нью-йоркской полиции), — имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозищанской губернии обмениваются взаимно люди самого лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. То же движение мы имели случай наблюдать с его стороны по отношению к судье Дикинсону, полисмену Джону Келли, а также к одному из его соотечественников, занимающему ныне очень скромное положение на лесопилке мистера Дикинсона, но которому его таланты и образование, без сомнения, откроют широкую дорогу в этой стране. Нет сомнения, что если бы и у нас на это выражение высшей деликатности последовал грубый ответ по голове клобом, то полисмен города Дэбльтоуна испытал бы горькую судьбу полисмена города Нью-Йорка, так как русский джентльмен обладает необыкновенной физической силой. Но Дэбльтоун — говорим это с гордостью — не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кичливому Нью-Йорку, — но еще подал сказан-

ному городу пример истинно христианского обращения с иностранцем — обращения, которое, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания, порожденные пребыванием в Нью-Йорке.

Из судебной камеры мистер Нилов — русский джентльмен, о котором сказано выше, — увел соотечественника в свое жилище, находящееся в небольшом рабочем поселке, около лесопилки. Значительная часть населения города Дэбльтоуна, состоявшая преимущественно из юных джентльменов и леди, провожала их до самого дома одобрительными криками, и даже после того, как дверь за ними закрылась, народ не расходился, пока мистер Нилов не вышел вновь и не произнес небольшого спича на тему о будущем процветании славного города… Он закончил просьбой дать отдых его скромному соотечественнику, не привыкшему к столь шумным изъявлениям общественной симпатии».

Разумеется, автор красноречивой статьи не знал, что, когда граждане города Дэбльтоуна разошлись, Матвей вздохнул с облегчением и сказал:

— Что?.. совсем ушли?

— Да, — ответил Нилов, принявшийся готовить кофе на керосинке.

— А, чтоб их всех взяла холера!.. — от души сказал Матвей и как-то весь опустился.

Нилов только улыбнулся и не сказал ничего; он понимал, что столько пережитых ощущений могут свалить даже такого сильного человека. Поэтому он наскоро напоил его горячим кофе и уложил спать.

XXXII

Матвей проспал целые сутки и даже несколько больше. Когда он проснулся, солнце уходило из светлой каморки, озаряя ее последними лучами. Нилов, вернувшийся с работы, снимал с себя синюю блузу, всю в стружках и опилках. Стружки видны были даже в его волосах.

Матвей некоторое время не мог сообразить, где он и что с ним происходит. Поэтому сначала он смотрел прищуренными глазами, как-то подозрительно следя за движениями молодого человека, боясь, что это сон, который сейчас сменится новой кутерьмой неприятного свойства.

Между тем Нилов тихонько переоделся, сменив рабочий костюм легкой фланелевой парой, и, сев к столу, раскрыл какую-то книгу.

В этом виде он совсем не напоминал рабочего, и в памяти лозищанина ожил опять мимолетный

образ, который мелькнул уже раз в вагоне. Ему вспомнился барский дом около Лозищей, выглядывавший из-за зелени сада. Между этим домом и поселком шла давняя вражда и долгая тяжба из-за чиншевых земель. Она началась при отцах, продолжалась при детях и склонялась то на ту, то на другую сторону. Дело грозило большими запутанностями и неприятностями, как вдруг старый барин умер. В Лозищи явился его наследник и, созвав сход, предложил покончить спор, уступив по всем пунктам. Некоторое время лозищане еще шумели и упирались, не понимая причин этой уступчивости.

Но потом более проницательные люди сообразили, что, вероятно, барчук прокутился, наделал долгов и хочет поскорее спустить отцовское наследие, чему мешает тяжба. Лозищане постарались оттянуть еще, что было можно, и дело было кончено. После этого барчук исчез куда-то, и о нем больше не было слышно ничего определенного. Остались только какие-то смутные толки, довольно разноречивые, но во всех версиях неблагоприятные для молодого человека.

И вот теперь Матвею показалось, что перед ним этот самый человек, только что снявший рабочую блузу и сидящий за книгой. Он так удивился

этому, что стал протирать глаза. Кровать под ним затрещала. Нилов повернулся.

— Что, земляк, выспались? — спросил он приветливо. — Ну, теперь давайте пить кофе.

Лозинский поднялся застенчиво и неловко, расправляя онемевшие члены. Вчера он обрадовался этому человеку как избавителю, сегодня чувствовал себя как-то неловко в его присутствии. К тому же он увидел с смущением, что в комнате не было другой кровати, — значит, хозяин уступил свою, а его ноги были босы, — значит, Нилов снял с него, сонного, сапоги. Правда, он не разувался во все время долгого пути, и от этого ноги его горели… Но все-таки эти заботы причинили ему скорее неудовольствие. Он был теперь уверен, что это лозищанский барчук и что толки были правдивы; он, значит, действительно спустил все отцовское наследие и теперь несет участь блудного сына на чужой стороне. Но так как все-таки он оказал ему услугу и притом был барин, то Лозинский решил не подавать и виду, что узнал его, но в его поведении сквозило невольное почтение. Это вносило какое-то замешательство и неопределенность в их взаимные отношения. Нилов вел себя просто, но сдержанно, Матвей конфузился и уходил в себя.

На следующий день, вернувшись с лесопилки, Нилов сказал, что Матвей может, если желает, получить работу: носить лес с барок. Матвей, конечно, согласился с радостью, и вскоре недавняя знаменитость, человек, о котором говорили все газеты Америки, — скромно переносил лес с барок на берег речки. Его сила и уверенность его обращения с тяжелыми дубовыми бревнами доставили ему повышение, и спустя недели две он работал уже рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колеса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. К вечеру, оба засыпанные опилками, они возвращались домой.

Матвей нанял комнату рядом с Ниловым, обедать они ходили вместе в ресторан. Матвей не говорил ничего, но ему казалось, что обедать в ресторане — чистое безумие, и он все подумывал о том, что он устроится со временем поскромнее. Когда пришел первый расчет, он удивился, увидя, что за расходами у него осталось еще довольно денег. Он их припрятал, купив только смену белья.

Еще через неделю Нилов сказал ему, что они отправятся вместе в Дэбльтоун, где он, Нилов, будет читать лекцию. Они пришли в большой зал, весь набитый народом, который встретил их криками и свистом (в Америке это — выражение

одобрения). Затем все стихло, судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова, а затем последний стал долго и свободно рассказывать что-то, по временам показывая места на большой карте. Публика, состоявшая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряженным вниманием и в конце опять устроила им овацию…

Когда после этого они пришли домой, Нилов вынул кучку денег и, разделив ее на две половины, одну отдал Матвею.

— Это мы с вами заработали сегодня, — сказал он. — Это плата за лекцию. Я говорил им о нашей родине и о ваших похождениях. По справедливости половина принадлежит вам.

Матвей пробовал было отказаться, но потом принял деньги. За это время его отношение к Нилову сильно изменилось, и хотя он не все понимал, однако совершенно отбросил мысль о блудном сыне. Получив деньги, он сконфуженно смотрел на Нилова… Ему хотелось бы выразить как-нибудь свою благодарность и почтение… Губы его тянулись к руке Нилова, колени подгибались для земного поклона… Но в лице Нилова, а может быть, и в тех неделях, которые они уже провели вместе, было что-то, удержавшее Матвея

от этого излияния. Поэтому он взял деньги и, положив их около себя, сказал:

— А что… извините и не подумайте чего худого… Тут очень много денег?

— Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платья, — ответил Нилов. — Вы ходите в одном и на работу, и в праздник.

— А! — сказал Матвей, махнув рукой. — Я простой человек, работник.

— Здесь все простые люди, и работники считают себя не хуже других и не хотят ничем отличаться по внешности. Я советую вам обзавестись бельем и платьем.

Матвей потупился.

— Простите меня, — сказал он. — Я не то чтобы там… не слушался вас или что… Но… скажите: можно здесь работой скопить на дорогу?

— Куда?

— Назад, на родину!.. — сказал Матвей страстно. — Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле… А теперь готов работать как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя на родной стороне…

Нилов прошелся по комнате, о чем-то думая, и потом, остановившись против Лозинского, сказал:

— Слушайте, Лозинский. Заработать столько можно. Можно со временем и вернуться. Но… всякий человек должен знать, что он делает. Зачем вы ехали сюда?

— А! — ответил Матвей, махнув рукой. — Мало ли что приходит человеку в голову.

— Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.

Матвей наморщил лоб и сам удивился тому, как трудно идут из головы слова и мысли.

— А! Хотелось человеку, конечно… клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом… Ну там… пару волов, хорошего коня… корову… крепкую телегу…

— А еще?

Матвей чувствовал, что за всеми перечисленными предметами в душе остается еще что-то, какой-то неясный осадок… Мелькнуло лицо Анны…

— Ну, потом… — продолжал он с усилием, — человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.

— И еще что-нибудь?

— Еще… если бы можно было молиться по-старому в своей церкви…

В голове его мелькнули еще разговоры о свобо-

де, но это было уже так неясно и неопределенно, что он не сказал об этом ни слова.

Нилов подождал еще. Лицо его было серьезно и несколько взволнованно.

— Все это вы можете найти здесь! — сказал он решительно и резко. — Все, что вы искали. Зачем же вам уезжать?

И видя, что Матвей несколько огорчен его резким тоном, он прибавил:

— Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге. Поживите здесь, узнайте страну и людей… И если все-таки вас потянет и после этого… Потянет так, что никто не в состоянии будет удержать… Ну, тогда…

В голосе Нилова звучало какое-то страстное возбуждение. Матвей заметил это и сказал:

— А вы сами… извините… ведь вы хотите уехать.

Лицо Нилова опять слегка омрачилось.

— Да, — ответил он. — У меня свои причины…

— Значит… вы не нашли для себя то, чего искали?

Нилов распахнул окно и некоторое время смотрел в него, подставляя лицо ласковому ветру. В окно глядела тихая ночь, сияли звезды, невдалеке

мигали огни Дэбльтоуна, трубы заводов начинали куриться: на завтра разводили пары после праздничного отдыха.

— Здесь есть то, чего я искал, — ответил Нилов, повернув от окна взволнованное и покрасневшее лицо. — Но… слушайте, Лозинский. Мы до сих пор с вами играли в прятки… Ведь вы меня узнали?

— Я узнал вас, — смущенно сказал Матвей.

— И я вас узнал также. Не знаю, поймете ли вы меня, но… за то одно, что мы здесь встретились с вами… и с другими, как равные… как братья, а не как враги… За это одно я буду вечно благодарен этой стране…

Матвей слушал с усилием и напряжением, не вполне понимая, но испытывая странное волнение…

— А если я все-таки еду обратно, — продолжал Нилов, — то… видите ли… Здесь есть многое, чего я искал, но… этого не увезешь с собою… Я уже раз уезжал и вернулся… Есть такая болезнь… Ну, все равно. Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймете. На родине мне хочется того, что есть здесь… Свободы, своей, понимаете? Не чужой… А здесь… Здесь мне хочется родины…

Нилов смолк, и после этого оба они долго еще

смотрели в окно на ночное небо, на тихую, ласковую ночь чужой стороны. Нилов думал о том, что скоро он покинет все это и оставит назади целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная… Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни, и так же манило еще смутную мысль… И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он сказал Нилову, — за коровой, и хатой, и полем, и даже за чертами Анны, — чудится еще что-то, что манило его и манит, но что это такое — он решительно не мог бы ни сказать, ни определить в собственной мысли… Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни…

XXXIII

Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешел работать на ферму к дюжему немцу, который, сам страшный силач, ценил и в Матвее его силу. Здесь Матвей ознакомился с машинами, и уже на следующую весну Нилов, перед своим отъездом, пристроил его в еврейской колонии инструктором. Сам Нилов

уехал, обещав написать Матвею после приезда.

О жизни Матвея в колонии, а также историю американской жизни Нилова мы, быть может, расскажем в другой раз. А теперь нам придется досказать немного.

Статья «Дэбльтоунского курьера» об окончании похождений «дикаря» была перепечатана в нескольких газетах преимущественно провинциальных городов, недовольных кичливостью ньюйоркцев, впавших в данном случае в такую грубую ошибку. Нью-йоркские газеты обмолвились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечениями фактического свойства, так как в это время на поверхности политической жизни страны появился один из крупных вопросов, поднявших из глубины взволнованного общества все принципы американской политики… нечто вроде бури, точно вихрем унесшей и портреты «дикаря», и веселое личико мисс Лиззи, устроившей родителям сюрприз, и многое множество других знаменитостей, которые, как мотыльки, летают на солнышке газетного дня, пока их не развеет появление на горизонте первой тучи.

О Матвее и его истории скоро забыли, и ни Дыма, ни Анна не узнали, что он очутился в Дэбльтоуне и потом перешел в колонию, что здесь

он был приписан к штату и подавал свой голос, после мучительных колебаний и сомнений (ему все вспоминалась история Дымы в Нью-Йорке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся взгляд, выражение лица, вся фигура. А в душе всплывали новые мысли о людях, о порядках, о вере, о жизни, о боге, которому поклоняются, хотя и разно, по всему лицу земли, о многом, что никогда не приходило в голову в Лозищах. И некоторые из этих мыслей становились все яснее и ближе…

А Анна все жила в том же доме под № 1235, только барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но благодарности как-то не видела. Наоборот, у Анны все больше портился характер, являлась беспредметная раздражительность и недостаток почтительности.

— Что делать… правду говорят, что это здесь в воздухе, — говорил муж старой барыни, а изобретатель, все сидевший над чертежами и к которому старая барыня обращалась иногда с жалобами, зная его влияние на Анну, — только пожимал плечами.

— Я теперь далек от всего этого, — говорил он, — но когда-то… одним словом, я думаю, что ей

просто хотелось бы… собственной своей жизни… Понимаете ли вы: собственной своей жизни…

— Скажите пожалуйста, — отвечала барыня с искренним изумлением. — Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти долларов, еще собственную жизнь…

— Ну, это теперь меня не касается, — отвечал старый господин. — Все это разрешит наука. Все: и ее, и вас, и всех. Дело, видите ли, в том, что…

Ученый повернулся на стуле и сказал серьезным тоном:

— Человек изобретает нужную ему машину… Это мы все отлично знаем. А думали ли вы когда-нибудь о том, что и машина, в свою очередь, изобретает… вернее сказать, вырабатывает нужного ей человека… Вы удивлены?.. А между тем это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и все решено: вся задача сводится к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, которой нужен только свободный человек, понимаете? Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы… В этом будущем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями, ни рабов с их завистью и враждой… Понимаете вы меня?..

Старый господин приподнял очки и простодушно-радостным взглядом посмотрел в лицо хозяйки. Но на этом лице виднелось лишь негодование.

— Благодарю покорно! — сказала она. — Хорош ваш будущий строй… без прислуги! Я лучше согласна остаться при старом…

А дело с Анной шло все хуже и хуже…

Через два года после начала этого рассказа два человека сошли с воздушного поезда на углу 4 avenue и пошли по одной из перпендикулярных улиц, разыскивая дом № 1235. Один из них был высокий блондин с бородой и голубыми глазами, другой — брюнет, небольшой, но очень юркий, с бритым подбородком и франтовски подвитыми усами. Последний вбежал на лестницу и хотел позвонить, но высокий товарищ остановил его.

Он взошел на площадку и оглянулся вдоль улицы. Все здесь было такое же, как и два года назад. Так же дома, точно близнецы, походили друг на друга, так же солнце освещало на одной стороне опущенные занавески, так же лежала на другой тень от домов…

Глаза его с волнением видели здесь следы прошлого. Вот за углом как будто мелькнула чья-то фигура. Вот она появляется из-за угла, ступая так

тяжело, точно на ногах у нее пудовые гири, и человек идет, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на друга… «Все здесь такое же, — думал про себя Лозинский, — только… нет уже того человека, который блуждал по этой улице два года назад, а есть другой…»

Звонок затрещал, дверь открылась, из-за нее выглянуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушив испуганный крик девушки, точно она увидела призрак. Потом она опять выглянула в щелку и сказала:

— Вы?.. Неужели это вы?

Старая барыня тоже с большим удивлением встретила этого человека и с трудом узнавала в нем простодушного лозищанина в белой свите и грубых сапогах, когда-то так почтительно поддерживавшего ее взгляды на американскую жизнь и на основы общественности. Она внимательно присматривалась к нему сквозь свои очки и искренно находила, что он стал гораздо хуже. Правда, в нем не было вызывающей резкости и задора молодого Джона, но не было также ласковой и застенчивой покорности прежнего Матвея, которая так приятно ласкала глаз старой барыни. Кроме того, она находила, что черный сюртук сидел на нем как на корове седло.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она с легким оттенком иронии. Но она чувствовала с некоторой досадой, что ей все-таки неловко было бы оставить стоять этого человека.

В сущности, она была человек недурной, и, когда Анна заявила ей об отказе от службы, — она поняла, что теперь у Анны есть уважительная причина…

— Ну вот — она нашла себе свою собственную жизнь, — сказала она с оттенком горечи ученому господину, когда Анна попрощалась с ними. — Теперь посмотрим, что вы скажете: пока еще явится ваш будущий строй, а сейчас вот… некому даже убрать комнату.

— Гм… да… — задумчиво ответил изобретатель… — Надо признать, что в этом есть доля неприятности. Конечно, со временем все это устроится несомненно… Но… действительно, трудно будет придумать машину, которая бы делала это так приятно и ловко, как эта милая девушка…

Несколько дней после этого ученый чувствовал себя не в своей тарелке и находил, что даже выкладки даются ему как-то труднее.

— Гм… да… я должен признаться, — говорил он старой барыне. — Мне недостает ее лица и ее

добрых синих глаз… Конечно, со временем все заменят машины…

Но тут он оборвал фразу под упорным ироническим взглядом старой барыни, которая процедила сквозь зубы:

— Даже синие глаза? Ну, это-то уж едва ли…

Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания…

Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?..

Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синею дымкой легкого тумана двигались на горизонте океанские валы, а за ними мысль, как чайка, летела дальше на старую родину… Он чувствовал, что сердце его сжимается сильною, жгучею печалью…

И он понимал, что это оттого, что в нем родилось что-то новое, а старое умерло или еще умирает. И ему до боли жаль было многого в этом умирающем старом; и невольно вспоминался разговор с Ниловым и его вопросы. Матвей созна-

вал, что вот у него есть клок земли, есть дом, и телки, и коровы… Скоро будет жена… Но он забыл еще что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе…

Уехать… туда… назад… где его родина, где теперь Нилов со своими вечными исканиями!.. Нет, этого не будет: все порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лозищах, в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Дэбльтоуне…

Он крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Солнце село. Туманная дымка сгущалась, закрывая бесконечные дали. Над протянутой рукой «Свободы» вспыхнули огни…

Пароход опустел. Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль…

Как те, которые когда-то, так же отрываясь от мачт корабля, неслись туда… назад… к Европе, унося с собой из Нового Света тоску по старой родине…

1895

В облачный день
Очерк

I

Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть…

Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю… Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил все-таки во всей томительной силе; а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мглистую панораму, усиливая в ней смену света

и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе… Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнела и сгущалась внизу, выделяя легкие белые облачка, которые быстро неслись к середине неба и неизменно сгорали в зените, а земля все ждала дождя и влаги, ждала томительно и напрасно…

По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. Потом неожиданно заболтался сильнее, и с холма меж рядами старых берез покатился в клубке белой пыли тарантас с порыжелым кожаным верхом, запряженный тройкой почтовых лошадей. Вокруг тарантаса моталась плотная пыль, лошадей густо облепили слепни и овода, увязавшиеся за ними от самой станции. От станции же путников сопровождал печальный и сухой шелест усыхающих нив. Рожь тихо качалась, шуршала и будто жаловалась впросонках на этот зной и на эти раздражающие туманные грезы, залегающие на горизонте обманчивыми признаками дождей…

Было скучно. В густой листве придорожных берез шевелились порой какие-то вздохи, а из села, колокольня которого осталась позади, за

холмом, слышался редкий, надтреснутый звон.

— Осокинцы молебствуют, — сказал, ни к кому не обращаясь, ямщик… — Беда ведь: жар да сухмень… Гнев господень… Икону подняли — что-то господь даст. Эх вот, прежде поп у них был, Василий. Насчет чего прочего не больно дохваливали, а что касающе дождя — ну дошлый был! Как, бывало, пройдет по межам, даром что пьяненький шатается, — отколь и возьмется, братец мой, туча… И отколь тебе ни возьмется туча…

Никто не ответил, и ямщик смолк. На меже действительно мелькали ризы сельского причта, почерневшая парча двух хоругвей болталась в ясном воздухе, и пение незатейливого клира носилось какими-то обрывками. Раскатится густая диаконская октава и рассыплется горошком где-то совсем близко, смешавшись с шелестом ржи, между тем как высокая фистула дьячка беспокойно летает над березами и будто мечется и кого-то ищет, и зовет кого-то напрасно. Потом все стихнет, и весь пейзаж опять безысходно томится и будто еще усиленнее чувствует тяжесть бытия. А неподвижный воздух опять густо насыщен ожиданием и смутными раздражающими грезами…

Вместе с пылью и слепнями это ощущение безнадежной тоски нависло, очевидно, и над та-

рантасом, тихо катившимся по тракту. Коренник лениво месил ногами, пристяжки роняли морды чуть не в самую пыль дороги, тарантас расслабленно дребезжал плохо пригнанными частями, ямщик, видимо, придирался к одной пристяжке, наделяя ее по временам язвительными эпитетами самого оскорбительного свойства.

Впрочем, если кто еще не вполне поддался расслабляющему влиянию этого томительного дня, то это именно ямщик. Это был человек небольшого роста и довольно невзрачный в своем порыжелом кафтане и в шляпенке неизвестного происхождения, неопределенной формы и цвета. Нос у него был несколько набекрень, бороденка выгорела от солнца, но глаза, синие и глубокие, глядели живо, умно и несколько мечтательно…

Это была личность, популярная по тракту, и кому часто доводилось ездить этими местами, тот непременно замечал и помнил Кривоносого Силуяна, с его синими глазами, глубоким голосом и бесконечными рассказами. Были седоки, которые, приезжая на станцию, спрашивали у содержателя: «А что, Силуян тут?» — «Балагур, — говорили про него другие ямщики… — С ним, конечно, седоку не скучно». Зато и сам Силуян любил седока внимательного, бывалого и

разговорчивого. Он умел говорить, но любил и послушать. Он охотно отдавал дороге все, что накопил в памяти. Но и дорога, в свою очередь, наделяла Силуяна такими сведениями, которые только и можно подхватить на бойком тракту от проезжего, бывалого и видалого человека. В таких случаях Силуян жадно прислушивался, повернувшись с облучка назад, а потом, возвращаясь на обратной один, легкой рысцой, в сумерки или темною ночью, когда чуть видные березы глухо шумели вдоль темного тракта, — он перебирал в уме слышанное за день. А так как в душе он поэт, наделенный беспокойным и подвижным воображением, к тому же темные ночи, звон колокольчика и шум ветра в березах отражаются по-своему на работе ямщицкой памяти, — то немудрено, что уже через неделю-другую сам проезжий рассказчик мог бы выслушать от Силуяна свой собственный рассказ как очень интересную новость… И ему не удалось бы даже убедить Силуяна, что это он, проезжий, сам и рассказывал ему, только совсем иначе. Силуян повернется, посмотрит и покачает головой.

— Нет, то был другой и личность другая.

И действительно, то был другой, потому что темные ночи и ямщицкая память совершен-

но преображали человека, неизвестно откуда приехавшего и неизвестно куда ускакавшего по тракту в неведомый свет, — преображали до такой степени, что и фигура, и лицо, и голос, и самый рассказ подергивались особенным налетом ямщицкой фантазии… Так рождалось на А-ском тракту много былин, а так как их некому было записывать, то они тут же на тракту и умирали, если, впрочем, исправник Полежаев, большой любитель рассказов Силуяна, не повторял их где-нибудь в грязном номере уездной гостиницы перед скучающей уездной публикой…

— Да ты, Силуян, смотри, не все болтай зря, — говорил иногда исправник. — Как бы иной раз и не того… и не нагорело за твои сказки…

— Убей меня бог, Степан Митрич, — отвечал Силуян с убеждением и совершенно искренно. — От проезжего барина слышал, от генерала. Чай, не станет врать…

Вообще, много странного можно было услышать о белом свете от ямщика Силуяна, обычно знавшего, впрочем, каждый пенек на А-ском тракте.

II

Теперь он был слегка раздражен и недоволен. Изменчивые облака (овес сохнет!), жар, слепни, лукавство пристяжки, которая все норовит обмануть его, но самое неприятное — молчаливые, разваренные седоки… Их двое: молодая девушка и пожилой барин. Барин сидит совсем осовелый и клюет носом. Ямщик давно махнул на него рукой и все внимание обратил на девушку. Но та сначала забилась в угол тарантаса и все глядела в одном направлении упрямо и жадно, не видя ничего в отдельности и только поглощая глазами синюю даль. Потом она заснула, не переменив положения: белокурая головка беспомощно моталась на жесткой коже тарантаса, платок с головы съехал назад, волосы сбились, а на лице блуждало странное выражение, как будто и во сне она глядит на что-то вдали и старается что-то угадать.

Силуяну стало жаль ее, и он поехал тише, но пристяжка воспользовалась его снисходительностью до такой степени нагло, что он не выдержал и резко вытянул ее кнутом. Недобросовестный конь дернул сразу, тарантас охнул, и девушка проснулась.

— И подлый же конь этот, — сказал ямщик виновато, указывая на пристяжку кнутом. — Коренная, например, старается, без облыни, а этому подлецу только бы омануть. Вот, воо-от, во-ат, гляди на него, на ш-шель-му.

Кнут несколько раз взвизгнул в воздухе и шлепнул по мокрым бокам коня. После этого пристяжка, казалось, поняла цену добродетели, и ямщик успокоился. Он поглядел на небо и, широко взмахнувши по воздуху кнутовищем, как бы погоняя тучи, сказал:

— Облака-те набираются все. Не даст ли господи милости хресьянам… Айда, айда к нам, на Липоватку.

Он остановился с ожиданием. Теперь по-настоящему седокам следовало бы спросить: «А ты сам разве из Липоватки?»

И он бы тотчас ответил:

— Ну! Из Липоватки, из самой! Липоватовых господ, может, слыхали? Богатеющее имение было.

Да тут же, кстати, спросил бы и сам:

— А вы чьи будете, из какой стороны? Не видывали мы вас что-то, здешние-то господа у нас на примете.

Он жадно насторожился, но никто ничего ему

не ответил. Господин по-прежнему тускло глядел вперед и тихонько потряхивался на сидении («Точно мешок с мякиной», — сказал про себя ямщик), а барышня опять уставилась глазами на дальнюю рощу, грузно и сине легшую по «вершинке», на фоне желтой нивы.

Ямщик досадливо поправился на облучке, уселся плотнее и обратился к березам, которые что-то зашептали ему, как старому знакомому, будто приглашая к беседе с ними, вместо неприветливых седоков.

— И-эх, березыньки!.. — любовно протянул он нараспев, и тихая песня понеслась среди мертвого жужжания оводов. Он пел приятной фистулой, обладавшей общим свойством ямщицких голосов: песня звучала будто откуда-то издалека, точно ветер наносил ее с поля.

И э-э-эх-да-э-эх… да Аракчеев-господин…

Да Аракчее-е…

Так как лукавый пристяжной конь видимо замедлил ход, чтобы лучше слышать пение хозяина, то ямщик опять резко вытянул его по заду — а песня не прерывалась, будто в самом деле ее пел кто-то другой, в стороне. Она тягуче и тихо, но как-то особенно плотно и грустно лилась

нота за нотой… Есть что-то особенное в этих ямщицких песнях, которые поются вполголоса на облучке под топот копыт и монотонное позванивание колокольчика. Не удаль и не тоска, а что-то неопределенное, точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом… Барышня шевельнула бровями.

Да Аракчеев-господин,

Да ен всеё дороженьку березкой усадил…

Воспоминание становилось определеннее. Слова выходили из звучного жужжания ясные, с понятным смыслом. Барышня совсем оторвала глаза от рощи, и господин переставал безжизненно встряхиваться на своем сидении.

Да он тебя, дороженька, березкой усадил…

Да всеё Рассеюшку в раззор раззорил!..

И-э-э-эх, моя березынька, дороженька моя…

Последний стих прозвенел и потерялся в воздухе, покрытый явно сочувственным шорохом берез, шевеливших на легком ветру нависшими

ветками. Ямщик, казалось, забыл уже о седоках, и через минуту песня опять тянулась, отвечая шороху деревьев:

И-й-эх, моя березынька, дороженька моя...

И-й-эх, ты мать, Рассеюшка, хресьянская земля...

Да э-эх, Ракчеив наш, Ракчеив-генерал,

На тую ль на дороженьку... хресьян выгонял...

Да й-э-э-эх...

Шепот деревьев, шорох хлебов, звон колокольчика и опять песня.

Тая ли дороженька-а-а да кровью полита!..

Вместе с определенностью мотива определялось и выражение на лицах седоков. Лицо молодой девушки стало печально, глаза округлились. Это заметил проснувшийся господин и сказал с неудовольствием:

— Ну, ты! Что такое — распелся! — говорил он слегка дребезжащим голосом, в котором силилась пробиться какая-то твердая нота.

Ямщик невольно оглянулся. Седок уже не

встряхивался, а сидел «своей волей», нахмурив брови, и на лбу его ямщику только теперь резко кинулась в глаза кокарда. «Должно — начальство новое», — подумал Силуян, обрывая песню, и обиженно задергал вожжами.

Но в голове его шевелились вольные мысли.

«Ишь ведь, прости господи, идол навязался! Не важивали мы начальников, что ли? Вон Полежаев, исправник, или опять Талызин, Василь Семеныч, даром што генерал полный, а, бывало, подавай ему Силуяна, с другим, говорит, и не поеду…»

Эти воспоминания ободрили ямщика, и он прибавил вслух:

— Низвините, ваше благородие, — песня такая поется старинная, про Ракчеива, значит.

— То-то, песня, — брезгливо и как-то слегка в нос сказал седок. Он, видимо, старался говорить строго, но твердая нота все не налаживалась… — Песня! Песни тоже всякие бывают…

Впрочем, лицо его опять начало расплываться, обрюзгло, и туловище опять пассивно поддалось влиянию тарантаса: господин опять стал потряхиваться, а глаза его потускнели. Из опасения, что разговор, хотя несколько неприятный, угаснет, ямщик прибавил раздумчиво, после короткой

паузы:

— Ракчеив… Стало быть, помещик был в нашей стороне. Годов, сказывают, со сто, а то, может, и всех два ста будет. Важнеющий был генерал у царицы, у Екатерины.

Господин слегка очнулся.

— То-то вот! — все еще несколько сонным голосом ответил он. — «Два ста»… У Екатерины… в вашей стороне! Ничего-то вы, мужики, толком не знаете, а туда же, «в раззор разорил»… Распустились!

— Песня, господин, она, как сказать… — возразил Силуян, — она ведь исстари идет… От народу взялась… Старинная это песня… Ежели ее голосом настояще вывести…

— Ну-ну! Будет уж, не выводи! Слыхали.

— Как угодно! — Ямщик окончательно обиделся.

— Что ты это, папочка, отчего? — спросила девушка. Она, казалось, не сразу вслушалась в содержание разговора и только задумчиво ждала продолжения песни. Когда все смолкло и продолжения не было — она только тогда поняла причину.

— Ах, Леночка, — ответил господин, — ты этого не можешь понять. Это не Петербург, и здесь я не

могу смотреть на себя как…

— Как на что? — лениво спросила дочь.

— Как… на частного человека! Пожалуйста, Лена, не вмешивайся в мои… распоряжения.

— Не буду, папочка, — так же лениво обещала девушка.

Ямщик излил свои ощущения усиленной игрой на вожжах и усердным употреблением кнута. Однако чуткое ухо уловило кое-что в разговоре. «Вишь ты, — подумал он, — начальник и есть. Строг, а, кажись, отходчив. Ну, да мне-ка что! Наше дело ямщицкое!»

Опять наступила тишина и дорожное томление. Барышня смотрела вдаль, господин потряхивался и ритмически покачивался на сидении, а глаза его, все еще открытые, стали так тусклы, как будто на них насела пыль. Колокольчик бился, взвизгивал и подвывал какому-то своему неисходному горю. Потом он всем надоел, прислушался и сразу исчез из слуха и сознания. Зато в тишине полей оживало какое-то тревожное, пугливое трепетание, и порой чудилось, что диаконский бас, давно оставленный назади, опять увязался с тучами оводов за тарантасом и все догоняет и сыплется по сторонам горошком.

Но это был только слуховой призрак, вставав-

ший среди чуткой атмосферы, наэлектризованной томлением и испугом иссыхающей земли…

III

В голове пожилого господина бродили мысли, призрачные, как эти мглистые тучи… Обрывки прошлого, обрывки настоящего и туманная мгла впереди. Все это громоздилось в голове, покрывало друг друга. Общий фон был неясен, зато отдельные мысли выступали порой так раздражительно ярко, что однажды он сказал громко:

— Да… вот… А теперь что же мы видим?..

— Ничего, ничего, Лена, — застыдившись, ответил он тотчас же на вопросительный взгляд девушки. — Я думал… о прошлом…

Действительно, он думал о прошлом, и призраки его молодости тянулись к нему невидимыми руками от этого истомившегося простора. Тарантас тихо тарахтит по пыльной дороге, а Семен Афанасьевич Липоватов видит себя юным помещиком… Когда н-ское дворянство, первое из великорусских, обратилось с известным адресом об эмансипации, имя Семена Афанасьевича стояло под этим адресом. Как это все было… как бы сказать… блестяще, что ли!.. Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги… Казалось, будто

вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего в жизни? Потом, когда виднейшие дворяне, спохватившись, начали горячую борьбу «за интересы сословия» и подали контрадрес, — имя Семена Афанасьевича каким-то образом очутилось и на контрадресе. Странно — но и тут опять было что-то блестящее, что-то кипучее и особенное, окрашенное колоритом того времени.

И какого времени!.. Какой энтузиазм, какие речи, какой пыл, какая самоуверенность, какие надежды! Где теперь все это — то есть даже не эти факты, а этот особенный тон жизни, этот аромат бытия? Казалось, по всему лицу русской земли были расставлены какие-то особые рефлекторы и резонаторы, придававшие силу каждому звуку, сияние каждому явлению. Неужели это только молодость? Нет, старики тогда тоже становились молодыми, вот что удивительно… Вдруг прославится смоленское дворянство! Вдруг лукояновское общество сельского хозяйства открывает новые горизонты! Вот Семен Афанасьевич подписался под одним адресом — и его имя передается из края в край, становится достоянием даже заграничной прессы. Блеск, гул, сверкание! Но

разве не было блеска и в этом протесте нотаблей против эмансипации, в этом столкновении «знамени освобождения» со «старыми дворянскими традициями»… И опять его имя становится достоянием прессы, и опять его приветствуют — только уже с другой стороны… А там опять восторги и ожидания, потом земство, новые суды, égalité!..[30] Вот тут-то, когда воспоминания дошли до этого пункта, — у Семена Афанасьевича и вырвалось восклицание:

— Да! А теперь… Что же мы видим?..

— Поле, папочка, и мостик, — ласково улыбнулась дочь…

Семен Афанасьевич вздохнул и оглянулся. Да, поле, дорога, березки, и стая ворон кружится над колеблющейся рожью. Должно быть, во ржи они заметили умирающего зайца или подстреленную птицу…

А между этим ярким и далеким прошлым и этим уголком дороги — целая полоса…

Что это было, как было? Выкупную сделку взял на себя старший брат, человек суровый и не скрывавший своего презрения к либеральным увлечениям Сенички. Семен Афанасьевич

---

[30] Примечания: 30
Равенство *(фр.). — Ред.*

только слышал о каких-то замешательствах и столкновениях брата с крестьянами, потом все как-то уладилось, потом получены выкупные, потом Семен Афанасьевич дрался на дуэли из-за m-lle Стратилатовой, первой красавицы в губернии, дочери его соседа по имению. Он был ранен (легко), потом женился, потом уехал за границу. Выкупные таяли быстро, брат писал нравоучения («Помни, что ты истощаешь жизненные нервы будущего хозяйства»), и Семен Афанасьевич вернулся в Петербург. Это было время оживления промышленности, железнодорожная горячка, хорошие дворянские имена ценились и котировались бойко. Семен Афанасьевич опять увлекся. Заседания, речи, надежды, сближение с этими замечательными, истинно русскими человеками, прицеплявшими звезды поверх синих кафтанов или прятавшими их под окладистыми бородами, акции, облигации, борьба в собраниях, обеды и спичи, в которых Семен Афанасьевич обнаруживал недюжинный талант и упоительное красноречие… В результате он два раза был близок к обогащению, три раза разорялся, один раз получил наследство (после умершего брата), и все это как-то пассивно, как будто все это делали за него другие. Да, пожалуй, оно так

и было. «Русские человеки» выплывали — поднимался с ними и Семен Афанасьевич; «русские человеки» утопали в пучине какого-нибудь краха — утопал и Семен Афанасьевич. А иногда и даже чаще бывало и так: они выплывают, а Семен Афанасьевич утопает. В это время умерла жена, кротко выносившая все увлечения мужа. У ее роскошного гроба Семен Афанасьевич в первый раз почувствовал, как у него тягуче и сильно сжалось сердце, и в первый еще раз, оглянувшись назад, на свою молодую любовь, на свои клятвы и на эту исчезнувшую жизнь, которой он никогда уже не в состоянии вернуть иллюзию счастья, предложил себе этот вопрос, который потом все чаще и чаще вырывался у него как-то механически, порой совершенно неожиданно и нередко вслух — в минуты раздумья:

— А теперь… что же мы видим?..

Дорога, поле, шелест листьев, легкий звон придорожного телеграфа… Жизнь все более тускнела и как-то даже пачкалась. Резонаторы убраны, блеск исчез, и даже застольные спичи на железнодорожных торжествах потеряли былую поэзию. Он чувствовал, что жизнь начинает мчаться мимо, как поезд, на который он не успел вскочить вовремя, заболтавшись на станции.

Дела становились все мельче, хорошие имена теряли цену, нужны были хорошие связи, а он как-то растерял их одну за другой. Появилась седина, обрюзглость… подошла старость, и Семену Афанасьевичу захотелось куда-то «домой», для покоя и отдыха…

В это именно время подоспела новая реформа, и Семена Афанасьевича озарило новое откровение. Да, это как раз то, что нужно. Пора домой, к земле, к народу, который мы слишком долго оставляли в жертву разночинных проходимцев и хищников. Семен Афанасьевич навел справки о своем имении, о сроках аренды, о залогах, кое-кому написал, кое-кому напомнил о себе… И вот его «призвали к новой работе на старом пепелище»… Ничто не удерживало в столице, и Семен Афанасьевич появился в губернии.

Здесь его встретили радушно. Губернатор пожимал руки, губернский предводитель обнимал, молодежь толпилась в его номере, поглядывая на хорошенькую дочь и поздравляя отца с «возвращением к настоящей живой работе». Семен Афанасьевич кланялся, благодарил, говорил, что он тронут, даже пролил слезу и начинал искренно увлекаться. Как старый боевой конь, он почувствовал, что тут где-то, вероятно, опять нач-

нется какое-то оживление, откроются горизонты, пойдут обеды и речи. Но первое же собрание в губернаторском доме, в котором он принял участие в своем новом мундире, его как будто несколько озадачило и разочаровало. Было холодно, тускло, неопределенно. Здесь, между прочим, к нему подошел старый, седой господин, его сверстник и друг его юности…

— Василий?

— Семен?

Они взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза…

— Неужели это ты?..

— Как видишь.

Встреча выходила какая-то унылая. Первый, впрочем, отряхнулся Семен Афанасьевич. Он был человек нервный и притом долго жил в Петербурге, где есть слова на все случаи жизни.

— Узнаю моего Василия. Седые волосы, правда. «Но и под снегом иногда бежит кипучая вода». Не правда ли: где благородное дело, там и ты!

— Узнаю и тебя, ты не забыл стихов…

— Итак, ты с нами… Меня очень интересовал вопрос: как ты отнесешься к реформе?

Старый господин, повинный некогда в ярком либерализме, ответил уклончиво:

— Хочется все-таки хоть что-нибудь делать.

— Что-нибудь! Да ведь тут работы непочатый угол. Не правда ли, вспоминаются молодые годы? Посмотри на эту молодежь. В свое время мы так же окружали наших стариков. У меня кровь начинает быстрее обращаться в жилах (глаза его действительно начинали слегка сверкать). Ну скажи, какие тут у вас возникают проекты, вопросы…

Седой господин смотрел устало и грустно.

— Вопросы? Как тебе сказать. Вот сегодня в заседании обсуждался вопрос о смурыгинских березках.

— Березках?

— Ну да! Молодой земский начальник Смурыгин для блага вверенного участка приказал с первых же дней обсадить березками все проселочные дороги.

— Да? Вот что?.. березками… А знаешь, ведь это хорошо. Это, конечно, не «широкие задачи», в этом нет полета, но прямая практическая польза… нельзя отрицать и этого, мой старый друг.

— Про-се-лочные — пойми! — с удивлением глядя ему в глаза, повторил седой господин. — Ты, кажется, забыл совсем условия деревенской жизни.

Семен Афанасьевич смутился. Он действительно не вполне ясно представлял себе, в чем дело, но уверенный тон старого товарища сбил его с толку.

— Про-селочные! Да, конечно, это крайность… Но молодость — всегда молодость… Ведь и мы увлекались в свое время. Почему ты не хочешь признать за молодым поколением?..

— Чего?

— Права на увлечение…

— Да, ты вот о чем!.. Посмотри вон туда, у портрета… Группа молодых людей, и в центре… Узнаешь ты этого господина?..

— В очках… густые волосы с проседью?..

— Да. Это известный Заливной.

— А! — ответил Семен Афанасьевич. — Я его лично не знал… это было уже после меня, но как же, помню по газетам!.. Радикал, энтузиаст… Ведь это он требовал когда-то фортепиано для школ? Крайность, конечно, но… крайность, согласись сам, симпатичная… И если теперь он внесет свой энтузиазм…

— Внес уже, — ответил Василий Иванович. — Теперь он требует полного закрытия школ…

Семен Афанасьевич заморгал от неожиданности и растерянно посмотрел на приятеля.

— Ты шутишь… Как же это… то есть я хочу вам сказать: как примирить…

— А очень просто… отстал ты от духа времени. Есть, брат, такие субъекты… Наш генерал — он у нас большой шутник — называет их породой восторженных кобелей… Видел ты, как порой резвый кобель выходит с хозяином на прогулку? Хозяин только еще двинулся влево, и уже у кобеля хвост колечком, и он летит за версту вперед… Зато стоит хозяину повернуть обратно, — и кобель уже заскакивает в новом направлении…

— Ха-ха! Резко, но остроумно… Действительно смешная крайность…

— Крайность, конечно, но вовсе не смешная. Земству теперь едва удается отстоять свои школы от резвого натиска… Да, брат, вот тебе и увлечение. Прежде мы смеялись над фортепиано, но жизнь шла к просвещению, к равноправию, к законности…

— А теперь?

Василий Иванович посмотрел на Семена Афанасьевича своим умным и несколько печальным взглядом и ответил задумчиво:

— И теперь жизнь… идет к тому же… Но мы-то идем ли с нею?.. вот вопрос…

— И с такими взглядами, — растерянно спросил

Семен Афанасьевич, — ты все-таки… пошел?..

— Пошел, брат… Двадцать лет я был мировым судьей в своем участке… И мне не хотелось, чтобы тут же… у меня… на моей ниве Смурыгин насаждал свои березки или Заливной закрывал мои школы…

— До этого не дойдет! — сказал Семен Афанасьевич горячо…

— Может быть… — вяло ответил седой господин и отвернулся. А в это время к ним подошел губернатор и опять стал пожимать руки Семена Афанасьевича и поздравлять с «возвращением к земле, к настоящей работе»… Но умные глаза генерала смотрели пытливо и насмешливо. Семен Афанасьевич немного робел под этим взглядом. Он чувствовал, что под влиянием разговора с приятелем юности мысли его как-то рассеялись, красивые слова увяли, и он остался без обычного оружия…

И он чуть было не выпалил прямо в лицо подошедшему:

— Да, вот… А теперь — что же мы видим?

……

Поле, дорога, звон проволоки, зной и обрывки ленивых мыслей тянутся, как облака, друг за другом… Путаются, сливаются. Опять прошлое,

потом туман, из которого выплывает кусок тракта, обсаженного березками. Полотно заросло травой, пыльная узкая лента как-то осторожно жмется то к одной стороне, то к другой; видно, что весной здесь езда самая горькая… И в уме Семена Афанасьевича возникает вдруг четверостишие старого «земского поэта»:

Земство, с нас налоги
Ты дерешь безбожно;
Почини ж дороги:
Ездить невозможно…

Он долго повторяет стихи под стук колес и потряхивание тарантаса. К этому времени тарантас тихонько спускается в дол и стучит по мосту, а мысль седока так же тихо переползает дальше.

«Мост новый, вообще мосты, кажется, стали лучше, а все-таки! Земство, земство! Кричали, горячились. Между тем что же из этого вышло?.. Мосты лучше, и только. Нельзя же в самом деле, все одни мосты да мосты! Нужно что-нибудь живое. Школы еще? Народное образование?.. Да-а… конечно, нельзя не отдать справедливость… Но, однако… вот Заливной против школы. Это странно, разумеется, но если хорошенько подумать… Это тоже своего рода течение… Что такое эта

земская школа? Полузнание, а ведь в самом деле полузнание хуже незнания… Да, да, возможна и та точка зрения, возможна, возможна… А кто бы мог подумать это, когда сам Заливной требовал фортепиано… Да, скучная эта дорога, когда она кончится?.. Опять мосток… Скоро ли станция?.. Да, вот… что же из всего этого вышло?»

Летят облака, шуршат колеса, старый господин начинает потряхиваться, точно мешок с мякиной, его глаза закрываются…

Старый господин засыпает…

IV

Девушка не спит, и у нее в голове свои мысли.

Она — одна дочь у отца. Как цветок из семени, занесенного вихрем на чуждую почву, — она как-то неожиданно для рассеянного Семена Афанасьевича родилась в швейцарском отеле, первые годы жизни провела за границей, потом попала в отель на Малой Морской, откуда ее мать вынесли в белом гробу, чтобы увезти на кладбище в деревню. После этого девочка росла у бабушки в Финляндии, и это было самое счастливое время ее жизни. За этим она вспоминает скучные годы и казенные дортуары института, а потом — так как бабушка умерла — несколько лет с отцом. Это

было самое тяжелое время ее жизни.

Молиться учила ее старая няня Анфиса, выносившая еще ее мать. Она складывала ей пальчики для крестного знамени еще там, в швейцарском отеле; на Малой Морской она выучила ее «Богородице» и заупокойной молитве по матери, которую научила любить и помнить… В то время, как подруги предавались обожанию учителей, Лена Липоватова лелеяла в душе культ умершей матери. Это было настоящее обожание, мечтательное, страстное, полное грусти и какой-то странной надежды. Она выучилась рисовать, чтобы рисовать портреты матери, она с захватывающим интересом читала старые повести и романы, где изображался быт того времени, когда жила ее мать, та обстановка, в которой проходили ее молодые годы. Это были не всегда хорошие романы, но она читала между строк, и на нее веяло с пожелтевших страниц особенной поэзией дворянской усадьбы, жизни среди полей, среди народа, доброго, покорного, любящего, как ее старая няня… среди мечтательного ожидания… И в то самое время, когда ее отец собирал у себя несколько сомнительное «блестящее» общество, — девушка забивалась со старой няней в дальние комнаты и под жужжание речей и

тостов, доносившихся сквозь стены, слушала старые седые предания о тех годах, когда мать ее бегала по аллеям старого барского дома, окруженная, как сказочная царевна, заботами нянек и мамок… У нее не было для сравнения ничего, кроме отелей и института, — она принадлежала к поколению, родившемуся после исхода из Египта и не достигшему никакой обетованной земли, росла в случайной обстановке, совершенно лишенная в действительности того, что мы называем средой. Мудрено ли, что она создавала себе среду в юном воображении из обрывков воспоминаний о матери, получаемых от старой няни.

Молодость романтична… А что может быть романтичнее исчезнувшей старины, которая была настоящим для наших матерей и отцов. Девушка жадно слушала, как шамкали старые нянины губы о ее красавице маме, которую унесли в белом гробу из противного петербургского отеля в родную деревню… И прошлое вставало перед ней с какой-то манящей прелестью, то прошлое, когда в усадьбах вырастали заколдованные царевны, ждавшие своих героев, когда в них жили блестящие господа, когда они съезжались в прекрасных домах, окруженных парками… В парках звонко

гудят рога, появляются и исчезают блестящие тени, сверкают глаза… Любят, страдают, вздыхают, дерутся на дуэлях (как некогда отец… когда он был совсем другим). Порой ей казалось, что она видит все это: так живо действовали эти рассказы… Белая стена дома, темная, мечтательная зелень деревьев, по которым любовно скользят серебристые лучи месяца, красноватые снопы света из окон, причудливая балюстрада балкона, заглушенные звуки штраусовского вальса. Дверь открывается, в фантастическом двойном освещении появляется «она», ее мама, а может быть… и она сама… Она глубоко вдыхает в себя ароматный воздух ночи, а около нее сидит ее избранник, такой, каким проезжий живописец изобразил отца на юном портрете масляными красками… Мечтательные глаза, мягкие усы колечком, стройный стан, и что-то фантастическое перекинуто через левое плечо.

Лена очень обрадовалась, узнав, что теперь подошла новая реформа и ее отца зовут опять туда, где родилась, где жила, где любила ее мать, где она лежит в могиле… Лена думала, что она тоже будет жить там и после долгих лет, в которых, как в синей мреющей дали, мелькало что-то таинственное, как облако, яркое, как зар-

ница, — ляжет рядом с матерью. Она дала слово умиравшей на Песках няне, что непременно привезет горсточку родной земли на ее могилу на Волновом кладбище.

В это время в Петербурге давали драму, в которой чуткий к современным веяниям драматург вывел нового героя — молодого земского начальника. Над драмой смеялись, но Лена приехала домой в опьянении. Герой приезжает из недр деревни, чтобы отыскать в Петербурге правду для обиженного народа. Они были крепостные его отцов, холодный, суровый закон против них — но он, благородный сын благородных родителей, повинуясь лишь указаниям благородного сердца, поклялся защитить их во что бы то ни стало от сурового закона, которым всегда пользуются дурные люди. С этой целью он обивает пороги высокопоставленных лиц, ходит по канцеляриям, заводит нужные знакомства и даже в бальной зале, под звуки оркестра, выделывая ногами изящные па кадрили и красиво перегибая тонкий стан в изящном фраке, он говорит «ей», уже любимой, о них, о бедном, добром, страдающем народе…

Она вернулась домой влюбленная. В кого? Конечно, не в актера, исполнявшего благородную

роль, а в свою мечту об этом герое, воплотившем для нее все то неясное, что рисовалось ей назади, в этом романическом прошлом. И когда ее кузен, либерал и скептик, позволил себе посмеяться над пьесой и над романтическими мечтами Лены, она спорила долго, горячо, чуть не до слез.

— Вы не знаете, — закончила она. — Сам народ думает так же… Жаль, что вы не знали мою няню…

И вот она с отцом в губернском городе, где его задержали какие-то хлопоты по утверждению в должности и еще что-то такое неприятное в банке. Грязный номер грязной гостиницы, скука и непонятные разговоры. Порой к отцу собирались его старые знакомые, порой приходили новые сослуживцы, толковали о статьях, о положении, о размере прав и обязанностей, о жаловании и разъездных, о смурыгинских березках. О последних говорили так много, что Лена заинтересовалась самим Смурыгиным. Впрочем, она была разочарована, когда отец представил ей «нашего молодого деятеля». Он был тощ, со впалыми щеками и впалой грудью, с тонкими ногами, которыми все как-то сучил, даже стоя на месте. За обедом он сказал речь, которую начал, обращаясь к Семену Афанасьевичу, словами:

— Ма-адое поколение, Семен Афанасьевич…

Он говорил еще что-то, потом чокался с Леной, но она ответила ему с непонятной для нее самой холодностью. Как будто этот господин претендовал на что-то такое, чего Лена инстинктивно ему не уступала. Нет, наверное, там, на месте, найдутся еще другие… Они окружат ее отца, они будут все вместе советоваться, как помочь доброму народу, как защитить его от сурового закона и злых людей… И папа никогда уже не будет возвращаться домой усталый и немного неприличный, как это бывало после этих противных «деловых обедов» и ужинов в петербургских ресторанах.

И вот она едет и жадно вглядывается вдаль и ищет: где же эти таинственные усадьбы и парки, где эта обетованная земля, на которой воочию предстанет перед ней мечта ее жизни… Поля, колокольчик, порой засинеет лесок, облака двигаются бесшумно с какой-то важной думой, и отец, вздрагивая, спрашивает:

— Да. А теперь — что же мы видим?..

V

Дороге, казалось, не будет конца. Лошади больше махали головами по сторонам, чем бежали вперед. Солнце сильно склонилось, но жар не

унимался. Земля была точно недавно вытопленная печь. Колокольчик то начинал биться под дугой, как бешеный и потерявший всякое терпение, то лишь взвизгивал и шипел. На небе продолжалось молчаливое передвижение облаков, по земле пробегали неуловимые тени.

Тарантас взобрался на пригорок, скатился с него, застучал колесами по гулкому мостику. Теперь у самой дороги, взрытой до горизонта, как бархат, лежал черный пар. Недопаханные, лишь кое-где зеленели еще узкие полоски. Одна из них подходила к дороге, но и она становилась все у́же: на ней вихлялись за сохами две серые, лохматые и запыленные мужицкие фигуры. Один из пахарей удалялся наискосок от тракта, другой подходил к проселку лицом к нашим путникам. Его лошадь, надсаживаясь, дотягивала борозду, а пахарь внимательно поглядывал вперед.

Вдруг лошадь стала выходить из борозды: прямо перед ее мордой оказалось небольшое, тощее, очевидно недавно посаженное, деревцо, с верхушкой, уже наполовину увядшей. Пахарь дернул вожжой, придержал соху, деревцо втянулось под гуж, изогнулось, попробовало вынырнуть меж оглоблей и вдруг сиротливо свалилось, подрезанное железом. Еще около сажени тянулось

оно, зацепившись веткой, наконец осталось на пыльной пашне. Мужик оттолкнул его лаптем и стал вытряхивать лемех.

Силуян, с любопытством глядевший на все это, придержал лошадей.

— Ты что ж это, дядя… больно смело ее выволок? — сказал он с какой-то особенной нотой в голосе. — Ай отменили?

Мужик поднял кверху красное потное лицо и усмехнулся… Но, увидев на проезжем барине кокарду, стал вдруг серьезен и задергал лошадь, не дав ей щипнуть былинку у дороги… Вдоль проселка лежали вывернутые сохой березовые саженцы… Только пять-шесть еще сиротливо стояли, наклонясь и увядая…

Силуян вынул из кармана кисет и, скручивая цигарку из газетной бумаги, сказал как бы про себя, качая головой:

— Отменили, видно… А ведь что склеки-то было… Не приведи господи…

— Обрадовались… дураки! — проворчал Семен Афанасьевич с неудовольствием. — Ну поезжай, что ли.

— Что это, папочка? — спросила Лена, удивленная тем, что отец и ямщик говорят об этой немой сцене как о чем-то понятном для обоих.

Сама она не умела читать эту огромную книгу с синею далью, с летучими тенями облаков, с разноцветными лоскутами полей, по которым там и сям ползали люди и животные… Крик вороны, щебетанье жаворонка, шорох берез, медленное движение облаков, надрывающиеся на пашне лошади, мужики с потными лицами, в грязных рубахах, земля, чернеющая следом за сохой, беспомощно падающие деревца — все это сливалось для нее в общий фон, все казалось одинаково на своем месте, навевая только какие-то смутные ощущения, но не мысли…

— Оно, скажем так, ваше благородие, — говорил ямщик, обмусоливая свою цигарку, — оно ведь и дуракам своего-то жалко.

— Что это, папочка? — спросила опять Лена, вглядываясь, как мужик повернул соху и стал удаляться, ведя новую борозду по другому краю полосы. Новое деревцо, уже наклонившееся к земле, попало под железо, судорожно метнулось, задрожало и тихо свалилось на пашню…

— Это… — ответил Семен Афанасьевич на вопрос дочери, — те самые… ну что в городе говорили: смурыгинские березки.

— Так точно, барышня, — пояснил и ямщик, равнодушно чиркая спичкой по облучку.

Лена с интересом оглянулась на полосу пара. В городе ей надоели разговоры об этих березках, о том, имел или не имел права Смурыгин садить их по дорогам, правильно ли поступило какое-то присутствие, отменив его распоряжение. Теперь все эти отвлеченные разговоры приняли осязательную форму: черная полоса, ряд срезанных березок, фигуры пахарей, с каким-то ожесточением выворачивающих неповинные деревца, и насмешливое злорадство в голосе ямщика.

Лене стало жаль и деревьев, и молодого Смурыгина, которого она видела в последний раз несколько сконфуженным.

— Зачем же они это делают? — спросила она в недоумении.

— А потому, — пояснил уверенно Силуян, собирая вожжи, — что никак невозможно. Выходит — нет такого закону… Закон, значит, милая барышня, на хресьянскую сторону потянул…

Семену Афанасьевичу не понравилось что-то в словах ямщика, и он сказал с непонятным Лене раздражением:

— За-акон! То-оже законы разбирать стали? Вот ты про Аракчеева пел… Он бы вам показал законы…

— Верно! — одобрительно сказал ямщик… —

Тот сурьезный был…

— То-то сурьезный!.. С вами, подлецами, иначе и нельзя…

— Ах, папочка! — сказала Лена укоризненно. Ей не нравился этот тон: в Петербурге она никогда не слышала от отца ничего подобного, наоборот, он был истинный джентльмен в обращении с «низшими». Но он легко перенимал, и она подумала с неудовольствием, что он вывез этот тон из города, от этих господ, с которыми вел частые беседы. Конечно, с березками мужики поступают нехорошо. Но ведь это только по невежеству… Им надо растолковать… Вообще, там, в Петербурге, она иначе представляла себе будущее отношение к «доброму народу», и тот «местный колорит», который приобрела так скоро речь ее отца, резал ее чуткое ухо.

— Прости, Леночка, но… я не могу говорить об этом спокойно, — сказал Семен Афанасьевич и, понижая голос, прибавил: — Ну, он, конечно, увлекся… Укажи, сделай молодому человеку дружеское замечание… На это есть предводители. Но нельзя же так… ронять авторитет власти… Раз уже сделано…

И, опять повысив голос, явно для ямщика, он сказал с новым раздражением:

— Зимой сам же, б-болван, поедет пьяный с базара, в метель… так, по крайней мере, не собьется куда-нибудь в овраг.

— Зимой, ваше благородие, этто не ездиют, — спокойно ответил Силуян. — Зимой другая у них дорога живет, прямиком через реку.

Семен Афанасьевич заморгал глазами, как всегда, когда бывал в затруднении, но Лене стало обидно за отца, и она не хотела сдаться.

— Ну хорошо, — сказала она. — Что же им все-таки помешали деревья? Раз они уж посажены.

— Посадишь, милая барышня! Тут что греха-то было, не приведи бог! Старшин по семи ден каталажил, а старостов этих и не есть числа…

На лице Лены выразилось напряжение, а Силуян, придержав лошадей, указал на узенькую ленту проселка, казавшегося белой полоской на матовой черноте пара.

— Э-э-вона, — сказал он своим певучим голосом, — во-он куда она, матушка дорожка-те, вдарила во всю тебе степь.

Брови девушки поднялись еще выше.

— Ну так что же все-таки?..

— Да ведь земли-то, ты подумай, сколько под ее нужно. А ведь она, земля-те, хрестьянину дороже всего. Клади хоть по саженке, да длиннику эвона.

Ведь она, дорога, не гляди на нее… встанет, до неба достанет!.. Так-то. Да еще деревина-те в силу взойдет — опять корнем распялится. Обходи ее сохой!.. Да нешто это мыслимо…

— Папочка? — полувопросом кинула девушка, но отец не ответил.

— Так отчего же они ему не сказали?

— Чего это?

— Да вот, что ты говоришь… Они бы так и сказали Смурыгину…

— Как, поди, не сказывали! Да вишь — он все за бороду…

— Папочка!

Старый господин сидел с закрытыми глазами. Лошади немного припустили с горки, тарантас покатился быстрее, и опять за ним увязался клуб белой пыли, в котором толклись оводы, и опять потянулась пустота, томление, зной… Старый господин вскоре действительно заснул.

VI

— Далеко ли еще, ямщик?

— Верстов еще с десяток будет.

— А дождем нас не промочит?

— Дай-то господи! Солнышко-то, вишь, в хмару садиться хочет… Прогневался господь на право-

славных. Прошлый-те год измаялся народишко, беда! А ноне, гляди, еще хуже будет. Хлеб горит. Вот кабы помиловал господь — да нет, только дразнит… Ходят тучи, слоняются по небу, а что толку.

Он поглядел кругом и вдруг, сняв шапку, перекрестился.

— Кажись, в нашей стороне пало уж… Умолили, видно… Э-э-вон, гляди, потемнело… В аккурат над Липоваткой придется…

Силуян не заметил, как лицо девушки вспыхнуло и опять побледнело.

— Липоватка?.. там?.. — спросила она. — И ты оттуда?..

— Оттеда… Липоватовские мы, господские были…

Широким жестом он взмахнул кнутовищем, как бы охватывая взмахом весь видимый простор, и сказал:

— В старые-те годы этто все — помещичье было. Что видишь поле, что видишь леса и луга, все было ихнее… Бестужевы — в Бестужевке, Кроли — в Анучине, Липоватовы на Липоватке, Егоров на Осиновке, Медигорский в Елховке…

Лена с удивлением оглянулась кругом… Певучий голос ямщика мгновенно населил этот

пустой простор целым роем знакомых ей с детства имен. И Кроли, и Анучины, и Медигорские — все это жило в рассказах няни, все эти имена она знала по семейным преданиям, видела их портреты, знала их характеры и семейные отношения. Где же они? На равнине где-то далеко белела усадьба, где-то еще чернела деревенька, казавшаяся просто кучкой темных пятен, синели остатки вырубленных рощ… Было тихо и пусто, но ей казалось, что эта чуткая пустота оживает, что вот сейчас Кроли поедут в Липоватку и Бестужевы в Анучино и встретятся ей на дороге, веселые, оживленные, радостные… Но она протирала глаза и не могла понять — где же все это затерялось в этом молчаливом просторе…

— А ты… Елену Степановну знал? — тихо и как-то застенчиво спросила она.

— Это младшего-то барина, Семена Афанасьевича, жену? Помним. Красавица была, царствие небесное… Померла. Давно. Вот уж жалости было, как на деревню ее привезли… Бабы, что есть, голосом голосили…

У Лены на глазах показались слезы. Вот то, чего она ждала, прозвучало наконец в словах простого, доброго человека! У нее на мгновение захватило горло, и только через минуту, справив-

шись с волнением, она спросила застенчиво и тихо, чтобы не разбудить отца:

— Значит, они… хорошие были? И вам было хорошо?..

Ямщик помолчал, ласково погладил кнутом коренника и ответил:

— Господа ничего… что ж господа… известно… Бурмистры вот шибко примучивали!

— При-мучивали? — спросила Лена, пораженная неожиданным выражением.

— И-и, беда! не дай бог, как мучили.

Он слегка повернулся, свободно отпустил вожжи и задумчиво, как будто не обращаясь к Лене и отдаваясь воспоминаниям, говорил своим выразительным, слегка растроганным голосом:

— Женщина, например, тетка, у меня была, безмужняя, вдова. Муж у ней, значит, помер, скончался. А ребят полна изба. Встанет, бывало, до свету божьего — где еще зорька не теплится… А летняя-то зоря, сама знаешь, какая! Бьется, бедная, бьется с ребятами, а где же управиться… За другими-те и не поспеет.

— Куда не поспеет? — простодушно спросила Лена.

— А на барщину… Значит, на господ работали… Царь Александр Николаевич уничтожил. Вот

хорошо: запоздает она, а уж нарядчик и заприметил… докладывает бурмистру… «Поч-чему такое? А?..» — «Да я, ваше степенство, с ребятами. Неуправка у меня…» — «Ла-адно, с ребятами. Становись. Эй, сюда двое!» И сейчас, милая ты моя барышня, откуль ни возьмись, два нарядчика. И сейчас им, нарядчикам, по палке в руки, по харрошей. Дать ей, говорит, десять… или, скажем, двадцать…

— Папочка, — раздался тихий голос, как будто искавший защиты.

Силуян оглянулся.

— Спит, не трог. Дело старое. Ну хорошо — дать ей двадцать. Сейчас она, милая моя, стоит; один нарядчик с одной стороны, другой, например, по другую сторону и накладывают ей между спины наотмашь.

Он неторопливо поднял кнут и показал Лене кнутовище.

— Между спины-те рубцы вот в это кнутовище. Ну ступай теперь, милая, становись в череду, работай, жни.

— Жни? — машинально повторила девушка и беспомощно оглянулась кругом. У дороги опять шептала рожь, и томительная печаль, нависшая над всем этим пейзажем, казалось, получала

свой особенный смысл и значение… Эти поля видели это… Лена глубоко и тяжело вздохнула, как человек, который хочет проснуться от начинающегося кошмара.

Ямщик услышал вздох и, повернувшись, поглядел сочувственно на бледное лицо девушки. Ему захотелось ее утешить. А так как он был поэт, то чувствовал, что это в его власти.

— Постой, что я тебе скажу. Терпели православные, верно, что терпели. Так ведь господь-то батюшка, он-то ведь не терпел этой пакости! На немилостивых-те людей у него, барышня моя, есть сделанной ад-тартар…

Он взмахнул рукой, проваливая немилостивца в тартар, но лошади поняли иначе это движение, и пристяжка первая рванулась так нервно, что чуть не оборвала постромки. Тарантас дрогнул, в лицо девушки пахнул поднявшийся ветер, пробежавший над побледневшими полями.

— Гляди, потемнело, — сказал Силуян, — никак в самом деле дождь идти хочет к вечеру. Вишь, и солнца не стало, а все парит, ровно в печи… Ну, мил-лые… иди ровней! Раб-ботай…

Тарантас встряхнулся, заболтал колокольчик, лошадиные спины заскакали живее. Между тем на небе, казалось, действительно что-то надума-

но. На горизонте все потемнело, солнце низко купалось в тучах, красное, чуть видное, зенит угасал, и туманы взбирались все смелее и выше. Шептали березы, шуршали тощие хлеба, где-то в листве каркала одинокая ворона.

Девушка сидела задумчивая и побледневшая. Она не могла хорошо разобраться в своих ощущениях, но ее неудержимо тянуло к разговору. Силуян, как это тоже часто бывает у поэтов, почувствовал каким-то инстинктом, что он имеет успех: лицо у него стало уверенное и довольное. Он замедлил ход тройки и повернулся опять.

— Прокатил бы я тебя, милая барышня, — место ровное, да папашка-те у нас спит. Вишь, разомлел.

Он как-то оскорбительно фыркнул на спящего. Фигура и голос его показались Лене неприятными и наглыми. Но через короткое время она вспомнила, как была тронута его рассказом о похоронах матери, и ей захотелось вернуть это мелькнувшее впечатление.

— А что же она… тетушка твоя, господам не жаловалась?

Ямщик лукаво покачал головой.

— Да, вишь, они, господа-те, в етаже жили, высоко…

— В этаже?

— То-то в етаже. Людишки-те толкутся внизу, он и не видит… А может, и видит. Хитрые они тоже, господишки-те.

Он засмеялся, как показалось Лене, довольно противно, в бороду, и покачал головой в скверной шляпенке.

— Хит-рые? — переспросила девушка упавшим голосом.

— Хи-итрые! Что ты думаешь, — ответил Силуян простодушно. Он чувствовал, что овладел слушательницей, и соответственно с этим в нем самом выросло вдохновение былинщика…

— Послушай, милая барышня, — заговорил он после короткого молчания. — Я тебе сни-сходительно расскажу, какое у нас дело вышло… Стало быть, перед волей это было, не в долгих годах, — триденную барщину изделали: три дни чтобы на барина работать, три дни на себя, воскресное дело — господу богу. Хошь — молись, хошь — кверху брюхом лежи… Вот, милая ты моя, хорошо. Значит, люди по всем местам так по три дня и работают. А нас в Липоватке все по четыре дня гоняют… Гоняют, милая ты моя, да мучат… Бурмистры да нарядчики… дохнуть не дают…

… Говорил я тебе, ай нет про Деминых? Два

брата были: варвары, тираны, немилостивцы, хррапоидолы! И, стало быть, за тиранство за свое получали от господ всякое удовольствие. Дети на барщину не ходят, да еще по два тягла мужиков на них, на варваров, радели… Помирать аспидам не надо. Ну и старались. Семен это — который женщину в два кнута тиранил. Другой брит, Василий, тот больше по лошадиному делу докучал. Выгонит зимой или осенью молотить в три часа, да до самого вечера все молотим. Об себе не столь тужили, сколь много лошадьми убивались. Вот возьмешь соломки ей да тут же и присыплешь. Сейчас увидит нарядчик — к Ваське Демину… Тот тебе двадцать…

… Ну хорошо. А село наше, знаешь, на большой дороге, на Саровской, идут богомольцы богу молиться — все мимо нас. Зайдут в поле или на ригу посмотреть, только головами качают. Потому что — странний человек по свету ходит, понимаешь ты, знает всякую штуку. Жалели нас, конечно. Что такое — в прочих местах, например, один закон, у вас другой. Ну, мол, потерпите. Скоро этому делу конец видится. А мы, милая барышня, что коняга заморенная, которая, например, из борозды не выходит, не могли верить: пустяки, мол, все, дело это вековечное, и детям терпеть

же надо… Ну, только братану моему, Николаю Перцеву, да еще Ивану Егорову и запади те людские речи прямо на сердце. Вот, милая, один раз… выгнали по три дня на барщину, по четвертому гонют, да раным-рано, до солнечного восходу. А братан с Егоровым, как вышли в поле, стали посередь миру и говорят: стой, миряна, никто за работу не берись, смотри, что будет… Ну, мир стал, нарядчики туда-сюда, никто ничем… все сгрудились, стоят в сумерках; и расходиться не расходятся, и работать не работают — как вот все равно стадо перед грозой… Слышишь, милая, какое дело?

Напоминание было лишне. Девушка слушала с затаенным дыханием, и в ее воображении, под влиянием этого выразительного грудного голоса, рисовалась картина: на таких же широких полях, в темноте, перед рассветом, стоят кучки людей и ждут чего-то. Она еще не знает чего, но чувствует, что ждут они какой-то правды, которая не имеет ничего общего с миром ее мечтаний…

— Слышу, — ответила она тихо.

— Ну, стоят… Что, мол, будет?.. Как тут стало и солнышко подыматься… Показалось из-за лесу… Все глядят: что же, мол, еще?.. А братан мой, Перцев Николай, да Егоров Иван вышли, покре-

стились на свет божий и говорят: «Смотрите, мол, миряна: вот солнышко всему хрещеному миру засияло, как, например, прочим селам с деревнями, так и нашей Липоватке… Так ли, мол, миряна?» Ну, все, конечно, говорят: «Так! Это есть справедливо!», «Почему же такое для всех закон триденная барщина, а нас все по-старому гонят». Да как гаркнет вдруг: «Не ходи, миряна, в нашу с Иван Егоровым голову — не ходи на четыреденку!» Миряна поглядели на солнышко, а уж оно, милое, и вовсе из-за лесу выходит. «Кабыть, говорят, Перцева да Иван Егорова правда. Всем солнышко божие светит, всем и закон дается». Вот как солнышко-те все выкатилось, мир, знаешь, и качнулся. Не идем на четыреденну барщину. Айда по своим полосам! Нарядчики туда-сюда! «Что вы, миряна, бунтуете, что бунтуете?» — «А то и бунтуем, что нет вам закону!» Ну, сейчас нарядчики к бурмистрам, бурмистры к барину, так и так: Перцев да Егоров народ взбулгачили. «Пад-дать их сюда, па-адлецов эдаких!»

Лена вздрогнула. Дребезжащий, хотя и высокомерный тон, каким была произнесена последняя фраза, не оставлял сомнения, кому принадлежал этот голос, хотя она слышала его только раз, в Петербурге, незадолго до смерти дяди.

— Ну, взяли моего братана с Иваном, скрутили хорошим манером, да на поселение… Вот-те и солнышко! Конечно, стало быть, и пошло у нас по-старому, и не стали мы странников даже и слушать… Только через год ли, два ли, приходит от братана письмо. Что же ты думаешь: требует к себе на поселение законную супругу. Это, говорит, у вас Сибирь, а не здесь. Я, говорит, владаю себе, например, землей, сколь вспашу, лес, что вырубил, мое! Коси, куда сама коса пойдет. Посылайте мне, говорит, сюда законную супругу Евдокею, и вот шлю, напримерно, столько-то бумажек. Тут уж, что у нас подеялось, и сказать тебе не могу. Качнулся тут мир опять: не идем да не идем на четыреденку. Всех на царское поселение отправляй, к Перцеву! Ну, уговаривали, молодой барин приезжал, Семен Афанасьевич…

Лена со страхом оглянулась на отца. Он спал, прислонившись к сидению.

— Чудной! — усмехнулся Силуян. — Вышел на крылец, поклонился на все стороны. «Я, говорит, православные, во всякое время, говорит. Я за вас, говорит, и бумагу подписал, а что касающее этого дела — не могу. Старший брат у меня…» Так ни с чем и отчалил. Ну, да мы все-таки отбились… Вот видишь ты, милая барышня, господь-то чего уду-

мал. Они, значит, так полагали: пропал Перцев, а Перцев-то во! Жену вытребовал… А вот вороги-те наши извелись… Пришла, значит, воля, народу свет открылся, а Демина Семена паралик расшиб, налетной. Все одно — вихорь!.. Другого брата, Василия, который насчет лошадей тиранил, лошади же и прикончили. Пошел с базару пьяный, да вот никак здесь же на этой дороге упал, уснул. Народ идет, песни поют, праздничное дело веселое. Кто лежит? Васька Демин лежит. Не трог, лежит. Ну, приходит вечер. И приходит, милая ты моя, вечер — откуда тут ни возьмись, вон с пригорочка, с этого — трри трройки! Летят, все одно тот же вихорь. И ведь подумай ты себе: лошадь, она ведь тварь разумная — человека обегает. А тут, гляди ты, на него пррям-ма! Копытом в голову, рраз! Колесом кованым па м-морде. Разбили, раздребезжили — умчались. Вот смотри же ты, пожалуйста: от лошадей идол сам себе получил дурную смерть на дороге, об вечерней поре. А ночью-те буря, да ветер, да стон тебе, да свист. И-и! Что было. А наутро пошел народ, глядит: лежит Васька, демоны и душу вынули. Стали спрашивать, стали сыскивать, чьи да чьи тройки? И троек таких тыщу верст на примете не бывало. Поняла ты эту причину?.. И семя поганое тоже опять извелось…

Н-но, дьяволы!..

Он тряхнул вожжами, но как-то так, что лошади нисколько не прибавили шагу. А сам опять повернулся и, указывая кнутом вдаль, где под лесом белели здания чьей-то усадьбы, сказал:

— Э-вон, Осиновка… Перфильева барина была когда-то… Ну, немилостивец тоже был… У этого у живого живот лопнул.

Лена встрепенулась. Подавленная печальными видами и мрачными рассказами, она вдруг как бы очнулась от гипноза:

— Про какого Перфильева ты говоришь? Ивана Павловича?

— Верно… Он самый!

— Ну, значит, неправда, — волнуясь, заговорила Лена. — И, значит, все ты неправду говоришь.

— Убей меня бог… Кого хошь спроси…

— И неправда… и не клянись… Я сама Перфильева помню, и ничего это не было, и умер он просто от тифа… И было это не очень давно…

Лена говорила горячо и с таким убеждением, что Силуян невольно покорился. Он с некоторой досадой подхлестнул пристяжку и потом спросил:

— А где его хоронили, когда вы знаете?

— А хоронили в имении.

— Ну верно.

Он грустно помолчал и сказал с убеждением:

— Ну, стало быть, у мертвого у него живот расперло, вот как, милая: у мертвого. Это верно!

Лена беспомощно откинулась на подушку. Она была глубоко оскорблена и обижена, и ей хотелось плакать. Она еще не сознавала ясно, что у нее так болит и какие опустошения произошли в стройном мире ее фантазий. Ей казалось только, что она оскорблена за отца, за дядю, за фамильярность, с какой ямщик отзывался о спящем, наконец, за ту возмутительную ложь, на которой она его поймала…

И ей показалось, что самая природа насупилась и загрустила еще больше. Черта между землей и небом потемнела, поля лежали синие, затянутые мглой, а белые прежде облака — теперь отделялись от туч какие-то рыжие или опаловые, и на них умирали последние отблески дня, чтобы уступить молчаливой ночи… Они тихо скучивались, вздымались, громоздились в возрастающем беспорядке и тревоге… Кое-где, как будто в изнеможении, шевельнулись еще столбами последние лучи солнца и угасли, закрытые туманными массами, поднявшимися до самого зенита. Мглистые тучи колебались, меняя очер-

тания, живые, изменчивые, зловещие…

И вдруг, откуда-то издали, отрывисто и глухо раскатился гром.

Ямщик остановил лошадей, сволок свою шляпенку и перекрестился. Лошади стригли ушами, отдельные тренькания колокольчика боязливо и жалостно тонули в ближней лощине, стая ворон молчаливо пронеслась над березками тракта, и Лена глядела, как черные точки слились с низкою тучей. На побледневшей зелени, на потускневших очертаниях полей лег отпечаток общего испуга и ожидания… Семен Афанасьевич сидел с открытыми глазами, как будто вовсе не спал, но ни Лена, ни ямщик этого не заметили. Тройка опять тронула по дороге. Слепни и оводы исчезли. Седок опять закрыл глаза.

В расколыхавшемся воображении Силуяна пробегали образы, на которые пала теперь угрюмая и мрачная тень этого вечера, сменявшего томительный день, и он не хотел упустить из своей власти внимательную слушательницу.

— Ну хорошо, — сказал он, не поворачиваясь, — а с-под Илевого заводу барина, Панкратова, слыхали?

Лене было знакомо и это имя. В богатой семейной хронике, которую она заучила от няни, была

— правда, на дальнем плане — и эта фигура. Панкратов приходился дальней родней по матери, и Лена слышала о нем от отца и от няни. Хотя няня, тоже поэт в душе, клала на все самые мягкие краски, выделяя лишь светлые образы дорогого ее крепостническому сердцу прошлого, но и в ее передаче эта фигура рисовалась некоторой тенью… Панкратов был когда-то заметным в столице красавцем, из тех, которым по странной игре судьбы не везет, несмотря на все внешние шансы, именно у женщин. В Петербурге невеста отказала ему перед самой свадьбой, чтобы выйти потом за самого заурядного фата. Тогда он уехал в деревню и здесь, частью по любви, частью из гордости и мести, женился на крестьянке-красавице, своей крепостной. Через два года она изменила ему с доезжачим… Он хотел убить обоих, но нашел в себе силы простить ее, а доезжачего только отдал в рекруты. Неблагодарная красавица, не выдержав и года после этого, убежала с ремонтером… Тогда Панкратов возненавидел людей, стал мизантропом и всю свою нежность отдал животным. Перед эмансипацией у него было какое-то бурное столкновение с крестьянами, сущности которого Лена не знала, и администрация прибегала к практиковавшемуся тогда выселению

из имения до окончания выкупа. Тогда он совсем оставил Россию и умер старым мизантропом в Ментоне. Лена видела его портрет: лицо как у мумии, и черные, горящие каким-то особенным блеском глаза. Она прощала ему человеконенавистническое выражение этих глаз. «У него было нежное сердце, оскорбленное людьми, — говорила она, — и он много страдал».

— Он очень любил животных, — сказала она на вопрос ямщика.

— Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей тиранил.

— Люди сделали ему много зла, — сказала Лена мягко.

— Люди? Нет, люди ничего. Жена сбежала, это верно. Крестьянку взял, крепостную, а она, значит, с офицером укатила. Правда, с этих пор озверел. «Я, говорит, ее из низкости вывел… Когда так, говорит, то я всему ее племю себя покажу. Хуже собак мне мужики теперь…» Ну и верно, что хуже собак сделал. Псарню построил вроде господского дома. И которые были у него самые любимые десять сук, и принесут, например, щенят, и сейчас он раздает их по крепостным женщинам. Которая, понимаешь, принесла ребеночка и имеет в грудях молоко — сейчас ей

собачары приносят щененка, стало быть, для воспитания…

— Неправда! — вскрикнула Лена, точно ужаленная.

— Убей меня бог, — равнодушно вставил ямщик и опять обратился к рассказу. — Ты вот послушай, что дальше-то, как господь-батюшка распорядился: через этого человека всем православным воля вышла… Вот был у этого барина крепостной человек на оброке, Алексеем звали. Уж вот был мужик разумный, да красивый, да удачливый, просто по всей вотчине молодец первейший. И имел у себя молодую жену. Он-то красив да пригож, а она и того лучше — поищи этаких двух по всему свету белому, ан и не сыщешь. Имуществом тоже бог не обидел: из хороших семей оба, достаточные. Ну, только и имел этот Алексей в себе маленичко гордость. Вот приходит ему, Алексею, в дальний извоз итить, а жена у него остается на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом, знаешь, по степе. Идут, ночное дело, возы скрыпят, обозчики, разный народ, со всех, может, мест, рядом идут да промежду себя разговор ведут. Известно — дело дорожное, как и мы вот сейчас: где какие, например, народы проживают, где какой обиход, ну и все такое прочее. А он, Алексей, идет с возами,

все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают: «Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами, товарищами, разговаривать не хочешь? Аль сам об себе высоко понимаешь, а нами брезгуешь?..» — «Нет, говорит, товарищи милые, сам я об себе не высоко понимаю и вами, товарищами, не брезгую. А то я, говорит, невесел по степе иду, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну, да это все ничего, до меня бы не касающее, а что вот завел дурную моду — щенят женскими грудями воспитывать». Вот и стали те люди, по степе идучи, то дело обсуживать. А в степе-то, знаешь, все вольные люди: который у себя дома, может, и крепостной, и тот в степе вольным казаком объявляется. Попадается, конечно, и служивый народ, отставные солдаты. Вот и говорят те люди Алексею: «Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше божьего?»

Вот и запади опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает: нет закону, да и нет закону! Хорошо! Приезжает,

ночное дело, домой, жена его не встречает, огня не вздувает, темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щеняты скулят. «Этто что такое?» — «А это, жена говорит, сына бог дал». — «А в углу что?» — «А в углу щеняты, сам понимаешь...» — «Ты-то понимаешь ли сама! Я этого терпеть не могу! Давай собачат сюда! — взял одного в руку, другого в другую, примял, да опять положил на месте. — Ну, говорит, молись богу за свой грех великий да бери младенца. Вишь, он у тебя в зыбке кричит».

А наутро нарядчики приходят, собачары: «Анна — показывай щенят, здоровы ли они у тебя!» — «Да они, мол, с чегой-то поколели». — «Как, оба?» — «Оба, мол, и поколели». — «Что за причина? Ну, дело не наше, барину доложим». А тут Алексей в избу входит: «Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричи, а щеняты у женщины груди сосут. Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видать!» — «А ты, Алексей, — собачар ему говорит, — больно-то не кричи. Не от себя пришли, барину доложим». Ну, конечно, пошли, господину и обсказали. Что же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как упокойников. Принесли их на холстах — ощупал. «Убиты, говорит, злодеем твари

невинные». И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велит для псарни овсянку готовить покруче. Все, бывало, так: овсянку готовили для всей псарни, ведер на сорок и более; овсянку сготовят, станут собак кормить, а он тут же в стулу сидит, смотрит да из своих рук подкармливает. Вот и на тот раз сел у котла, щенят на холстах рядом положил. «Позвать Алексея!» Пришел Алексей. «Видишь, говорит, невинно убиенных?» — «Вижу, мол. Да что ж, барин, на человека и то причина бывает, не то что на тварь животную». — «Ты им конец сделал, варвар?» — «Я им конца не делал, а что вот вы не по закону поступаете. Ребенок, хоть и мужицкое дите, все у бога человеческая душа считается. И должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите… Передохни они все у вас. И то народ глуп: всех бы передавить надо!» Как он эти слова сказал… снялся, милая ты моя, барин Панкратов со стула…

Он повернулся весь на козлах и впился своими глубокими глазами в испуганные глаза девушки… Она чувствовала какой-то надвигающийся ужас и хотела бы защититься от него, но была бессильна…

— Снялся он со стула, да ка-ак толкнет этого Алексея в грудь… Упал тот навзничь, да прямо…

голубушка ты моя!.. Барышня милая! Прямо головой-те… в котел…

— Ну? — вся вздрогнув, спросила Лена.

— Да что! Пикнуть не успел… Кинулись собачары, вытащили… весь обварился… Пошел по собачарам шум, пошла по дворне булга. А один собачар тому Алексею брат был… Кинулся в хоромы, схватил ружье… Барин к дворне, а уже дворня, понимаешь, волками смотрит. Вскипело холопье сердце…

……

— Папочка! — послышался надтреснутый, слабый голос Лены. Семен Афанасьевич очнулся и с удивлением взглянул на дочь.

— Папа, — со слезами в голосе заговорила девушка, — ведь он, Панкратов, в Ментоне умер? Ведь это… ведь это все неправда… Вот он говорит: убили его… и он сам…

Семен Афанасьевич вдруг накинулся на ямщика:

— Что ты тут наболтал, па-адлец! Вот погоди, вот я тебе покажу болтовню. Поезжай скорей, ска-атина!

Ямщик, удивленный неожиданным оборотом дела, подобрал вожжи, и опять левая пристяжка первая почувствовала на себе перемену в его

настроении.

Тарантас задребезжал и быстро покатился по потемневшему тракту. Колокольчик залился не на шутку, пристяжки изогнули головы, как змейки, березки убегали назад одна за другой, а между ветвей виднелись по сторонам те же поля, те же тучи… Кой-где в сумерках зажигались дальние огоньки…

Лена ничего не думала. Отец видел только ее бледное лицо и большие глаза…

VII

К станции они подкатили во всю мочь. Ямщик в эти полчаса обдумал все происшедшее и теперь старался угодить разгневанному барину. «Видишь, вот угодить хотел, а она и нажалуйся», — с горечью думал он про Лену. Со стуком и звоном тарантас подлетел к полосатому столбу, на котором висел зажженный фонарь, и лихо остановился на всем скаку.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, — сказал Силуян подобострастно, соскочив с козел.

Станция была освещена, а окна открыты. В окна виднелся самовар, какой-то военный надевал шинель и собирался: у крыльца его ждала тройка.

Лена прошла сначала в комнату хозяйки. Когда

она вошла с красными глазами в станционную комнату, ей прежде всего бросилась невзрачная фигура мужика, стоявшего у порога. Он был низок ростом, с короткими кривыми ногами, в старом армячишке. Он в замешательстве отряхал от пыли свою шляпенку и переминался с ноги на ногу. Семен Афанасьевич нервно ходил по комнате, а военный господин сурово молчал, укоризненно глядя на мужика. При входе Лены военный поднялся с места и бойко щелкнул шпорами. Это был бравый мужчина, с густыми торчащими волосами и прекрасными баками, искусно разделенными на две части. Он еще раз разгладил их обеими руками и, держа пальцами концы бакенов, низко поклонился:

— Честь имею представиться. Исправник Полежаев. Очень сожалею, что этот каналья ямщик доставил вам огорчение, хотя признаюсь… не знаю, чем могу… Власть Семена Афанасьевича… тут роль исправника прекращается… Если могу так выразиться…

Лена с удивлением посмотрела на него, потом на мужика у порога. Неужели это он, этот ничтожный мужичонка, довел ее чуть не до кошмара, неужели это у него такой выразительный, сильный, могучий голос… И эти мрачные рассказы…

неужели тоже его?

— Ах нет, ничего, — застенчиво и торопливо заговорила она, поняв сразу смысл этой сцены. — Папочка, ради бога… Не надо, не надо…

Исправник окинул ее умным взглядом. Он вообще довольно холодно встретил нового начальника и держался сдержанно. Поэтому он воспользовался настроением Лены.

— Ваше желание — закон… А ты, сказочник, пошел вон, да смотри у меня в другой раз!.. Теперь позвольте вас оставить, меня ожидает тут важное дело… Имею честь откланяться.

Через минуту Лена смотрела в открытое окно, как исправник уселся, причем какая-то темная небольшая фигура противно суетилась около тарантаса. Лошади взяли с места, и тарантас покатился между рядами берез в том направлении, откуда только что приехали наши путники. Скоро он превратился в темную точку, и только меланхолический звон колокольчика как будто перекликался все, подавая голос издали, из темноты, на освещенную станцию.

А в вышине все ходили тучи, в темноте пробравшиеся кверху и занявшие все небо… Но дождя все не было, чувствовалось только медленное передвижение, тревожная суета и все то же бессилие.

Порой только вспыхивала синеватая зарница, падая на уходящую вдаль дорогу с рядами бледных берез… Одна из таких зарниц осветила невдалеке старый запущенный сад, густая зелень которого будто грезила о чем-то в тишине этого загадочного вечера в виду надвигающейся грозы. Над зеленью возвышался только мезонин старого, оброшенного дома. Короткая вспышка еще раз осветила провалившуюся крышу, изломанную решетку балкона и открытую, может быть давно сорванную с петель, дверь мезонина.

Лена отчего-то вдруг вздрогнула и отвернулась. Подойдя к отцу, она обняла его и припала головой ему на плечо.

— Папа! Папочка! Ничего нет… ничего, ничего этого нет.

— Ты устала, Лена.

Семен Афанасьевич глядел растерянно и печально.

Хозяйка внесла свежий самовар и закрыла окно.

1896